

Вячеслав Карпенко

Завтра было вчера

Книга предисловий



Калининградский ПЕН-центр

Калининград, 2012

УДК 316.77
ББК 84(2Рос=Рус)6
К 26

*Дружеская благодарность
Анне Ерашовой и Александру Мальцеву
за помощь в издании книги*

Карпенко В.М.

К 26 **Завтра было вчера.** Книга предисловий: очерки, эссе, интервью, переводы/Карпенко В.М. – Калининградский ПЕН-центр, 2012 г., 368 с. – 800 экз. ISBN 978-5-904895-22-8

В эту, несколько неожиданную книгу Вячеслава Карпенко вошли эссе, очерки, предисловия к книгам, критические статьи и интервью, объединенные одной общей целью: исследование взаимосвязи и взаимоотношений Художника и мира; определению места культуры в современном обществе; изучению причин и последствий искусственно вызванного духовного кризиса последних лет.

ISBN 978-5-904895-22-8

УДК 316.77
ББК 84(2Рос=Рус)6

© Карпенко В.М., 2012
© Калининградский ПЕН-центр, 2012

*Посвящается
Алле Татариковой-Карпенко*

КОРНИ И КРОНЫ

Мне не хотелось бы открывать дверь в эту книгу нараспашку, выдёргивая из собранных в ней очерков и статей фрагменты авторских размышлений. Таинство создания книги предполагает таинство чтения, где читатель становится соавтором. Он может соглашаться с написанным или нет, – это не главное, – читатель уже в творческом процессе. Его мировоззрение уже соприкоснулось со взглядом писателя, их мысленный диалог, обретая форму, уже возник и, кто знает, может быть они вдвоём уже на пути к тому зерну, которое мы называем «Истина».

Велемир Хлебников записал в свой блокнот: «Одна из тайн творчества – видеть перед собой тот народ, для которого пишешь, и находить словам место на осях жизни этого народа...» (1912 г.).

Отличительной чертой письменной речи Вячеслава Карпенко – автора значимых повестей, рассказов, сказок и удивительно тонких, но глубоких по сути стихов – нахожу в языке его сочинений истинно народный характер, что способен раскинуться широкой кроной и укрыть своей сенью от невзгод. Не «а' ля рюсс» – на таком языке многие пишущие пытались въехать в русскую литературу, но тот, настоящий, коренной характерный язык, который, где надо, крепко прижат к зубам, словно конь, закусивший удила, или льётся вольной рекой, сметая попутный хлам; или вовсе проглочен внутрь и молчит. Но даже в этом безмолвии сокрыта его глубинная сила.

Время и Пространство души, Место художника в этом Пространстве – главная линия книги Вячеслава Карпенко «Завтра было вчера».

Существует историческое, линейное время с хронометражем календарных дат и значимых событий. Но время духовного падения и подъёма подчинено своим законам, – законам вспышек ве-

ликих художников, создавшим прозрения первой величины, будь то музыка, живопись, театр, книга; и когда мы думаем о таких Мастерах, временные рамки сдвигаются ближе к нам. Разве Николай Васильевич Гоголь не современник?.. А его «Мёртвые души» – не об омертвлении ли наших душ?

«Очи держите долу, а души небу», – писал Владимир Мономах в «Поучениях внукам».

Именно об этом, беспокойным голосом пера, с тяжёлыми мыслями-думами говорит автор. О вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем Человеке, его духовной красоте, которая тем ярче, чем больше в человеке любви, чистоты его души, где совесть – Око Создателя, а память – узелок Бога.

Геннадий ЮШКО

ВРЕМЯ И МЕСТО

Так важно – оказаться в нужное время в нужном месте... Наверное, это и называется – судьбой. И в этом смысле я благодарен ей, судьбе, ибо она подарила мне Север Коми и Сибири, Мурманск, Одессу и Томск, Питер и Москву, Урал и Казахстан, Готланд и Балхаш, море и горы, тайга, тундра и степь... И конечно же – Калининград, для меня проявляющийся Кёнигсбергом.

Дело, конечно же, не в географии: во встречах, в людях, в приобщении их жизням, бедам и радостям. В познании себя, благодаря им...

ГОРОД НА КОРОЛЕВСКОЙ ГОРЕ

Дикторский текст к одноименному фильму

Род приходит, и род уходит...

Есть, очевидно, на планете нашей центры особой концентрации жизненной энергии. Меж таких средоточий идёт смена племён и народов, меж них движется история дел и разума человеческого: Междуречье и Тибет, Средиземноморье и Евразийский Прикаспий, Мексиканское нагорье и Средний Урал...

В ряду таких точек напряжённости биоэнергетики жизни – Янтарный край Прибалтики.

Земля, её камни, деревья и остуженная морем смола, воды и пепелища хранят следы ушедших. И новые камни ложатся поверх прежних.

Задать вопрос. Остановиться. Вспомнить.

И обернуться: в будущее, в свет, объединяющий и смерть с рождением. И – промолчать, вбирая запах красок зорь утренних и зорь вечерних. И вновь стучать беззвучно в таинственную дверь – ту, за которой...

Ту, за которой – мифы и преданья... И жизни тысяч, так давно ушедших: любовь и слёзы; радости, надежды... кровь и пепел – столь разное таят земля и камень... Гром былых Проклятий вбирают корни, кроне возвращая... И благодатный дождь – Благословеньем, ниспосланным тебе во искупление... способен ли тот дождь Любви и Знания смыть грех крови, мечом завоевания пролитой?..

Утраченное, забытое единственное: откуда и куда, зачем и сколько, кому и от кого, и где «вчера» уходит в «завтра»? – вопросов нам не счесть, едва успеем мы раскрыть глаза. И под устало смеженные веки в конце – опять вопрос: куда, надолго ль?...

И – тени, тени...

Тех ли, что полтора тысячелетия назад дорогой моря вышли к

этим землям? Что кимбрами звались, а принятые с миром людьми, здесь жившими, и рощей на горе, Твангсте названной и дружбой оживлённой?..

Или – других: те приходили позже – мечом и огнем к вере наставляя? – Они: они здесь стены возвели и гору Королевской нарекли, Крулевцем тож иль Кёнигсбергом – всё едино... отсюда – крепость, город. И – Проклятье.

О, рыцарства легенда золотая – по которой он защищать... грозил: мол, «рыцарь, обязан драться на стороне слабейшей и быть для дела справедливого защитой» – из Кодекса тех рыцарей, их Чести цитата...

Задумываемся ли мы, будто внове осваивающие эту землю, как опасно прерывать нить Памяти, ибо судьба каждого Города определяется делами и судьбами многих поколений, следы которых, пусть неяркие и стёртые новыми волнами насельников, хранят недра и воды, корни дерев, сам воздух, мечущийся над былыми ристалищами и забытыми погребениями. Как хранит в себе окаменелая янтарная смола виды и энергию организмов, застывших в ней миллионы лет назад. И уголь, и нефть – мы согреваемся дыханием былой жизни, накопленной медленно и терпеливо...

И дела человеческие, уходя в историю, возвращаются к потомкам Благословением жизни дальнейшей... или Проклятием её – ибо «воздастся ему по делам его».

Как сохранить в себе детскую доверчивость к голосам, слышимым в шелесте листвы, в журчании ручья, в гроыхании грозы... Как обрести тот мудрый наив детского взгляда, которому в утреннем тумане ли, в пляске ли солнечных зайчиков или журавлином курлыканье открывается связь былого и настоящего, и грезятся дороги будущего.

Взгляд, пред которым обнажены и ложь, и правда...

А ещё раньше, много раньше, когда не было ещё здесь Города, самой открытой сюда дорогой – морем – пришли кимбры. Небольшое кельтское племя в сорок шесть тысяч человек во главе с братьями Видевутом и Брутенном. У них не было письменности, но пелись легенды. И приплыли кимбры морем на плотах, изгнанные датским королём Теудотом со своего острова. Так гласит легенда.

Боруссы (или поруссы?), что освоили побережье прежде, приняли беглецов с миром.

Роща на горе над полноводной рекой, что двумя рукавами омывала остров, стала для кимбров священной. Здесь поселились боги пришельцев – Патолло, Патримо и Перкуно. Языческие их боги-покровители. Здесь и обосновались кимбры.

Природа соединила кимбров с боруссами. Их кровь смешивалась мирно. И Видевут был избран вождем восточной Боруссии, а брат его Бруттен – первым жрецом Криве-Кривейтисом. Так рассказывает легенда и поздние летописи соседей.

Ветры веков проносились над священной горой Твангсте и ритуальным дубом на ней, над рекой Прегалой, переименованной из Гутала кимбром Замо, сыном Видевута, в память утонувшей здесь любимой жены. Он и возвел здесь первое укрепление.

Благословен был край боруссов: тучны поля для скота, укромны леса для зверя и птицы, полны воды рыбой. И шел отсюда солнечный камень янтарь – его почитали даже в пресыщенном Риме и утомленной негой Персии. Добывали же тот тёплый камень «варвары, которые имеют головы и черты лица человеческие, а туловища и члены звериные» – так писал Тацит. Сами варвары оправдаться не могли – у них письма не было. И не было историков, заботящихся о славе нации и доброй памяти, пусть и не всегда правдивой.

Почти семь веков жили в мире, не считая мелких распрей с соседями, кимбры и боруссы на своей земле, поклоняясь своим богам.

В конце X века к боруссам через Польшу приходил миссионер Адальберт, пытаясь крестом спасти язычников накануне грядущего окончания тысячелетия «концом света». Мирный приход креста и книги не был понят боруссами, которые в это время вели войну с поляками, покушавшимися на их землю и свободу... А поскольку Адальберт пришел с той стороны и пробовал изъясняться по-польски, его в одном месте изгнали, а в другом жрец убил епископа. В 999 году св. Адальберт был канонизирован католической церковью.

Было ли это карой за насилие над Адальбертом, который проповедовал «Но добром побеждай зло», только спустя двести лет с огнём и мечом пришёл в этот край Тевтонский орден крестоносцев, которому в начале XIII века «отписал» папа римский землю язычников к поселению.

Боруссы сопротивлялись организованным рыцарям упорно, однако были они разобщены и в насилии неопытны.

Цивилизацию и просвещение с милосердием должен был нести Орден, но ценою крови и несвободы насаждал он знание.

Чешский король Пржемысл II Оттокар, вдохновляемый папой Иннокентием и собственным властолюбием, во главе нового европейского крестового похода окончательно сломил сопротивление язычников. Огнём и мечом продолжали внушать крестоносцы «веру истинную» этой земле.

Здесь, на месте священной Твангсте, поросшей дубами и вязами, унизив богов языческих, заложил Оттокар крепость Крулевец.

Выстроенная уже тевтонами, получила крепость в его память известное донныне название – «Кёнигсберг» – «Королевская гора». У подножия ее выходцы из Любека, Нижней Саксонии и Вестфалии выстроили города-поселения Кнайпхоф, Альштадт и Лебенихт.

Местные жители – пруссы, а позднее литовцы, мазуры – как правило не становились гражданами этого, чисто немецкого города, а получали право на жительство на территории Ордена, если служили ему.

Мы не всегда отдаем себе отчет, насколько пронизана сама ткань человеческого существования деяниями рук наших, помыслами нашими. Насколько причудливы витки судеб и родов человеческих, насколько зависимы друг от друга...

Последним правителем укрепления Твангсте, где вырос Королевский замок, был вождь Гланде-Камбилла, потомок Видевута. Спасаясь от крестоносцев, бежал он в войско Александра Невского. А вот потомки этого новорусского боярина, прозванного Иваном Кобылой, стали корнем боярского рода Романовых. И спустя четыреста лет последний кимбра Видевута «бомбардир Пётр Алексеев» приезжает инкогнито в прусский теперь город Кёнигсберг в составе «Великого посольства» по дороге в Голландию. Здесь обучается будущий строитель Российской империи артиллерийскому делу и фортификационной науке. Отсюда получил в дар от короля знаменитую Янтарную комнату.

Ушёл из-под власти Ордена на Русь к новгородскому победителю тевтонов Александру и один из предводителей боруссов Ропша. Как гордился этим предком Пушкин! И на каких досках судеб была написана встреча потомков Ропши с царским арапом Ганнибалом, устроенная царствующим наследником первого выходца из Бо-

руссии? А ведь эта встреча – не менее великое деяние Петра, ибо одарила она Россию поэтическим гением Александра Пушкина...

Триста лет властвовал над Восточной Пруссией Орден. Вдохновленный поначалу Верой и Библией, основывался Тевтонский орден как монашеский и милосердный.

Но раз взятый в руки меч ведет к насилию.

Меч, обогранный чужой кровью, отвергает, предаёт Завет и милосердие.

Орден становится воинским. И рыцари его превращаются в захватчиков, железной рукой правят покорёнными, народами и племенами, ведут распри дележа с соседями... Насилие рождает насилие, и готовит почву безумия, хаоса, никакими законами не сдерживаемого.

Опираясь на меч, Орден становится постоянной угрозой соседям. Само положение его на перекрестии дорог и морей Запада и Востока, рожденный принцип «бури и натиска» в решении споров, всё восстанавливало против него соседей. После нанесенного Ордену удара при Грюнвальде объединенными литовско-руско-польскими силами, тевтоны были обречены.

Спас Пруссию от исчезновения последний магистр Альбрехт Бранденбургский. Приняв Реформацию Лютера, он стал первым светским правителем герцогства Пруссия. Орден был распущен. Но неоценимая заслуга Альбрехта перед Городом в другом. Это он способствовал духовному Возрождению страны, отторгнув экспансионистские традиции тевтонов. Им был открыт знаменитый университет «Альбертина», в который были приглашены для преподавания сподвижники Лютера, приехал ученик великого Эразма Роттердамского Абрахам Кульвец, в стенах университета нашел возможность для работы Николай Коперник, создавший гелиоцентрическую систему мироздания и счастливо избежавший инквизиции.

Город меняет славу рыцарей меча и насилия на известность центра просвещения, развитых ремёсел и книгопечатания. Основанная первая общественная библиотека прославилась подаренной им «Серебряной библиотекой» – ценнейшим в художественном отношении собранием.

Теперь и она, вместе с «Янтарной комнатой» и библиотекой Вилленроде, как и другие шедевры искусства, были утрачены во время последней войны. И составляют одну из драматичнейших тайн города, которым посвящено множество исследований, доку-

ментальной и легендарной литературы. Как и бесконечная надежда мировых культурологов на их новое обретение...

Именно Альбрехту обязан город явленности своего Золотого века через двести лет. Это время, подготовленное Возрождением и «Альбертиной», самой аурой духовности Города, противопоставившего рыцарскому мечу и кулаку книгу и мысль. Иоганн Гердер и Теодор Гиппель, блистательный Эрнст Теодор Амадей Гофман, Лукас Кранах Старший и Ловис Коринт, Кристийонас Донелайтис – этот венок Золотого века Города высвечивает уже космическим светом имя Канта. В ректорство великого философа здесь в «Альбертине» учились многие видные деятели соседних стран, в том числе и Николай Карамзин, и Ян Кохановский...

«Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого также, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству» – на этом практическом императиве может быть построен сам принцип существования человечества...

Но упразднить Орден, открыть университет, поощрять науки и искусство все же оказалось недостаточно, чтобы избыть агрессию тевтонского духа насилия, высокомерия и тупого снобизма, уповающих на кулак и жёсткую клановость, позже названную национализмом, пропитавших сами стены и насупленные казематы города.

Эта двойственность, заложенная самой буферностью положения «на задворках Европы», противостоянием с соседями и затаенной претензией на влияние в мире породили тот «пруссский дух» казарменной жизни, время от времени возвращающий сытых городских бургеров к летаргическому сну властелинов мира.

И никакой голос, никакая насмешка, включая ядовитый хохот Гиппеля и устрашающий сарказм Гофмана не могли остановить копящуюся энергию насилия. Даже голос Канта затихал в сдвинувшихся плечом к плечу кирпичных переулках, упоённых заманчивым блеском завоевательского меча, да эфемерным мифом о принадлежности к высшей расе господ.

Тревожный звон колоколов многочисленных кирх и соборов не единожды на протяжении веков слал Городу голоса предостережений. Предупреждений над пропастью.

Разгром на Чудском озере и при Грюнвальде. Семилетняя война, сделавшая было Восточную Пруссию Российской губернией при

«дщери Петровой» Елизавете. Наполеоновское нашествие и Тильзит, упраздненный по сути королевство, и спасение Пруссии Россией...

Раны заживлялись быстро - ремесленники здесь не теряли ремесла даже после натруженности рук войною. А вот память... Эта спасительная нить из тупиков времени полностью атрофировалась, едва очередному властителю приходила мысль о расширении территории и превосходстве «духа».

Бюргерская память быстро затягивалась ряской сытости, самодовольства и неумеренной претензии к миру. Ах, как легко в мирной размеренной жизни накапливается вместе с жирком остаточная тевтонская спесь! Как просто поддавался этот добротнo упакованный обыватель, вытягивающийся перед почтовым чиновником, соблазну власти над слабыми... Как умилялся чёткости парадов и напряжению мускулов.

И вот уже аккуратно и послушно спрятан томик любимого Канта или Гёте, уже гудение соборной меди и полковой рожок колесом выкатывают грудь, а руку холодит эфес. Или кобура... Цокают подковы конницы, дымятся трубы сошедших со ступеней крейсеров. «Мы сильны, как никогда!»

Удивительно, сколько энергии, сил и ума тратит человек на... самоуничтожение. Как легко поддается он соблазнам оружия, как слабеет порой разум перед дремучим током стадного инстинкта.

Но это уже век XX!

И меч уже давно заменён иным оружием, при котором кровь кажется водою, а грех убийства – от расстояния -- неощутимым.

Первая мировая могла бы послужить еще одним предупреждением. Город вновь от исчезновения спасала Россия, рухнувшая в революцию.

Наверное, кто-то и ощущал тень мифической волчицы Геры, грозящей расплатой за вновь обнажённый меч. И об отчаянной обреченности этого пути Города, потомки меченосцев в котором помогали новому диктатору разрабатывать планы новой войны-реванша, уже полным голосом предупреждал ясновидящий писатель Томас Манн.

И вновь дух Ордена отторгнул душу философа и поэта, открыв ворота угару блицкрига, впустив гауляйлера Коха, ставшего последним проклятием Города...

Страшное возмездие обрушилось на Город в конце войны. Два

«ковровых» налёта английской авиации превратили в руины центральные районы.

Довершил разрушение Города штурм наступающий Красной Армии, солдаты которой безоглядно погибали накануне победы. Наверное, для многих свидетелей упрямо запоздавшей капитуляции церемонно-парадное вышагивание последнего командующего крепостью генерала Ляша выглядело кощунственным на фоне дымящегося хаоса, в который превратился Город. Его надменное лицо, жёсткий взгляд и механический шаг вполне отвечал образу всей этой войны – разрушительной и безжалостной даже к собственным жителям, обреченным остаться в этом аду...

Этот «мир на гигантском кладбище» воинствующего пруссачества, о котором предупреждал еще Иммануил Кант, был предре- шён задолго до огненного смерча над Городом.

И этот исход последних жителей города, так и не сумевших за века перебороть тевтонский яд насилия, накопленный в сумрачных крепостных казематах и пивном самодовольстве, теперь повторял путь Ордена – назад, к истокам нашествия. Изуродованный бронзовый Бисмарк – «железный канцлер» Пруссии прошлого века – из-под развалин последней исторической цитадели провожал своих беженцев огорченным взглядом, вопреки его наказу: Германия всё же «разбудила русского медведя» и была разорвана по частям...

За преступления вожаков всегда расплачивается стадо...

Из пепла Город предстояло поднимать наследникам Петра I и Александра Пушкина.

Первые переселенцы из разоренной Брянщины, еще обожженные огнём и горем чужеземного нашествия, приехали в Город в августе 1946-го года.

В руинах замков, в глазницах домов и соборов, в черных провалах, уводящих под землю, казалось, витают зловещие тени исчезнувшей жизни. Каменные волны поверженных зданий мрачно сбегались к надменному королевскому холму, будто воплем теней запоздало предупреждая о конце.

Так встречал Город своих новых жителей. И они прямо с дороги включались в борьбу за его жизнь.

Порт, военные заводы, промышленные предприятия, как ни странно, оказались менее разрушены, чем исторический Центр, И Городу сразу переселенцами был задан рабочий ритм, который заставил его двигаться, дышать – жить... Но из руин подымать его не спешили, нет.

Огромная восстановительная стройка шла в израненной стране: восстанавливались Ленинград и Смоленск, Сталинград и Минск.

И только здесь, в этом новом старом Городе еще почти двадцать лет добивали разбитые войной здания, чтобы отправлять кирпич в Ригу или Курск, да латать собственные прорехи.

Город и новые горожане принимали друг друга трудно. Сжатый во вражде кулак нелегко расправить для приветствия: опасный угар победы и силы туманил сознание руководителей города. Обретённая победителями земля, ещё горячая от пожаров, ещё засеянная металлом и телами погибших, по-прежнему оставалась военным плацдармом прежде всего.

Выпавший было меч был поднят другими руками. И хотя эти люди, да ещё обладающие властью почти диктаторской, жаждали вместе со стенами стереть саму память об истории города, именно они воскрешали из небытия худшее в наследии Города, что стало его Проклятием: агрессию и тупую спесь, пренебрежение к человеку, мысли, культуре... С безоглядностью временщиков готовы они были, как прежде, – «во имя спасения и счастья» сровнять Город с землей, чтобы «строить будущее» по своему разумению. Мечом и огнем диктуя свою волю.

Это их усилиями сносились памятники многовековой культуры, возникшей на одном из самых многолюдных «перекрестков Европы». Их волею содержалась народом армия, готовая в любой момент пресечь стремление зависимых государств освободиться от диктата и жить своей жизнью. Это их приказом направлялись танки в Чехию 68-го года и громыхали «учебные» взрывы, отравляя атмосферу, убивая природу...

И всё же жизнь брала своё: Город строился, открываясь тем его жителям, для которых он становился родным, дети которых должны были вырастать на этой земле, учиться, любить... Всё больше новосёлов приходили к пониманию, что созидание невозможно вне исторического опыта, без памяти о наследии культуры и добра, способных противостоять казарменной обезличке, превращающей людей в послушное стадо.

Природа диктует свой естественный путь развития общества: вновь уходят в море рыбаки, распахивается земля и кормит, ода-ривая урожаем по труду, обрабатывается солнечный камень ян-тарь и открывается нефть...

Горожане восстанавливают и строят школы, на месте сгоревшего театра вырастает новый драматический, лицом к которому обращён Шиллер, В восстановленной кирхе королевы Луизы находится уютный кукольный театр, а в другой – открывается филармония и орган вновь озвучивает Баха. Музыкальные училища и спортивные комплексы. Ботанический сад и Зоопарк – новое и восстановленное через добрую память о прошлом делает Город всё более привлекательным и своеобразным, несмотря на усилия обезличить его стереотипными микрорайоновскими многоэтажками.

Удивительно, однако чудесным образом на Острове, где не оставалось ни одного не рухнувшего строения, где остов Собора гляделся в сумерках мрачным скелетом, одна могила великого философа сохранилась нетронутой. Будто сам дух мудрости жизни оградил в огне земную память об Иммануиле Канте, чтобы именно это наследие было воспринято новой историей Города и его жителей. И если раньше кёнигсбергскому философу владыки Города оказали великую честь быть похороненным при Соборе, то теперь великую честь окажут самому Собору – благодаря Канту сохранят, а позже и восстановят его, словно примиряя под общей крышей разно исповедующих учение Христа...

И сам герцог Альбрехт не отказал бы в благословении духовного преемника своей «Альбертины» – нового Университета, где среди многочисленных факультетов, разбросанных по Городу, живёт единственный в своем роде музей человеческой мысли – историко-философский музей Канта.

«Не меч, но мир»... Уже четвертое поколение новых граждан древнего Города делает первые шаги по его обновленным улицам.

Это для них сохраняются старые легенды Города и создаются новые. Это ради их безоблачного будущего вырвался и впервые вышел в открытый космос наш земляк Алексей Леонов, для их понимания красоты и бескрайности человеческого духа космонавт-художник находил сверкающие краски своих картин, приоткрывающих захватывающую тайну мироздания. И Виктор Пацаев отдал свою жизнь на этой высокой дороге – тоже для них, юных калининградцев, жить которым предстоит в первом веке нового тысячелетия.

У входа в Технический университет всё так же бодаются зубробыки скульптора Гауля, оставленные нам в наследие старым Городом, как символ Добра и Зла. Его Благословения и его Проклятия. Ещё живы те, кто испытал крушение Города, ещё витает в старых башнях, в сокры-

тых новостройками и под тротуарными плитками тоска, ещё шепчут кроны старых вязов и каштанов ностальгические слова утраты...

Тревожат души нынешних горожан тайны Янтарной комнаты, Серебряной библиотеки, как и неведомые ещё закрома рук и разума ушедших в прошлое мастеров. Где они? – Развеяны по миру? Таятся в коллекциях скупых фанатиков или спецхранах? А быть может – вот здесь, под ногами, навеки замурованные злом и ненавистью, но облагораживающие своим укромным бытиём саму ауру Города, внося в неё сокровенное Предупреждение и не менее сокровенную Мечту о человеческом единении.

Тайна спасения Жизни именуется Памятью. Время нельзя остановить, но память истории помогает нам осознать истоки Добра и Зла, Благословения и Возмездия Города.

И мы не имеем права взваливать свои заблуждения, свои грехи и свою вину беспамятства на плечи вот этих юных горожан, резвящихся сегодня среди старых колонн рядом с мудрым Кантом, у подножия взлетающей в космос ракеты или перебирающих тёплые янтаринки, выброшенные морем.

Городские часы, запущенные на старом Кафедральном Соборе, и сегодня определяют ритм жизни горожан, складывающийся веками. Они, горожане, и сегодня представляющие главный – духовный! – потенциал Города, увидели путь примирения настоящего и минувшего. Путь этот в осознании своего связующего, узлового места в Европе, примиряющего культуру Запада и Востока в мирном выходе на космические орбиты.

Город, умудренный и обновленный, вступил не просто в новое тысячелетие – в новую эру: Эру Водолея. Тысячелетний дуализм, противостояние Силы и Духа, погубившее однажды Город, найдут свое примирение в главном деянии: устройении собственной души в гармонии «звёздного неба над головой и нравственного закона внутри» человека. И умудренный опытом времени минувшего, поймёт, наконец, человек значение слов Спасителя «не мир, но меч принёс я вам»: этим мечом, мечом знания и культуры, столь трудно переданным нам предками и, увы, ещё более трудно воспринимаемыми нынче, мы когда-нибудь вооружимся – для борьбы с соблазнами властью и собственной немощью перед нею, увлекающими к пропасти...

1998 г.

КАК СВЯЗЬ ВРЕМЁН...

В 59-ом меня матросом после Ломоносовского (Ораниенбаум) учебного отряда привезли в Калининград служить в радиолокационной мастерской Балтфлота, что располагалась тогда в тупике улицы старшины Дадаева. Считаю, почти в центре города – мы и на танцы в увольнение ходили на площадку у стены спиртзавода под дорогой и трамвайной линией, отделявшей Верхнее озеро от Нижнего (Замкового)...

Но первое, что встаёт и сейчас в памяти с точностью графического отражения: грандиозные руины Королевского замка, окружённого – и это казалось странно-фантастическим – практически целой валунной стеной, подкреплённой вздыбленными контрфорсами, будто удерживавшими собою холм с остатками крепости и сам верхний город, нависший над Преголью и Кнайпхофом... И вход в замок – с обомшелыми каменными ступенями и полированными гранитными красными стенами, с гранитным же округлым постаментом из-под Вильгельма I или Бисмарка – звал в эти примолкшие завалы порушенных зданий, провалами оконных глазниц всматривающихся в самодряхлеющий остов Кафедрального собора, на котором для проформы висела табличка об охране памятника государством.

В первое же увольнение мы с годком-армянином умудрились забраться по кирпичным завалам и каким-то висячим пролётам лестничных подобий на самый верх самого высокого останца – семиугольной башни... где-то рядом (это я узнал уже позже) располагалась Палата московитов, названная так еще с первого посольства в Пруссию Великого князя Василия III, а с нашей верхотуры открывалась панорама города... Мы не знали тогда всей истории замка, но его руины пробуждали гофмановские романтические и сумрачные видения, и, видимо, эти видения продиктовали нам единственное питьё, соответствующее впечатлению и состоянию встречи с самой древностью: прямо из горлышка мы пили ликёр «Бенедектин» и закусывали шоколадом «Сказки Пушкина», и кричали вниз что-то восхищённо-идиотское... Я не ведал ещё, как сложно повлияет этот замок на мою судьбу...

Это было восторженное поколение, которому вдруг многое открылось в той «оттепели», что сулила вместе с трагическим знаением и крушением былых авторитетов новую свободу и перспективы. Мы уходили в моря и писали стихи, влюблялись и спорили. Мы горланили в ночном зелёном городе песни Городницкого и Кукина, Окуджавы и Висбора – мы были «дежурными по апрелю» и в любой момент готовы были вскочить в трамвай, самолёт или поезд, чтобы отправиться на любой край родной земли «за туманом и за запахом тайги»... Благо земля представляла бескрайней – на восток, и там уже не всегда могли достать за «непонимание ситуации» и «фрондёрство, выгодное врагам». Впрочем, край был чётко обозначен границами и «железным занавесом» цензуры, соглядатаев и прочих доброхотов, так что даже тем удачникам, которым удалось побывать «за рубежом необъятной родины», не нужно было особо оглядываться, ибо несли они эти границы – в себе...

А у товарища Коновалова, всемогущественного вершителя судеб молодой области, взгляд становился железным и ходили желваки, едва он замечал чугунные канализационные люки с готическими росписями «чуждых» довоенных фирм. И меняли на свои, родные, отправляя бывшее на переплавку. «Здесь не останется следов фашистского наследия», – сказал он мне, вызвав к себе после моей поездки в столицу, где я встретился с К.Симоновым, И.Эренбургом, нобелевским лауреатом П.Л. Капицей – для подписей под письмом в защиту замка. Тогда уже, будучи ответсеком «Калининградского комсомольца», я знал и о чешском короле Оттокаре II, возглавившим крестовый поход на язычников-пруссос и заложившим крепость-замок на месте священной рощи и культового дуба Твангсте, и о первой литовской книге Мажвидаса, отпечатанной в типографии замка, и об отце полководца Суворова, бывшего комендантом крепости и города после семилетней войны и присяги кёнигсбержцев, включая философа Канта, российской короне... Мы уже осознавали значимость области, как моста времён и культур, как осознавали, что история не начинается с порога обкома и не заканчивается им. «Искусство принадлежит народу, – указывая на плакат, воскликнул Сергей Снегов на собрании клуба творческой интеллигенции, где мы собирали подписи под письмом в «Литературку» для защиты замка от принятого решения о сносе. – Народу, а не партии!». Однако испокон русскую интеллигенцию было легко расчленить «по интересам и воззрениям» – в театре, Союзе художников, архитек-

торов и других журналистских объединениях прошли собрания, осудившие «молодых экстремистов», а большинство «подписантов» были прощены по уважительным причинам вроде «был пьян» или «введён в заблуждение», а то и проще - «был с девушкой, не до того было, простите»... Оставалась упрямая группка «молодёжки», которую легко спровоцировали на общий уход из газеты. А проект литовских архитекторов о консервации (даже не реставрации!) развалин замка и превращении этих руин в «Музей Мира», получивший диплом на Всесоюзном конкурсе, благополучно забыли.

Памятник чиновничье-партийному идиотизму, возведённый как раз на месте семиугольной башни, ударил мне поддых незавершённым уродством, когда пришлось через тридцать лет вернуться в Калининград... Мне сейчас не хочется вспоминать, кто «был введён в заблуждение», кто писал оправдательные «исторические» справки, поддерживающие решение о сносе и «преступном невежестве защитников» – пусть эти деятели пишут свои мемуары и стихи, Бог им судья... Иных уж нет...

Но городу Калининбергу (Кёнигсграду) вовсе не 55 лет – скоро будем отмечать 750-летие Кёнигсберга. И, видимо, становится символичным само его анклавное - особое, как для России, так и для Европы - положение, способное создать тот мост культуры, который соединит прошлое и будущее, Запад и Восток, тот мост от русской духовности и широты к западному рационализму, умению хозяйствовать и подчинять себя единому закону, который ведёт к созиданию, а не к разрушению. Ведёт – к жизни. Историческая память Калининграда – это опыт не только войн, завоеваний, противостояния. Останавливать время, как и переделывать историю - дело неблагодарное, а то и чреватое взрывом самым разрушительным: бездуховностью и утратой корней. Судьба даёт нам иной шанс: восстановления исторической перспективы, собирания и трансформации в будущее опыта многих народов, прошедших через эту землю. Пруссков, куршей и литовцев, немцев и русских, шведов и поляков, даже – французов...

Возможно, своеобразным центром (ещё и туристским) этой памяти и культуры мог бы стать хотя бы фрагментарно восстановленный Королевский замок, как во многих странах это делается с порушенными временем или людским невежеством реликвиями: может быть – макет, восстановленный в миниатюре среди строений культуры на месте торговых палаток, с восстановленной замковой

стеной, контрфорсами и на месте безглазого урода внутренним прудом, на берегу которого растёт новый дуб, напоминающий о полянах священного Твангсте, потомки которых – нельзя забывать о собственном родстве, давшем русской культуре род Пушкиных, Романовых... Дальше, видимо, должен вестись разговор профессионалов – архитекторов, художников, краеведов, – и всех, кому дорога эта часть России, теперь уже родная земля трёх, даже четырёх (о, этот бег времени неудержимый!) поколений детей тех переселенцев, которые ещё не ощущали себя здесь хозяевами. Осознание собственной ответственности за свою землю – вот тот нравственный стержень, который должна дать новым поколениям память...

Рукотворное «Древо жизни» Города

В продолжение разговора

Вот уже не единожды возникают разговоры и проекты о восстановлении былой доминанты Города – снесённого в 60-е годы Королевского замка. Идея эта становится тем более актуальной, что город по сути утратил былые своеобразие и уникальность (и с архитектурными «новоделами», тиражирующими американо-европейские «индустриальные» подобию, теряет всё более). Нельзя не отметить, что за «советский» период существования, город, частично (но – не полностью!) потеряв дух «средневековости», обрёл природное своеобразие своими парками, садами – став одним из самых зелёных городов России. Но простое и копируемое восстановление Замка – всё равно будет выглядеть лишь копией, искусственно воссозданной декорацией. Ведь вовсе не от недостатка средств и технологий не восстанавливаются в первоначальном виде Парфенон или Колизей, бережно законсервированы остатки средневековых соборов нашими шведскими соседями на Готланде, куда ежегодно съезжаются тысячи туристов на многоцветный карнавал.

Может быть вполне достаточно воссоздания стен замка, внутри которых о самом замке будут напоминать многочисленные панно-репродукции не только былых зданий, но и то грандиозно-трагическое, что принесла Городу война... А под стенами, укреплёнными историческими контрфорсами, откроются функциональные подвалы и погребки, со старинной музыкой, свечными канделябрами, тонкими винами и рукодельными сувенирами разных времён и народов, привлекающие туристов.

И – главное в данном Проекте!

В тексте для фильма «Город на королевской горе» я говорил, насколько наша история уникальна ещё и тем движением племён, наций и народов, которые прошли по этой земле и ушли в неё – прахом и памятью, и – легендами... Боруссы, балты, курши, литы, мазуры уже освоили эту землю с востока и юга, когда самой открытой дорогой – морем – пришло небольшое кельтское племя кимбров. И дубовая роща на горе над полноводной рекой, что двумя рукавами и до сих пор омывает остров, стала священной для них.

Уверен, что в будущее нельзя идти без мечты. Так же, как нельзя предавать забвению прошлое, ибо и то и другое чревато повторением ошибок и страданиями... В наш прагматичный век для равновесия меж духом и плотью нам не хватает той доли романтизма, который даёт возможность духу воспарить над суетой и принять в себя красоту и добро самой природы жизни. Нам не достаёт легенд, если угодно – светлой сказочности. Но ведь воссоздать её – в наших силах. Ради света в душах наших детей.

Так вот, Доминантой Города с течением времени могла бы стать воссозданная реликтовая дубовая роща на территории бывшего замка с рукотворным Древом жизни, священным Дубом, отлитым из (допустим) чугуна, листья которого отразят всю сложную и загадочную историю края и города. Листья этого дерева оставят на себе и имена личностей, вписанных в историю Города, имена создателей и продолжателей самой духовности этого места. Не лишне вспомнить, к вящей гордости будущих поколений, что отсюда брали своё начало знаменитые русские фамилии царей и поэтов.

Эта скульптурная композиция, окружённая живой рощей и средневековыми стенами, корнями вращёт в холм и корни эти смогут открыться посетителям и туристам в таинственном подвальной зале – музейной подземной экспозиции.

Нельзя не вспомнить, что дуб – одно из самых сакральных деревьев, с которым связано много исторических пластов. Индоевропейский корень слова «дуб» тождествен корню слова «дерево». Во все времена и у разных народов Дуб становился эмблемой силы, мощи, мужества и доблести. Символом твёрдости, крепости, прочности и долголетия. Именно дуб был священным деревом у кельтов и у славян, которые поклонялись как отдельным деревьям, так и целым священным рощам. А в гороскопе друидов именно дубу посвящён один из особых дней года – день Весеннего равноденствия (21 марта). Интересно, что с введением христианства безжалостно ис-

треблялись дубы по всей Европе, как главного предмета языческих культов. Хотя именно под сенью мамврийского дуба Аврааму явился Господь. Впрочем, ещё раньше в древней Греции, откуда берёт истоки наша цивилизация, дуб был посвящён Зевсу Громовержцу.

В заключение хочется отметить, что, как это ни странно, городу не хватает именно тех памятников и скульптурных произведений, которые обращали бы взгляд прохожего к духовной истории края, которые показывали бы и заставляли задуматься о том временном узле и геополитическом средоточии судеб и событий, концентратом которых стала Восточная Пруссия и Кёнигсберг-Калининград. Такая попытка была в начале 80-х: в Парке скульптур на острове ещё остаются сиротливые фигуры юного Петра-1, Горького и Блока, Есенина (уже, увы, убранного на реставрацию из-за варварски-дебильного надругательства)... Но во что превратился этот парк, достойный бы стать культурным центром города, центром поэтических чтений и музыкальных конкурсов, творческих ярмарок? Соседствуя с Кафедральным собором, ночной парк полнится тёмной угрозой, тупым вандализмом, а вместо цветов - пустые бутылки, шприцы, презервативы и прочий человеческий хлам. Или его также готовят под продажу и застройку нелепыми «высотками»? Пока что, увы, город остаётся маргинальным, всё ещё ищущим собственное лицо и характер. Некий космополитизм, невольно усваиваемый молодым поколением с помощью хлынувшей на экраны, сценические площадки, страницы «глянцевых» журналов и газет попсы и квазикультуры неминуемо ведут к цинизму, зависти и разрушению. Гордость и ответственность – взаимосвязанные понятия, которые не могут существовать вне знания истории и традиций, вне чувства прежде всего своего родного русского языка (а не того пошлого и неграмотного воляюка, полонившего рекламу и телеэкран), вне самоуважения и хорошего вкуса... Вне культуры. Без которой нельзя обрести чувство достоинства собственного и уважения к соседям.

Мы создаём стены, а потом стены создают нас – это подчеркивали еще Платон и Аристотель, знали гениальные скульпторы и архитекторы от легендарного Пигмалиона до Корбюзье. Даже Черчилль!.. Как слово – и дело! – наше отзовётся зависит только от нас. Если угодно – от нашей любви к Городу и осознания его уникальности.

«Калининградская правда», 2003 г.

...И МНОГО СМЕЛЫХ СЕРДЕЦ ЗАЖГУТ!

*«Как нам жить на земле, парень?»
(Из услышанной песни).*

*«Во время войны это было делом
будничным, а сегодня умирать очень
трудно...».
(Из письма друга Евгения Кислова).*

1. Письма домой.

«...Только позавчера приехал из лагеря, две недели восстанавливали его. Там лучшие, скоро вновь уезжаем. До экзаменов три месяца, все нервничают. С учёбой всё хорошо и вроде не очень боюсь. Я здесь понял, как много даёт человеку намеченная цель, Без неё мне было бы очень тяжело привыкнуть к жёсткому распорядку военного. Но я буду офицером. Буду!

Апрель, 61 г.»

«...Уже прошла неделя, как приехали. Пока целыми днями строим жильё, а с первого сентября начнется уборка. Работать придётся сутками: за месяц должны весь хлеб с полей вывезти. Потом домой...»

Домой...Для солдата дом там, где объявлен привал. Сколько их – мест совсем непохожих – называл в письмах за три года курсантства Евгений Кислов. Училище, лагеря... Теперь вот на четвертый год скоро служба перевалит, лейтенант!

Евгений покосился на чуть надломленный погон, смахнул с рукава засохшую былинку.

Доволен, лейтенант? Теперь-то ты понимаешь, что служить в армии – это не только возиться с интересным оружием и уютить брюки перед увольнением. Это – труд. Порой выматывающий. И подчинение приказу. Беспрекословное – сразу, даже когда хочется спорить. Надо. Есть!

Много «домов»... И есть единственный – Калининград.

Там осталась школа № 1. Там пришло увлечение, ставшее потом целью. Евгений снова взял ручку:

«...Я прежде не мог себе представить Казахстана. Представляешь, мам, вот когда смотришь в хорошую ясную погоду на море и видишь дымку горизонта. Только здесь пшеница вместо воды. А ночью вообще красота: в степи огни машин, элеваторов, совхозов. Лишь холодно ночью, под четырьмя одеялами – и все равно холодно... А днём жара, пекло!».

Лейтенант вышел из палатки. Обширен дом солдата. Дом, который он должен защитить, в котором он тоже трудится. Россия...

«..Устал за эти три месяца командировки. Работать приходится по 10–12 часов, но зато, словно въехал в рассказы Гоголя – так здесь хорошо! На целине вашего сына наградили медалью, так что я у вас уже «заслуженный!».

«Проезжали Москву, но стояли только час. К Але не отпустили, а мне так хотелось увидеть свою вторую племянницу. Видно, в другой раз...

Декабрь, 64 г.»

«Апрель, 65 г. Отпуск у меня в мае, так что скоро соберёмся вместе. Никуда я не хочу, только бы пройтись по нашей улице Красной, снова вытянуться в кресле, перечитать «Двадцать лет спустя», нарвать уши старику Норду...».

Федор Павлович читал письмо, вернувшись с работы. Коротко взлаял Норд. Потом взвизгнул щенячьи, вытянув голову на лапы, забил по полу хвостом.

– Не разучился гавкать, ворчун старый! Забыл меня? Папа, оставь письмо, здесь я уже! Не ждали?

Письмо последнее (сестре):

«...От дома очень тяжело было отрываться. Прошло больше месяца, а, кажется, совсем недавно бродил по саду. Десять дней не догулял, приеду летом – хочется встретиться с ребятами. Приезжай, мы давно не собирались все.

Мама, наверное, у тебя, она собиралась в Москву. Она, кажется, расстроилась, что мы много выпили, но уж таковы мужчины – уезжают и встречаются всегда с вином. Если маму застанет письмо, то напомни, что я жду ее в Минске. В этом году будет разнарядка, подаю рапорт в академию. Надо взяться за математику – ещё в школе «хромала» она у меня.

Изочка стала уже совсем большой? Наташка стала здорово ходить; сначала боялась меня, а потом привыкла – не оторвешь. Жаль, что Изочку я так и не видел еще.

У меня всё в норме. С работой дела идут хорошо. Завтра пойду на польскую эстраду. Билет уже взял...

2 июля 1965 г.»

2. Работа.

*«Это взгляд немеркнущих огней
города, лежащего под нами.
Он живет и ночью, как ручей,
что течет, невидимый, под льдами».*
М. Кульчицкий

Из письма лейтенанта Геннадия Моргунова автору:

«...минёром Женя считался очень высокой квалификации. Прекрасно знал технику военных лет – мины, снаряды, авиабомбы. И отечественные, и немецкие. И даже американские. Поэтому постоянно выполнял задания командования. В его карточках по разминированию за четыре года службы – около тысячи уничтоженных мин и снарядов, несколько авиабомб, тысячи гранат и патронов.

Мне повезло. Я два раза был с ним на разминировании и видел, как он работает. Красиво – другого слова не подобрать.

В городе Борисове немецкая полуторатонная авиабомба была обнаружена под метровым слоем земли в районе вокзала. Евгений Кислов и три солдата из его взвода. Люди были удалены с площади километровой радиуса, а четыре сапёра очень осторожно откапывали бомбу.

Показался стабилизатор. И мне, и солдатам Женя приказал уйти. На правах друга я хотел остаться. Нет! – или он меня знать не желает больше.

Полтора часа прошло до белого флага над ямой.

Евгений стоял весь мокрый, со слипшимися волосами, с вымазанной в земле щекой.

– Пошли, пива попьём. Впервые, Геша, стало страшно: думал, что часовой механизм в этой заразе...

«Во взводе говорят: «Мы – кисловцы!»

Младший сержант Еремин:

«Как-то на политзанятиях рассказывал нам командир о своем зелёном городе – Калининграде. Там, видя развалины, лазая среди искорёженного металла, родилась его мечта об умении предотвращать несущие горе взрывы.

И с каждым терпеливо отработывал лейтенант азы сапёрного дела: осторожность и терпение, торопливость не прощается, напоминал он.

Любили его все. За справедливость и доброту, за заботу и смех. Смеялся он больно хорошо. И играл – для нас играл на пианино, когда совсем уж грустно станет и вдруг потянет домой...».

Ефрейтор Нехай:

«Случай мне вспоминается. Хоть их много было: почти на всех разминированиях с Евгением Фёдоровичем был. Этот же – особо.

Утром воскресным позвонили, что в районе города Слонима на mine подорвались дети.

Через 15 минут прибежал лейтенант: «Нехай, быстро бери миноискатель. Немедленно едем!» .

Комбат уже начал звонить, чтобы до понедельника никого к месту взрыва не допускали.

– Товарищ командир, разрешите сейчас выехать.

– Но, Женя, ты только вчера...

– Там – люди...

Сто километров в час покрыли. Лейтенант сам вёл машину. Разбросанные головки снарядов. Под землёй – ещё большие показывает.

Ох, и трудно: грунт твёрдый, камни. Я возьми и скажи: может, немцы их на неизвлекаемость поставили? Кислов тогда меня в укрытие взял да и отправил, метров за пятьсот. И своими руками проверил. Какое-то седьмое чувство, что ли, в такой неразберихе распутывался. К счастью, оказался просто небольшой подземный склад. Погрузили всё на машину, но тревога дня не закончилась этим. Выехали в поле, заложили взрывчатку. Подрывать стали – нет взрыва! Редко взрывчатка отказывает, а тут... Об опасности говорить нечего: ведь так не оставишь, надо идти выяснять. Меня он, конечно, не пустил. Пошел, заменил капсулю-детонатор. И подорвал».

Сержант Мороз:

«Я был заместителем лейтенанта, потом старшего лейтенанта Кислова. Три года с ним служил. Я любил его. Как все мы: за ум, за широкую натуру, за его знания и опыт.

Как-то зимой 64 года на тактических занятиях взводу было приказано перекрыть лощину между двумя препятствиями: рекой Березиной и поросшей густым лесом высотой. В случае наступления танков «противника» произвести взрыв «атомной бомбы».

Подготовительные работы провели быстро. Стоял 30-градусный мороз, костры жечь нельзя, ужин не подвезли – несколько коробок сухарей и пачка сигарет на взвод.

В нескольких сотнях метров стояла выделенная нам санитарная машина. Провести ночь можно было спокойно. А Евгений Федорович остался со взводом, ещё и шутил – нас бодрил. Солдата не проведешь, он всё заметит. И в бою также было бы: последние промёрзшие сухари грызли, сигареты в одну затяжку по кругу. Как же нам не любить командира? А задание мы выполнили.

И еще: ежегодно взвод выезжал в начале весны на охрану мостов. Охрана взрывами – от ледохода. Ему бы руководить, а он с нами не однажды ледяной купели причащался!

А половодье вскрывало всё новые ирамы войны. Ни одного дня почти весной не было, чтобы на командира подразделения не поступали заявки к разминированию. Здесь уж старший лейтенант никого не допуская. Он был опытнее всех нас и не хотел рисковать...»

3. ...

«Нам погибать от взрывов,

стужи, от росы ли

Бугрить тротилом землю,

глотя снежную пыльцу.

Запретный цвет – осенний.

Цвет России

Терпению и мужеству к лицу»

(Лейтенант Валерий Постухайлов – другу).

Из письма командира подразделения школе и родителям:

«...Старший лейтенант Кислов Евгений Федорович неоднократно выполнял специальные задания командования по разминированию.

За время прохождения службы ст. лейтенант Кислов Е. Ф. размини-

ровал около тысячи взрывоопасных предметов (мины, снаряды и т. д.).

На примере короткой, но героической жизни ст. лейтенанта Евгения Кислова вырастет не одна смена доблестных воинов Советской Армии».

...В это утро, 8 июля, Евгений проснулся рано. Окно офицерской гостиницы плавало солнце. Его лучи выхватывали лежащую на столе телеграмму – скоро приезжает мама!

Надо спешить в часть, задание получено ещё с вечера. Да, будет комиссия, специалисты: учебное подрывание противотанкового рва.

Утро выдалось – не продохнуть. На склад, со склада. Наконец, к 11 часам погрузились со взводом в машину, взяв 162 килограмма взрывчатки.

Ожидая комиссию в районе взрыва, провел теоретическое занятие. Комиссии не было. По инструктажу надо было взрывать теперь самому. Заложено 150 килограммов (по нормативу). Взрыв электрическим способом прошёл успешно.

Оставшиеся 12 килограммов назад не принимаются. 13–45. Остатки готовятся к взрыву огневым способом. Взвод по приказу садится в машину. Трое – с командиром.

Взрывчатка заложена. Остается поджечь бикфордов шнур. Трое – младший сержант Хабатулин, рядовые Галгалас и Чахчир – получают приказ командира уйти в укрытие.

Последний приказ...

Они отбежали на двенадцать метров, когда раздался взрыв. 14–00.

Комиссия установила, что горящий шнур, отпущенный Евгением Кисловым, в результате ненормального горения свернулся и струей огня ударил в капсулю-детонатор.

В поле, где произошел взрыв, были найдены остатки комсомольского билета.

4. Я говорю с тобой, ровесник!

*«И, как бы ни давили память годы,
Нас не забудут потому вовек,
что, всей планете делая погоду,
мы в плоть одели слово «человек!».*
Н. Майоров.

Кто-то из его друзей оставил на могильной плите эту тетрадь. Она – клятва живых.

Из тетради:

«Дорогой наш командир!!! Мы пришли к Вам сразу после госпиталя. Не верится, что Вас нет. Нам никогда не забыть ни Вас, ни того, что Вы нас научили жить. И мы будем жить так, чтобы быть достойными называть себя «кисловцами».

Хабатулин. Чахчир».

«...Нам хочется слышать от тебя всегда и знать, что наша совесть чиста перед твоей памятью.

Три друга, лейтенанты».

«...Я тебя не знаю, но всегда буду помнить о твоём мужестве. Ты мне – как напоминание о красоте человеческой.

Старшина 1 статьи

Краснознаменного Северного флота».

«..Вечерами мы поем твою любимую песню, Жека. А пианино молчит, словно ждёт тебя. И твой взвод тоже ждёт. Он всегда будет отличным. Им есть с кого брать пример. Есть по ком равнять молодых. Мы не прощаемся с тобой, друг.

Геннадий».

«...Ты помнишь, как срывались с тобой за 60 километров метров в баню? На целине. Чёрные, как черти. А потом ты узнал, что я увлекся его женой. Женой друга. Ты всегда был восторженным, но мне и сейчас страшно вспомнить твое задубевшее лицо и прерывистый голос: «П-п-прристр-релю г-гад!» Я никогда, ни до, ни после не видел тебя таким... И никогда, слышишь, ты не сможешь, Жека, бросить мне упрек в нечестности и пошлости».

«...Ты успел многое сделать. Нам, наверное, никогда не суждено сделать столько. Но мы счастливы, что вправе называть себя твоими друзьями. Ты с нами на службе. И дома. В театре и в ресторане: ты умел веселиться, ты учишь нас сейчас.

Ждём маму твою, нет – «нашу маму».

(Николай, Юрий, Борис, военнослужащие)

«...Мы приходим к тебе, чтобы стать еще сильнее. Ты не любил слез – их нет. Ты даёшь нам мужество. Живём, работаем. Идем – с тобой. Далеко.

Люда, Яна»

«...Никак не могу отвыкнуть смотреть на твое окно. Каждую субботу висела в нем твоя выстиранная рубашка.

Принес цветы, их у тебя здесь очень много. Это всё друзья. Твоя смерть сделала друзьями и совсем незнакомых тебе людей. Смерть? Нет – жизнь!».

* * *

Встаёт рассвет над Минском. Встаёт рассвет над Калининградом. Рассвет над тихой улицей Красной, на которой вырос Евгений Кислов, над первой школой, которую заканчивал. Быть может, назовут её именем сапёра-героя. И над сотнями других городов великой страны. Страны, которая светит людям всей планеты. И частица этого света, идущая от сторевшего сердца Евгения Кислова, как у бессмертного горьковского героя, «...и много смелых сердец зажжёт».

«Калининградский комсомолец», 14.11.1965 г.

КУПИНА НЕОПАЛИМАЯ

К духовному возрождению России

Когда, несколько лет назад, только что получивший приход о. Дмитрий из Багратионовска начал свой поход с тетрадкой, где была нарисована церковь, которую он чаял построить, его приняли за блаженного. В лучшем случае – за неисправимого романтика и фантазёра. Тем более, что до семинарии и рукоположения в сан ходил о. Дмитрий в море... Его не очень многочисленная и уж вовсе небогатая паства по буеракам и грязи добиралась до случайного помещения, приспособленного под часовню.

А молодой священник видел во снах голубые купола собора, поднятого верховенствующим холмом над самым западным пограничным городом России. Подобно храму Василия Блаженного...

И строил он храм с символичным посвящением тем, кто так необходимы нашему заканчивающемуся, противоречивому и наполненному разочарованиями веку, и тем более нынче необходим России: **«Святым мученицам Вере, Надежде, Любви и матери их Софии».**

И он построил храм, первый православный храм на этой земле, от основы до крестов на куполах поднятый трудами и жертвованиями людей! Он, молодой отец Дмитрий, преодолев сомнения, насмешки, уговоры в «благоразумии», преборов собственную телесную слабость, руками своими и душевной верой поднял светлые стены и червлёные маковки куполов к голубому небу. И 30 сентября 1997 года «в день престольного праздника и особенного предстательства в обители небесного Чертога Славы святых угодников Божиих – Веры, Надежды, Любви и матери их Софии – о нас грешных ныне странствующих в океане земного бытия» храм был освящён и, по благословию Патриарха Московского и всея Руси Алексия 2-го, митрополит Калининградский и Смоленский Кирилл возглавил торжественную Литургию...

Нам выпало жить в историческое и парадоксальное время. Время, когда – в который, впрочем, раз на Руси – поверяется тот стержень, благодаря коему только и могут существовать и достойно предстоять перед грядущим личность, общество, народ, государство: духовная и нравственная основа той ментальной культуры, что дана каждой нации её природой, историей, верованием, Богом отпущенным талантом созидания и мерой ответственности за совершаемое (или несовершаемое) в своём историческом предназначении. Ибо явились мы в этот мир, дабы осознать в себе тот жизненный свет абсолютного творчества Того, по чьему образу и подобию создан человек изначально.

«Историческое рождение человека, существа свободного и богоподобного, – писал в своём «Свете невечернем» русский мыслитель Сергей Булгаков, – не только предполагает рождение в собственном смысле... но и некое самосотворение человека. Последний не только рождается тем или иным, но он становится самим собой лишь чрез свободное своё произволение, как бы изъявляя согласие на самого себя, определяя своё собственное существо. Человек есть свободный исполнитель своей темы (*подчеркнуто мною – В.К.*), и это осуществление себя, выявление своей данности – заданности, раскрытие своего существа, осуществление в себе своего собственного подобия и есть творчество, человеку доступное».

Говоря о парадоксальности времени, я имел в виду прежде всего удивительное состояние памяти и беспамятства, в которое волей судеб и политических катаклизмов была ввергнута Россия в пространстве почти векового существования... И об этом ещё предстоит говорить подробнее. Однако Дух, как и Мысль, возможно сокрыть или извратить властным диктатом, рабской конъюнктурой или «золотым тельцом» лишь на срок, измеряемый людской брэнной жизнью, но полностью уничтожить то, что дано человеку в его истории как «осуществление первоначального творческого замысла» о нём, недоступно никаким земным силам. Кроме, разве, самого этого человека – в самом себе. Но на то и дан ему свободный выбор пути... Или его конца.

Подвиг (не будем бояться слов, характеризующих деяние хотя бы одной жизни) священника Багратионовского прихода о. Дмитрия по возведению храма в эпоху практически полной секуляризации культуры тем симптоматичнее, что именно сейчас, на рубе-

же века и тысячелетия, России время вспомнить свой путь и своё предназначение. В эйфории технических достижений и механистических возможностей мы утрачиваем то основное, что делает нас чувствующими и мыслящими – возможность созерцания и самоосмысления. Это может нам дать прежде всего храм, предоставляющий условия особого уединения. В данном конкретном случае – храм именно православный, выстроенный согласно духу, а не пользующийся чужими развалинами, излучающими иную ауру, отмеченными иным поиском своего культового ориентира.

Даёт нам такой шанс духовного уединения и сосредоточения и художник (в самом широком понимании этого термина, как создателя культуры) – в своём «стремлении к абсолютному творчеству, присущему человеку как возможность, как жажду, порыв». И потому всегда трагичному в своей земной недостижимости той вечной Красоты Создателя, познать которую предстоит в будущем – через Любовь, которая «есть Премудрость Божия - София... Идеальное совершенное человечество», объединённое этой «специальной функцией души» (В.Соловьёв). Но трагизм в этой неосуществлённости стремления подняться до своего богоподобия - очищающъ и созидателен, как для самого художника, так и для людей, с его творчеством соприкасающихся. И здесь искусство, если оно настоящее, а это значило в России - этическое, основанное на вечных ценностях, если угодно, нравственно-религиозное, христианское, «показывает то, чего жаждет и о чём тоскует душа, являя тварь в свете Преображения. Его голос есть как бы зов из другого мира, весть издадека...» (Сергий Булгаков).

*Что пользы в нём? Как некий херувим,
Он несколько занёс нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!*

(А. Пушкин. «Моцарт и Сальери»)

В суеете обыденности, в условиях, увы, даже физического выживания и в ситуации активной экспансии квазикультуры, выдающей себя за «мировую» (которая сегодня рассматривается как простое «акционерство» вне традиций и собственного опыта каждого народа, и подразумевается её апологетами как элементарная нивелировка под единый шаблон, отражаемый ценою вложенных и вырученных денег) и «прогрессивную, творчески обновлённую»

культуру, вновь «сбрасывающую классику с корабля современности», а фактически направленных на разрушение духовности, на создание системы манипуляции личностью уже в мировом (здесь – без кавычек) масштабе.

Уже современный нам философ Мераб Мамардашвили достаточно трагично говорит о духовном состоянии человечества ныне: «Современного» человека не существует. В качестве «современной» лишь может восприниматься та или иная мысль о нём. А сам он есть всегда лишь **попытка стать человеком** (*выделено мной – В.К.*). Возможный человек. А это самое трудное... Мы – люди XX века, и нам не уйти от глобальных проблем. А они есть прежде всего проблема современного варварства, одичания. Это угроза «вечного покоя», то есть возможность вечного состояния ни добра, ни зла, ни бытия, ни небытия. Просто ничего... И катастрофа может произойти до атомной. Ибо культура не совокупность готовых ценностей и продуктов, лишь ждущих потребления или осознания. Это способность и усилие человека **быть**, владение живыми различиями, непрерывно, снова и снова возобновляемое».

И вновь – о памяти. Памяти исторической, народной. Той памяти, что не только передаёт накопленный опыт из поколения в поколение, но является цементом национального самосознания и налагает нравственную ответственность в жизненном строительстве общества живущих ныне – перед предшествующими поколениями. Этический критерий, сопоставимость и соответствие ценностей вечных в прошлом и настоящем, гордость делами отцов, как и осознание собственного отцовства перед будущим – всё это и даёт человеку силу в противостоянии злу и лживой подмене духовных ориентиров. Не потому ли столь кардинально «революционно» выкорчёвывался сам дух русской религиозности, так яростно просеивалась и цензуровалась свободная мысль, что было необходимо создать послушную массу «Иванов, не помнящих родства», оторвать человека от почвы, удобренной кровью и потом предков. Самое тяжкое преступление – лишить народ веры и памяти. И это с дьявольской основательностью было произведено именно в обозримом времени: страшнее войн и судилищ несли бедствие народу репрессивные переселения, перетасовка людей и пространств, благо последние в России необозримы...

Ибо память есть механизм созидательный, для России – соборный, устои которого во все времена помогали преодолеть и междуо-

собицу, «и иго, и рабство, и нашествия, и тиранию, а в тяжкие годы того же раскола - из чести и веры идти на костёр или в моровые леса в поисках благословенного Китежа... «Коренное зло новой (статья была написана после реформы по отмене крепостного права – В.К.) России есть ее раздвоение, – писал Владимир Соловьев еще в 1881 году. – Раздвоение... в том деле, которое едино есть по понятию, в деле веры». Четыреста лет потребовалось, чтобы Поместный собор в 1971 году отменил клятвы и прещения Собора 1667 года на старые обряды и их приверженцев, «восстановив православное единомыслие некогда разделившихся чад» русской церкви. В 1988 году под Загорском усилиями Фонда культуры был открыт памятник (скульптор В.Клыков) Сергию Радонежскому, о котором летописец писал проникновенно: *«крепкий душою, твёрдый верою, смиренный умом, ни ласканию повинуюся, ни прельщения бояся»*. Святому, благословившему Дмитрия Донского на его ратный подвиг. К нам пришла книга Г. Федотова «Святые древней Руси», не издававшиеся исторические труды Карамзина, Ключевского. В этом же году начал издаваться журнал «Наше наследие», который взял на себя труд возвращения отданных забвению имён, событий истории, произведений литераторов и философов, обрядов и верований народов России, памятников исчезнувших и возможных к восстановлению. И Библию наконец стало возможным обрести каждому дому...

*Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.*

Так точно и ёмко определил Александр Сергеевич одну из главных основ духовного здоровья и мудрости народа, один из главных стержней нашей культуры. Однако преступление по созданию «единогласия», по насильственному выстраиванию коммунистического «рая на земле», совершаемое после Октября 17-го года путём полной амнезии народной памяти и самих священных корней, не могло не оставить глубокого вакуума веры в душе... населения, уже не народа, нет.

И в это варварски перелопаченное поле памяти, под эйфорию нового, теперь уже «демократически-рыночного», безоглядного отрицания всего пережитого (и ведь – нажитого тоже, не вовсе же был убит дух созидания) и нового разрушения «до основания»,

брошены семена цветов прельстительных и отравленных соблазном вещизма и потребления, с ценником, определяющим базарную стоимость души и морали... В эти сети попала даже наша церковь: какое доверие могут получить духовные пастыри православия, вымолившие у новых властителей разрешение на беспощинную торговлю водкой и табаком...

Равнодушие никогда не было характерно для российского народа, сами пространства и климат воспитывали веками сочувственность душевную, со-переживательность сердечную. Как не было атмосферы для стяжательства, ибо те же просторы диктовали прямую выгоду бескорыстию: «не имей ста рублей, но имей сто друзей». Возможно, благодаря именно этой обращённости к Высшему в душе, и побеждают столь часто подлецы-поводыри, подменяя понятия и суля «скорое, уже за горизонтом» будущее. Однако земной горизонт, как известно, уходит на то же расстояние, которое прошёл с теми поводырями...

Нежданно, но целеустремлённо хлынувший поток квазикультуры, утверждающей право силы, был воспринят нами, неофитами «свободы и демократии» самого хамского образца, с упоением дикарей, которым вдруг разрешили бить стёкла в ненавистном доме. Воспитанное и десятилетиями поощряемое люмпенство вырвалось наружу, не сдерживаемое понятием ответственности. Перед собой прежде всего, перед жизнью. Нас приучили переступить через могилы, мы утратили уважение к смерти и к жизни, обретя один лишь страх...

Мы обязаны восстановить утраченные или забытые корни. Восстановить память собственной духовной культуры, вне которой нация, народ становятся сбродом без будущего. И - без права решать свою судьбу тем выбором, который предоставлен нам самим творением.

Мы обязаны вернуть себе – себя!.. И своим детям - их историю, ибо история конкретного народа – это не только опыт, предостережение или занимательные картинки борьбы и строительства, но это прежде всего истоки национального характера, основа внутреннего миропонимания и призванности именно на этой земле, именно в данное время, это осознание достоинства и личной ответственности, как и возможности «делания» мира, влияние на ход времени через «самостроительство». Ибо и малый камень порою держит гору. Пусть камень этот безымянен, его значимость в мироздании

не менее существенна, нежели сама гора. Как стук топора далёкого плотника, рукомесо которого согревает душу через столетие...

Ибо «история есть прежде всего рождение человечества, осуществление первоначального творческого замысла о человеке как роде, совмещающем в себе множественность индивидов» (С. Булгаков).

Пожалуй, не вспомнить мне большего потрясения и воистину неземного восторга, нежели возникшие в утренней сентябрьской дымке розово-серебристые купола церквей на Кижском погосте Онежского озера... Двадцатидвухглавая Преображенская и десятиглавая Покровская церкви, строенные почти триста лет назад северными умельцами-плотниками с помощью одних топора и долота, удивительным всплеском чешуйчатых маковок несут к невысокому небу деревянную симфонию, музыкальную по сути своего молитвенного взлёта. И завораживающую, как поминальный шёпот, провожающий родимого в далёкий путь. И очищающую дыхание и помыслы, подобно глотку озона в послегрозовом сосном лесу...

Когда-то, в теперь уже отдалённые шестидесятые годы американцы хотели на корню купить эти шедевры деревянного зодчества. К счастью, тогда ещё не было столь откровенной «личной заинтересованности», но зато этим вниманием, к счастью же, были затронуты чьи-то амбиции, а может быть и разбужены именно патриотические чувства, чьей-то нечистой политизированной милостью обернувшиеся ныне ругательными: именно тогда Кижы были объявлены заповедником и реставрационные работы в нём спасли храмы, поднятые безымянными для нас искусниками из звонкой смоляной валаамовской сосны.

С принятием христианства на Руси началась теперь уже более чем тысячелетняя история нашей художественной культуры. Столь поразившее киевских посланцев в Византию «благоепие» храмов и гармоничное слияние самого храмового действия с монументальной праздничностью архитектуры, живописью икон, предметами прикладного искусства с мерцающим в свечах золотом, с молитвенными хорами и возгласами священников, с неспешными жестами и плавным ходом служителей - всё это отозвалось в новообращённой Руси интенсивной духовной жизнью. Через пришедшие произведения отцов церкви, через переведённые книги происходит приобщение к высочайшим достижениям эллинистской культуры,

мысли, философии. Уже в самом процессе принятия христианства сфера духа и мысли становится предметом напряженного художественного творчества. «Поразительна не только активность, но и быстрота вхождения в сущность новой идеологии, овладения её порой утончённой философской и догматической стороной, активное переосмысление и ассимиляция не только творческих навыков, но и образно-стилистических особенностей воспринятой новой художественной культуры» – пишет уже современный нам историк искусств (О. Подобедова). Да, наше кочевое языческое нутро словно губка впитывало новую для себя христианскую культуру Спаса и Единого Бога, и эта культура служила объединению.

Естественно, что именно восприятие христианства от Византии вывело Русь на арену европейской государственности. Но наиболее важным результатом этого восприятия явился тот отбор идейного и культурного наследия Византии, который соответствовал самому духу и жизни народа. И отбор этот самой нравственной интуицией и природой характера русичей был произведён настолько точно и глубоко, что определил на века вперёд вплоть до сегодняшних дней путь и задачи духовной жизни и творчества России. Была выбрана основная цель христианской культуры – «воспитание внутреннего человека», отсюда – постоянная обращённость к душе, к очищению и совершенствованию внутреннего мира человека. «Совість – есть отражение Божьего бытия в человеке», – точнее Фёдора Достоевского о сути и внутреннем нерве нашей литературы, да и всего смысла культуры, даже просто слушающая одинокую ямщицкую песню, не скажешь...

Легко впитал в себя греческую веру русский народ. Видимо дар соборности, укреплённый православием, для того и дан был ему, чтобы объединить вокруг себя в многонациональном единстве многих рассеянных по этой суровой земле разрозненных разноплеменников, подхватив выпавшее из рук греков-византийцев знамя центра православия – Третьего Рима. Умение вобрать в себя, ассимилировать и трансформировать лучшее в соседствующих культурах, языковая пластичность, восприимчивость духовная, небывалая творческая потенция и азартная любознательность землепроходца за тысячелетнюю историю христианства на Руси создало великое государство и не менее великую культуру, которой всё было дано для развития.

Кроме разве что иммунитета на выбор властных поводырей.

И здесь, придется в этом признаться, немалая доля вины ложится на самих «делателей культуры» – кому много дано, с тех должно много спроситься. Ибо та опустошенность, что организовалась за семьдесят лет неверья, с той же жадностью губки начала впитывать иное – целлулоидную культуру Голливуда, ведущую теперь уже к разрушению самой основы собственной культуры и бескорыстия во имя её... И что умалчивать – к новому рабству.

Пришедшая же с новой верой из Византии икона, как вещное отражение Высшего света, была воспринята на Руси всем языческим художественным существом, так близким к природе, девственным и всегда восторженным. И в то же время достаточно свободным – той свободой, которая подобна сосуду, ждущему наполнения. Знаковая символика, характерная для изначального детски-рационального восприятия уже знакомого, для совпадения с образом которого достаточно лишь обозначения, что лежала в основе византийской иконописи, стала своеобразным проводником нового христианского отношения к миру и к самой личности в мире.

Что бы ни говорили о дикости и «идолопоклонстве», но стихия языческой близости к природе, широта пространств и созерцательная наивность зрительного восприятия мира помогла русичам дать естественно войти новой эстетике в быт, трансформировать суровую, а порой и жёсткую аскезу в добрую самораздачу ближнему, в осознанность *значимости собственного голоса в соединённом хоре*. Даже праздники, искони собирающие людей в круг, остались в бытовании, лишь получив новую световую гамму и душевную ориентацию: предрождественский пост неминуемо перетекал в лукавые святочные колядки, дни весеннего равноденствия растворялись в восторге Воскресения, живительная зелень дерева и злаков – в благолепии Троицы, а разудалая Масленица – в осознание благотворности Великого поста...

Возможность совместить «дольнее и горнее», бытование повседневно-привычное и всё небывалое, невиданное «нездешнее» нашло свое выражение в искусстве иконы. Как наш сон способен сконцентрировать, уплотнить время, в промельке часа не только показать целую жизнь, но и саму мечту о ней, так живописными символами иконописи посвященный художник открывает молящемуся память об ином, высшем свете, с которого он сошел и в который чаёт вернуться.

Священник и философ Павел Флоренский в пришедшей наконец к нам его работе «Иконостас» так определяет это состояние: «...в художественном творчестве душа восторгается из дольного мира и всходит в мир горний. Там, без образов, она питается созерцанием сущности горнего мира, осязает вечные ноумены вещей и, напитавшись, обременённая ведением, нисходит в мир дольный. И тут, при этом пути вниз, на границе вхождения в дольное, её духовное стяжание облекается в символические образы – те самые, которые, будучи закреплены, дают художественное произведение. Ибо художество есть оплотневшее сновидение. Но тут, в художественном отрыве от дневного сознания, есть два момента, как есть два рода образов: переход через границу миров, соответствующий восхождению, или вхождению в горнее, и переход нисхождения долу. Образы же первого – это отброшенные одежды дневной суеты, накипь души, которой нет места в ином мире... тогда как образы нисхождения – выкристаллизовавшийся на границе миров опыт мистической жизни. Зablуждается и вводит в заблуждение, когда, под видом художества, художник даёт нам всё то, что возникает в нём при подымающем его вдохновении, раз только это образы восхождения: нам нужны предутренние сны его, приносящие прохладу вечной лазури, а то, другое, есть психологизм и сырьё, как бы ни действовали они и как бы ни были искусно и вкусно разработаны».

Седьмой Вселенский собор провозгласил икону «книгою для неграмотных» и приравнял к святому писанию, что было справедливо и «как слово в слогах, так и изображения в чертах и красках свидетельствуют об одной и той же истине», осуществляя «духовное восхождение новоначальных». Однако сила эмоционального воздействия «живописания» естественно расширила рамки прагматического назначения. В русской культуре, изначально религиозной, икона больше всего ответила потребности человека «заглянуть в помыслы души своей» (Владимир Мономах).

Кроме философских, моральных, нравственных человеческих ценностей, которые исповедует христианство, на Руси особое развитие получили житийные иконы, которые давали возможность рассказов о конкретных фактах жизни святых, о событиях, значимых, своего рода «лестницу духовного восхождения», при которой, порой, земная бытовая реальность могла быть поднята до апофеоза – образа достигнутого совершенства в среднике, неся в клеймах образ времени конкретно-исторический и одновременно – вечность (средник).

Именно ощущение времени очень много значило для создателей иконы. В многофигурных композициях, в единстве создаваемого на восточной стороне храма иконостаса в три яруса со стенописью и всей архитектуроникой, с мерцанием под свечами красок и цветовых гамм создавалась духовная симфония, которая вовлекала в своё звучание молящегося, словно вырывая его из суеты и тщеты земной, унося помыслы человека ко времени идеальному, даже пространственно бесконечному. В росписи Успенского собора во Владимире гениальный Андрей Рублёв располагает фигуры на столбах, стенах и сводах (видимо, включая сюда также иконостас) так, что они возносятся к куполу, обретают легкость и мощь, заставляют звучать саму архитектуру, ее различные пояса соответствуют многоярусности мира, начиная от земного внизу – к небесному под сводами купола. Позже «Дионисий в росписи Ферапонтова монастыря (Вологодская область) заполняет стены толпами людей, восхваляющими Богородицу, его фресковый цикл на голубом фоне, включающий в себя иконостас с венчающим его деисусным чином, где фигуры деисуса обращаются ко Вседержителю на троне, испрашивая милости для людей, и одновременно они словно участвуют в храмовом действе, в мерцании свечей, золота и алой киновари – составляя многоголосный хор, который звучит, вовлекая в себя само дыхание каждого присутствующего, и поднимается к небу» (М. Алпатов).

Иконостас стал не только школой старых мастеров иконописи, научившихся создавать двойное восприятие храмового ансамбля: вблизи – со всеми подробностями повествования, издали – своими общими массами, цветовыми ритмами, пропорциями, силуэтами. Надо лишь дать себе труд взглянуться и открыть душу увиденному...

Увы, в нашем пёстро-искусственном мире калейдоскопического мелькания событий, личин, красок, случайной и назойливой информации и рекламы, цепями желудочного соблазна приковывающие человека к асфальту, он – человек – становится всё более непроницаем для духа и самоосмысления, нежели невспаханное поле – для доброго семени. Из многослойного наследия культуры вылавливаются афоризмы, высокий смысл которых стирается в суете вещной, в ничтожестве желаний. В варварстве «цивилизованного» разрушения. Разрушения не только привычных понятий, но и самого языка, всё более выстраиваемого под среднеарифметич-

ность, «реформируемого» в расчете на чиновничью полуграмотность и модные англицизмы. Языка, на котором написаны великие произведения. В смури выживания и погоне за «золотым идолом» утрачивается достоинство и авторитет, заработанный талантом не одного поколения. В разных странах серьезнейшие писатели не стыдятся признать первенство нашей литературы: Фолкнер и Акутагава отдавали дань Достоевскому, Толстому и Чехову, Брэтбери, Хаксли и Оруэлл – Замятину, можно было бы много привести примеров, но куда мы можем прийти, если выпускник нашего университета «не читал Бунина, но предпочитает модернизм»...

«Красота спасет мир» – это выстраданное Достоевским знание нынче украшательской погремушкой сопровождает модные подиумы, шоу и прочие доходно-вампирные «мероприятия», создатели которых, разумеется, никогда не открывали «Дневника писателя». Да и вряд ли задумывались, в какой круговерти жажды «хлеба и зрелищ» погиб первый Рим.

Так какая же Красота способна спасти этот мир? Поискem этого пути духа, воспоминанием собственной изначальной сущности, самим Даром своего таланта обречены (но и осчастливлены!) художники. От безвестного теперь монашествующего иконописца, от каллиграфа-переписчика, украшающего книгу Священного писания миниатюрой и орнаментом с безошибочным чувством меры и гармонии текста и декора, до ярких имен художников, философов, поэтов в творчестве своем обращали взоры к непреходящей красоте того идеального мира Света, что теплится в душе каждого человека данностью жизни и будущим предстательством в высотах Духа. При теперешней невозможности для многих к путешествию, достаточно даже просто внимательно посмотреть на фотографии церкви Покрова на Нерли, поставленной Андреем Боголюбским в XII веке, которая и теперь, спустя восемь веков, светится чистотой совершенства, какого-то девичества архитектуры. А там, при впадении Нерли в Клязьму, дух захватывает и очищает помыслы при взгляде на шедевр древнерусского зодчества, что подобна зажжённой белой свече над тихой гладью воды среди молчаливой зелени лугов...

Мне вспоминается удивительное ощущение свободного дыхания, когда вдруг открылась кладовая нашего интеллектуального богатства и оттуда серебряным потоком хлынула литература и произведения искусств, известные разве что по запретительным

спискам, да случайно оброненным именам. Этот «сосуд свободы» мгновенно успел наполниться произведениями отечественных мыслителей, художников, делателей высокой культуры и искусства. Явилась возможность не околичного, но явленного, осознанного осмысления наследия начала века, освящённого яростным поиском духовного возрождения страны, оказавшейся, как ныне, в тупике нигилистического отрицания идеального ради накатившегося технократического «всевластия» человека над природой.

Уже тогда было понято, что неодоушевлённое самоутверждение себя над сопричастной нам жизнью, силовое возведение себя в «ценностный» центр над остальным бытием, узурпированное право судить о мире с точки зрения своих интересов и потребностей неминуемо должно привести к вопросам «Что **мне** это даёт? Какая **мне** выгода?». Вопросам, единственным исходом которых станет безоглядное и неостановимое хищничество, ведущее к самоуничтожению.

Книги русской философской школы В. Соловьёва, Н. Федорова, С.Франка, В.Розанова, Н.Бердяева, П.Флоренского и С.Булгакова, К.Леонтьева и многих других успели выйти достаточно значительными тиражами и раствориться в библиотеках, в том числе и личных, тяга к которым была выработана, как ни странно, в нашей стране повсеместно именно пристальным цензурным вниманием к культуре и тем приданием ей дополнительной значимости. В этих библиотеках скрылась и масса книг писателей, поэтов, публицистов, произведения которых знали на западе и были наглухо зацементированы в родной им России. Гумилев, Зайцев, Замятин, Федотов, Набоков. Андрей Платонов наконец явился во всей своей космичности - им несть числа, вдруг получившим вторую жизнь, на короткий, увы, срок появившимся на книжных прилавках тиражами, уже и не мыслящимися нынче. И это также внушает оптимизм - ибо, несмотря на текучесть моды и привлекательность развлечения, человеческий разум рано ли поздно, требует пищи для роста, и тогда книги открываются неминуемо. Именно эти книги должны открыться, хоть и захлестнула их отравленная волна чтива порно-детективного, к которой столь упорно и назойливо приучает теперь всё телевидение, исключая канал «Культура», пытающийся противостоять этому насилию. Впрочем степень ответственности «профессионалов» от пера (или - теперь - компьютера) и кинокамеры пусть определяет их совесть.

Невольно мне вспомнилось первое явление читателям «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Это было удивительно: как многим именно с этим романом пришло понимание нелепости тогдашней жизни и осознание необходимости перемен. Даже сейчас, через столько лет, я помню тот журнал «Москва» № 11 за 1966 год, когда вышла первая половина романа. И хотя цензурные и прочие идеологические тиски сжимались всё жёстче, а время хрущевской «оттепели» кануло в Лету и уже спустя год слово Бог попросту вычеркивалось, однако именно булгаковский роман, с его торжественным языком в «пилатовской» части, со страдательным образом Христа и обречённым Пилатом, у многих разбудил религиозное чувство и дал небывалое ощущение внутренней освобождённости. Как мы ждали второго журнала, который пришел словно поздравление с Новым 67-м годом! «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат»... Эта музыка слов завораживала. И как всякое талантливое слово при глубокой мысли, оно разбудивает необоримую энергию души и жажду познания. Скольких тогда роман заставил впервые раскрыть Библию!..

Порою мне кажется (да и историческое сопоставление толкает к этому выводу), что Россия на каждом рубеже веков раз за разом поверяется на силу высокого предназначения, а мы - её дети - Высшей мудростью испытываемся на крепость духа. И самым тяжёлым испытанием становится «смутное время», при котором через проверку самой основы народа - его нравственного стержня - ставится вопрос уже самого существования. То самое время, жить в которое мудрые китайцы не желают даже врагу. Время перемен. На рубеже веков. А нынче – рубеж даже и тысячелетий...

И мир изменился качественно, технологически, но человек-то в сути своей остаётся неизменным в силе своей и немощи душевной, в страстях и надеждах, в страхах и снобизме. А самое главное и трагичное, что зачастую человек не отдает себе отчета в собственном положении, ему некогда (или катастрофически мешают его собственные гигантские технологии) понять себя, «заглянуть вовнутрь собственных страстей и неотвязчивых впечатлений» и оценить их. К тому же, как точно заметил Сергей Аверинцев, нам оказалось трудным справиться с внезапным расширением внеш-

ней свободы: приходится расплачиваться за долгое отсутствие нормального циркулирования различных идей, критериев и оценок, представлений, наконец, духовных ориентиров. Своеобразный «умственный иммунодефицит», при котором, в момент практической, скажем, аргументации человек, воспитанный в атеизме (да еще и с «плавающей», «двойной» моралью), начинает раскачиваться от знахарства к Шамбале или американизированному сектанству, от фетишизации Интернета к циничному «всё на продажу»... Итог – две трети ресурсов земли исчерпаны, войны за рынки сбыта и сырья, прикрываемые политической демагогией, унесли в XX веке миллионы жизней, как уже отмечалось, мир захлестывает «цивилизованное» варварство, в котором рушатся (порою целенаправленно) нравственные мерилы и ориентиры.

«Мир болен. И... только художники могут привести мир к спасению», – воскликнул еще в 20-е годы Сергей Калмыков, один из многих творческих гениев, безвестно отплавших в российской провинции. Могут ли? Во время, когда уже и вдохновение становится предметом торга, а способы соблазна унифицированы и всеохватны?.. Но зрительная память возвращает мне фрески Феофана и Врубеля, я вглядываюсь в репродукции икон новгородской и северной, московской и ростово-суздальской «школы», вспоминаю картины и росписи Васнецова, «Философов» Нестерова, написанных в то время, когда имена С. Булгакова и П. Флоренского, как и сама религиозная философия, были непреодолимым табу, я радуюсь лицам монахов и схимниц Корина, сумевшего и в полном цензурном рабстве сохранить свободу духа, меня завораживает внутренний свет трагической графики женских портретов и пейзажей Анатолия Зверева, вырывающегося гением своим из духоты «соцреализма». И понимаю, что в борьбе света и тьмы подвижничество, как данность в России, не угасить ни насилием, ни хитростью, ни соблазнами. Ни фарисейством.

Ибо они, художники, осияны любовью – Божественной Премудростью, которой обладает Идея Бога, Божественная София, что находится между Богом и миром, Творцом и тварью, сама не есть ни то ни другое, а нечто совершенно особое, одновременно соединяющее и разъединяющее то и другое. Так Сергей Булгаков развивает идею всеединства и Вечной Женственности, предложенной Владимиром Соловьевым ещё на излёте XIX века. «София есть любовь Любви, не только любима, но и любит ответной Любовью,

и в этой взаимной любви она получает всё, есть ВСЁ. София же только *приемлет*, не имея что отдать, она содержит лишь то, что получила, Себя отданием же Божественной Любви она в себе зачинает всё. В этом смысле она *женственна*, восприимлюща, она есть «Вечная женственность». Вместе с тем она есть идеальный умопостигаемый мир, ВСЁ... всеединое... Зарождение мира в Софии есть действие всей Св. Троицы в каждой из Её ипостасей, простирающееся на воспринимающее существо, Вечную Женственность, которая через это становится началом мира...».

Наверное, как и всё в этом мире, с самим приходом человеку необходимо узнавать и учиться понимать Красоту и Любовь, и художнику дано, учась учить, и познавая – открывать познанное посредством подаренного ему дара. И лишь жертвенное, самозабвенное служение и следование этому Дару позволяет ему приблизиться к Образу Создателя... «Призванием легче всего пренебречь: прежде всего – не угадать и не осознать его, соблазниться чужим путём (*подчеркнуто мной – В.К.*), заблудиться, или, узнав, зазнаться, залениться, возмечтать получить всё задаром, без усилий и - пропасть исторически...» – писал в своей последней книге другой мыслитель начала XX века А. Карташёв. Он отмечал в этом историческую предопределённость как личности, так и государства, но автоматизму и фатализму здесь места нет. *Свободная ответственность народа*, подчеркивал он, определяет его судьбу, равно и судьбу отдельной личности (художника – тем паче, ибо больше дано) – к славе или позору. Духовный лик России, самосознание русского народа уже ясно определилось в истории, но хочет ли он идти этим путем в сознательном подвиге – это уже дело его свободы:

*О, Русь, в предвиденьи высоком
Ты мыслью гордой занята:
Каким ты хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса, иль Христа?..*

Удивительно, однако порою происходят некие прямо мистико-символические явления, которые дают надежду и даже уверенность, что болезнь духа излечима, и что Россия, хотя бы во внутреннем самоосознании, вернётся к своему ощущению «святой Руси», обретёт достоинство и гордость (отбросив греховную гордыню) за своих разноплеменных детей. Здесь, в Калининграде, мне

вновь встретила фамилия, для меня, как и для многих впрочем, ставшая знаковой. Мыслитель Сергей Булгаков, писатель Михаил Булгаков, и вот – художник Борис Булгаков...

Русский язык впитал и растворил в себе немало тюркизмов – это естественно для нашего тысячелетнего геополитического евразийского состояния, и нам ни к чему отрешиваться от «скифской» доли своей души (ну конечно же – Блок, но и теперь уже легализованный взгляд на историю Льва Гумилева) – именно эта часть несет нам ощущение космизма и естество пространства. Оттуда и корни наших Аксаковых, Тургеневых, Рахманиновых... и Булгаковых – тож! В древне-тюркском (и ныне в казахском) *buljak* – «смятение, горделивый», в старо-русском: *булга* – «тревога, суета», *булгачьнь* – «тревожный», *булгачить-булгатить* – «приводить в беспокойство, всполюшить» (Фасмер)... Отсюда и фамилия – Булгаковы! Отсюда и предназначенность их таланта – будить, тревожить разум и душу в стремлении...

Я стою перед живописными работами моего одногородца Бориса Булгакова, стою с плывущими в мыслях текстами двух других его блестящих однофамильцев, не родственников ли? Нет. Но, в сущности, все мы на этой земле родственники... И потому, наверное, осознав это, мы должны найти пути соединения и созидания, а не разобщенности и разрушающего дух потребления.

Живопись Бориса Булгакова, особенно серия религиозно-философских картин, потрясающая трагизмом диссонанса бытия и духа, технически современна, даже изощрённа – в плывучести, размытости форм и образов при контрастном, напряженном смешении красок, стиль маньеризма продиктован самой противоречивой смутностью времени (цикл «Чёрные доски», «Святое семейство», «Святое Воскресенье»), но светоносность образа Сергия Радонежского открывает зрителю (и – автору, автору!) путь к опознанию себя в этом мире. И тема схимы Оптиной пустыни, столь благоговейная для Достоевского, осенена ангельским светом надежды на восприятие (цикл «Духовные Острова России»).

Интересно, что последнее название цикла калининградского художника обратило меня вновь к замечательной, даже в массе той эмигрантской литературы выделяющейся, книге профессора Св.-Сергиевской Духовной Академии в Париже Александра Карташева «Воссоздание Святой Руси». Вышла она впервые, естественно, во Франции в 1956 году, когда автору перевалило за девятый десяток.

Можно лишь удивляться точности наития его, пишущего в годы, казалось, неизбежности, даже укрепления мощи Советского государства, подобные строки: «Дух захватывает радостная надежда на возможность свободной церковной работы в освобожденной России! И эта надежда не может и не должна ограничиваться только мечтой о голой реставрации, без малейших творческих задач и планов.»...

Нет, Карташёв не злорадствует и не мстит – он пишет книгу-размышление о путях культуры, нравственности, права и свободы, о судьбе государственности. Этот труд, возможно, как никакой другой способен помочь в создании, а точнее – в воссоздании государственной идеи, которая способна объединить усилия нации в построении слаженной «симфонии общественной жизни». Стоит процитировать лишь выдержку из нее, чтобы понять серьезность, ответственность и истинную боль автора за судьбу утраченной родины. И чтобы проникнуться надеждой и верой в духовное возрождение России.

«После Петра Великого привзошел в русскую жизнь пафос вне-религиозной культуры, который нашел в даровитом народе также свой могучий отклик и принес блестящие плоды иного, светского творчества. Но никогда этот параллельный, не сливающийся с прежним пафос пока одной только интеллигенции, а не народа, не создавал еще *во всенародном смысле* какого-либо яркого, специфического национального идеала, тем более мессианического. Идеал «Святой Руси» (*возникший на грани XV и XVI веков во время окончательного освобождения от ига или, точнее, от внутреннего раздора, и начала объединения земли – В.К.*) и в этой новой, духовно сложной атмосфере остаётся неповторимым по своей глубине, силе, исторической укоренности и *сродности духу народа, этим идеалом запечатленному.*

Не было еще в истории примера, чтобы народ, создавший свою культуру на почве одного вдохновения, одного идеала, в расцвете сил своих переменял этот идеал и начал творить столь же успешно новую культуру, на новую тему. Нет. Народы в свою органическую эпоху воплощают дух только в одну, свойственную им форму, и, так сказать, обречены пережить свой исторический век в ней, ее развивая, обогащая, видоизменяя, но *не заменяя ее и ей не изменяя.* Измена ей – культурное самоубийство, или этническая старость, обесценивание народа (*подчеркнуто мной – В.К.*), после чего он

может еще жить долгие столетия механической, подражательной, интернационально-шаблонной жизнью, никого не радуя и никому ничего не обещая... Россия, найдя свой идеал, употребила великие добросовестные усилия, чтобы стать его достойной. И если падала, изнемогала и грешила, то поднималась, вдохновляемая им же. А главным образом – им, и единственно им, спасалась в страшные минуты своей истории, когда жизнь ставила ее на край опасности или гибели...». Мы и ныне – вновь проходим по краю, внимая демагогии и посулам политиков, соблазняясь гламуром журнальным и телевизионным, но остаётся надежда – на ту здоровую (и здоровую!) основу духовности, которую созидали, часто ценою жизни, мудрейшие и неравнодушные к судьбе своей матери дети России.

Наверное, на этом и нужно поставить точку в очерке, появление которого обязано не только выходящему тогда альбому «От руин до иконы» как небольшой частице нашего богатейшего духовного наследия и деяния, но и мыслями о связанности личной судьбы с судьбой земли, в которой рожден, о гордости и тревоге за эту землю, самим провидением, очевидно, предназначенной быть мировой экспериментальной площадкой. Ничем другим нельзя, пожалуй, объяснить тот неубываемый запас творческой потенции, которую вряд ли смог бы сохранить другой народ, вынеся столько испытаний в своей истории, отдав столько безвинной крови и столько потреблённого миром интеллекта, как произошло это у России, особенно в только что ушедшем в прошлое XX веке.

Быть может этот альбом, страницы которого читателю предстоит перевернуть и в которые необходимо всмотреться пристально зрением еще и душевным, вызовут те удивление и восторг, которые послужат не только новому знанию русской культуры и духовности создававшего ее народа, но и помогут собственному самопознанию, вне которого, собственно, и нет смысла своего пребывания в этой жизни, на этой планете... Гордость и достоинство страны, государства – это достоинство и духовная полноценность, состоятельность отдельной личности...

«Запад России», № 1(27), 2002 г.;
«От руин до иконы» (Художественный альбом),
«Кладезь», 2007 г.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Калининградской областной Думе

Уважаемые господа депутаты! Дорогие сограждане!

18 октября на заседании Совета Думы было принято решение вновь включить 28 октября в повестку заседания Калининградской областной Думы законопроект нового правительства КО о передаче кирхи Арнау в посёлке Родники в собственность Калининградской епархии РПЦ. Видимо, надо вспомнить, что кирха Арнау, основанная в 1364 году, – важнейший элемент всемирного наследия культуры. В ней находятся чудом сохранившиеся уникальные средневековые настенные фрески, кирха связана с памятью многих исторических имён, в том числе с именем Э.-Т.-А. Гофмана. В 2006 году в здании кирхи, переданном Историко-художественному музею, начаты реставрационные работы, финансируемые из федеральных и областных средств, а также (в большей степени) – немецким культурным обществом «Арнау». И пока еще кирха находится в областной собственности, хотя с мая 2010 года – без обсуждений! – была передана в пользование РПЦ, там начались службы.

Видимо, необходимо напомнить и осознать две очень важные вещи. Первое. Согласно конституции РФ является светским государством. То есть, *церковь является общественной организацией*. Принятие или не принятие Веры и религии является выбором гражданина свободным и добровольным. И агрессивная клерикализация, осуществляемая в последние годы, противоречит этому свободному выбору.

И второе. Ситуация в Калининградской области отличается от других регионов России тем, что церковные здания, поспешно намечаемые к передаче в собственность, не строились РПЦ и никогда ей не принадлежали. Здесь, как и во многом ныне, касающемся традиций и культуры, происходит подмена понятий и спекулятивная профанация понятий. Даже по канонам православия богослужения в чуждых храмах – кощунственно: чужая «намоленность», иную

память хранят эти стены. И было закономерным отнесение этих зданий к *культурному наследию*. Зайдите в *первый* православный храм «Памяти великомучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии» в Багратионовске, выстроенный энтузиастом о. Дмитрием, в храм Христа Спасителя, в церкви на ул. Комсомольской и п. Чкаловск, и вы почувствуете разницу самой ауры этих стен по сравнению с оккупированными зданиями других конфессий...

Вспомните о попытке выселить областной симфонический оркестр из дома, поднятого из руин руками энтузиастов. Выселения на эфемерном основании, что это было жилище пастора... Сейчас делается всё, чтобы лишить помещений Калининградского ПТУ-5, хотя там до войны был всего-то дом пастора и дом общины. Спросите мнение коллектива ПТУ, готового объявить голодовку.

21 и 22 октября новым правительством КО подготовлен законопроект о передаче в собственность зданий областного театра кукол (б. кирхи королевы Луизы), Калининградской областной филармонии (б. кирха Святого Семейства), дома культуры «Русь», музея великого литовского поэта, пастора Кристионаса Донелайтиса в Чистых прудах. Кажется, лишь ходатайство г-жи Меркель остановило передачу РПЦ Кафедрального собора. Этот законопроект, без обсуждения общественностью, также вскоре придётся рассматривать вам, господа депутаты. Наверное, не лишне будет напомнить, что все эти здания подняты из руин на бюджетные деньги - на деньги налогоплательщиков и ваших избирателей.

Новое правительство КО торопливо поставило телегу впереди лошади: законопроект «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» (внесён 16.06.2010 правительством РФ, прошёл первое чтение 09.09.2010, но еще не принят Госдумой). И вновь при подготовке федерального закона не учтены особенности Калининградской области, где не должны передаваться объекты, в которых расположены учреждения культуры и образования, как не принадлежащие прежде и исторически РПЦ. Это ваша задача – рекомендовать и добиться внесения поправок в готовящийся законопроект!

Сама идея передачи музея К. Донелайтиса и пасторского дома (пос. Чистые пруды) в собственность РПЦ просто безнравственна и безумна. В кирхе, построенной самим Донелайтисом на месте деревянной, покоится прах Поэта. Эти здания были восстановлены калининградцами с участием наших литовских соседей. Здесь уже

второй десяток лет проходят традиционные литературные чтения, привлекающие молодёжь, что особенно важно в наше профанирующее культуру и Слово время. Речь ведь идёт о значимом для жителей области и священном месте для Литвы, – именно здесь корни литовской литературы и народной нравственности. Подумайте, какой колоссальный урон эти действия могут нанести нашим добрососедским отношениям с Литвой. Подумайте и о возможной «утрате лица» самой церкви, идущей на рейдерский захват (иначе не назвать уже имеющие место действия местного священника) исторических реликвий, принадлежащих – миру. Да – в 2014 году Юнеско отметит 300-летие родоначальника литовской литературы. Представьте себе, что подобные действия были бы предприняты в отношении нашего Михайлы Ломоносова, гениального современника Донелайтиса...

Понятно, что чиновники, только пришедшие во власть, с готовностью торопятся отдать им не принадлежащее. Понятно, что руководители этих учреждений не смеют возразить непродуманным решениям нового правительства, боясь потерять свои места. Мотивация сохранения церковью status quo учреждений культуры не выдерживает критики: что будет с фресками, с органом, со скульптурными изображениями, противоречащими канону православия? И если всё остаётся, якобы, на своих местах, то – в чём смысл этих актов передачи в собственность общественной организации?.. Одной из важнейших проповедей, а ныне – просто животрепещущей темой, являются речи о нестяжательстве. Приводятся примеры святых, босыми и подпоясанными вервием несущих Слово, старцев в скиту, будящих совесть у преступников... Но что-то не слышно было голоса нынешних служителей, когда закрывались в посёлках школы, библиотеки и фельдшерские пункты, лишая детей даже тех слабых огоньков добра, нравственности и знания, которые поддерживала тонкая «прослойка» интеллигенции, в порушенном быте сёл. Так в каком веке мы живём?! Говоря о «нанотехнологиях», «инновациях», государство (чиновничество, и церковное в том числе) фактически провоцирует сползание в средневековье: катастрофически растёт неграмотность, власть денег и насилия, сеящие в будущее ядовитые семена равнодушия и цинизма...

Невольно вспоминается великий Лев Николаевич Толстой (25.02.1901 г. с.с. отлучённого от церкви, а ныне «прощённого» ею, на что Л. Т. вряд ли согласился – читайте «Ответ на определение Синода», псс. 1984, т. 17). «...*Про Христа, выгнавшего из храма бы-*

ков, овец и продавцов (торговцев), должны были говорить, что он кощунствует. Если бы он пришёл теперь и увидел то, что делается его именем в церкви, то ещё с большим и более законным гневом наверно выкидал бы все эти ужасные антимины, и копыя, и кресты, и чаши, и свечи, и иконы, и всё то, посредством чего они, колдуя, скрывают от людей Бога и Его учение...», «...вмешательство власти в дела веры производит вреднейший и потому худший, так сильно обличаемый Христом порок лицемерия... препятствует достижению высшего блага как отдельного человека, так и всех людей – единения их между собой. Единение же достигается никак не насильственным и невозможным удержанием всех людей в раз усвоенном внешнем исповедании одного религиозного учения, которому приписывается непогрешимость, а только свободным движением всего человечества в приближении к единой истине, которая одна и поэтому одна и может соединить людей».

Истина эта – Любовь.

Уважаемые депутаты всех фракций! Отриньте всяческие личностные и партийные соображения, кроме пользы жителей, которые вас избрали, и понятий высшей справедливости. Прислушайтесь к голосам разума, к мнению многих людей, не надевших шоры псевдовыгоды и ханжества, войдите в интернет, говорящий голосом нового поколения.

Задумайтесь о негативных последствиях, которые проецируются в будущее решениями несправедливых и просто нечестных действий людей, «не ведающих, что творят». Оставаясь в рамках закона и делегированной вам власти, охладите пыл торопливых «законопроектантов», видимо не отдающих себе отчета, какое зло и какую мину подкладывают они под авторитет государственной (народной?) власти, авторитету самой церкви и вере. Какой урон несут эти действия калининградцам. Вас избирали, как мудрейших, – подтвердите это.

Мы оставляем за собой право обращения с этим письмом в средства массовой информации, в Ген консульство Литвы – по поводу передачи музея Кристионаса Донелайтиса, 300-летие которого будет отмечаться не только в Литве...

«Тридевятый регион», №36, ноябрь, 2010 г.

P.S. Не прислушались... да и где взяться мудрости у алчущих тельца, но не истины...

СЛОВО

(На церемонии вручения премии им. К. Донелайтиса,
Вильнюс 17.12.05 г.)

Вряд ли будет большим откровением, если я скажу, что все мы прежде всего – читатели. Слово – Логос – дано человеку не только для обозначения видимого и сущего, но и как способ передать свою мысль другому. И с тех давних пор, когда человек догадался слагать в слова звуки оформить зримыми знаками, человечеству явилась великая возможность преодолеть время, подчинить время своему опыту – избежать забвения...

С первыми сказками, с первыми самостоятельно прочитанными книгами приходит к нам осознание своей сопричастности этой жизни, и самое главное – осознание себя, как части великого целого: части природы, мироздания, космоса.

Сейчас модны разговоры-споры и предсказания, что книга – литература – изживает себя, что коммуникативные средства – телевидение, интернет и прочее – делают книгу явлением второстепенным. Так ли это?

В своей Нобелевской речи Иосиф Бродский назвал самым тяжким преступлением человека против самого себя «пренебрежение книгами, их нечтение (*курсив мой – В.К.*). За преступление это человек расплачивается всей своей жизнью; если же это преступление совершает нация – она платит за это своей историей».

Не побоюсь сказать, что обретенной нами свободой от тоталитаризма в стране, из которой мы совсем недавно вышли, мы обязаны искусству и литературе – в частности. Что бы там ни говорилось, но народ наш был читающим, причем – научившимся понимать «эзопов язык», справиться с которым не под силу никакой цензуре. Это именно литература – я имею в виду произведения искренние и честные, порою вовсе не «играющие в идеологию», хотя бы произведения тех же «деревенщиков» (Ф. Абрамов, В. Астафьев, В. Распутин, Ю. Казаков и др.), прочитывая которые

человек осознавал всю невозможность дальнейшего рабства, не желал и дальше оставаться «винтиком» в этой чудовищной машине нивелировки личности и сознания. Человек обретал сознание собственного достоинства и единственности своей жизни и своего деяния на этой земле и в этой, не слишком долгой жизни...

«Не слушайте наш смех, услышьте нашу боль!» – восклицал Александр Блок. Да, литература, искусство – прежде всего не знание, но сопричастность боли, страданиям и заблуждениям человеческим. Это поиск духовной гармонии с природой, с Богом. С собой. Ибо природа и создала нас, саму возможность мыслить и страдать в непрекращающемся поиске – для того, чтобы через человеческий разум познать самоё себя.

Вовсе не случайно замечено, что самые глубокие, философские и провидческие книги и произведения искусства создаются в переломные, порою тяжкие для народа времена. Библия и «Илиада», «Гамлет» и Братья Карамазовы», «Тихий Дон» и «Шуаны»... Словно на защиту выдвигает нация из духовных недр своего гения, способного произнести Слово объединяющее, показывающее невозможность будущего в состоянии рабском. Обретение человеческого достоинства... труд тяжкий. Но это – труд, не «работа»: сама этимология слов несёт различие смыслов. Для люмпена, для лакея, для раба – труд непосильный. Осознание необходимости свободы (и несомой с нею ответственности за деяния свои) для созидания на своей земле зачастую проходит в долгом историческом времени. И требует цементирующего раствора, способного сплотить толпу, неоднородную массу людскую в единую семью, озабоченную не только бранным существованием, но и продолжением себя – в будущем. Красоты – как гармонии природы, её, природы, мерила здоровья.

И катализатором этого раствора становится художник. Если угодно – проповедник в самом расширительном значении этого понятия. Проповедник Красоты и Гармонии. Лада.

Таким катализатором для литовской культуры и явился Кристионас Донелайтис. Как многие народные просветители, он был универсальным мыслителем, как и практическим деятелем. Словно проникаясь болью насилия и одухотворяя чувственность природы он напишет: «Вся промокла земля и слезами обильными плачет./ Ибо повозка порой раздирает ей дряблую спину». Он поэт и главное его деяние – Слово, и поиск через Слово – пути в едином для всех пространстве Жизни и Смерти, Космосе.

Он не увидел своего произведения напечатанным, скорее всего – и не предполагал этого. Поэма складывалась в гуще событий, пусть и в достаточно замкнутом поначалу пространстве – как слово пастве, которой он был близок и в которой он знал и различал каждое лицо. И любил – да, любил, порой с болью и досадой, и гневом, – каждого из прихожан с их слабостями, предрассудками, униженностью и порождаемой этой униженностью чёрствостью к миру и... к себе, к себе! Ритмизированность проповеди, в которой Донелайтис предстаёт достойным учеником великих греческих классиков (Гесиод, Вергилий) и Библии, наверняка – словно на театре – зачаровывала, оседающая в глубине души и сознания. Но она осталась бы лишь энергичным сотрясанием воздуха, если бы не касалась самых основ жизнеуклада этих людей. Отсюда гениальный замес назидательности и сарказма, переполняющих всю поэму «Времена года» Здесь есть всё – от рецептов кулинарных и красоты национального костюма, птичьего гама и свадебного пира с непременною потасовкой, сезонных (как у Вергилия!) советов землепашцу и прочее, до ядовитого осуждения лени, осмысления социальных столкновений, продажности суда и нелепости слепого подражательства чужим нравам и моде. Написанная более двухсот лет назад, поэма интересна и ныне не только этнографией, но и тем нравственным зарядом личностного узнавания добра и зла, который и делает произведение искусства непреходящим во времени в любом обществе. Становится – народным. Ещё и потому, что и корни языка Донелайтиса –там в почве, именно оттуда из этой почвы взят крутой замес языка, которому предстояло стать литературой. А позже – разойтись в поговорках и суждениях. Дать новый слой почвы языковому выражению мысли и настроения, почву – общению. И Донелайтис не боится ни патетики, ни самой низкой грубости, открывая слову возможность открыться любой аудитории слушателей. Или – читателей.

Кто лесника обдурил и этим хвалится, шельма.

Кто там объезчика за нос водил и хохочет, поганец,

Кто, ошалев от водки, как дурень, буркалы пучит...

И, становясь народным, национальным, пополняет общечеловеческую культуру, которая принимает в себя (и хранит, благодаря книге!) лучшее от духовности любого народа.

Основой же дружбы и взаимного уважения прежде всего становится знание: характера, традиций, мировоззрения – всего, что создаёт культуру народа. Что определяет почву для общения и по-

нимания. В культуре каждого народа есть свои знаковые имена. Nation создаёт язык. Видимо, художник с его даром провидения и талантом внушения, полученным свыше, и становится тем колоколом, звуки языка которого, преломляясь в слова разных народов, входят ясным зовом к добру и пониманию значимости наших деяний для этой земли. Такой небольшой по сути и очень ранимой. И вовсе не важно, на каком языке изначально сказано верное слово. Оно – трансформируется, если честно и гармонично, открывая другим народам свой опыт соседствования и взаимопонимания.

Ибо в итоге мы – земляне.

Уходят в историческую память (или – забвение) цивилизации, пропадают в небытии покорители и властители. Остаются художники, как концентрация мысли и чаяний людей, опыта и боли. И единственности пути – в добре и красоте. Кто сейчас вспомнит «власть предрержащих», при которых творили Гомер и Сократ, Конфуций и Леонардо, Шекспир и Достоевский, Вийон, Акутагава.

И – Донелайтис. Их гением жив народ, их гением объединено и призвано человечество в осмыслении и пути будущего, как бы банально это ни звучало. И – повторяюсь – вовсе не важно, на каком языке изначально сказано верное слово. Нам жить рядом – всегда, и мы узнаём душу друг друга прежде всего через культуру. Я часто бываю в Каунасе, чтобы вновь увидеть фантастически музыкальную живопись Чюрлёниса и услышать его музыку, Я читаю стихи Юргиса Балтрушайтиса, раскрываю альбом с театром и картинами Добужинского, открываю для себя народные дайны. Хожу ли я по Вильнюсу, Каунасу или Клайпеде, узнавая знакомые улицы, бывшие постройки и памятники, или останавливаюсь перед новостройками, захожу ли в мастерские художников и уютные кафе, мне здесь памятно, тепло и душевно в любое время года. И я знаю – здесь мои друзья, какой бы демагогией не разводили нас политики...

Я начал с того, что все мы прежде всего – читатели. И читателю также необходимо мужество, как писателю, художнику, который в своём творчестве остаётся один на один – с миром, с государством, с расхожими мнениями, с модой – и еще со многим, что пытается подчинить его себе, сивелировать, обезличить саму мысль своей единственности перед Богом.

Разумеется, проще всего принять книгу как наркотик: найти в ней успокоение для сна и миражи, обрести оправдание собственной слабости или жестокости, или равнодушию. Но любой нарко-

тик разрушителен, и еще неизвестно, что страшнее – физический или духовный распад, ибо именно она – духовная, нравственная деградация – бросает тень смерти в будущее.

Читателю необходимо мужество, чтобы суметь остаться наедине со Словом и Книгой – наедине с тем тысячелетним опытом, что отражен на страницах, ему раскрывшихся. Мужество необходимо, чтобы сознаться себе, как ничтожно мало знаешь и как мало времени отведено, чтобы успеть принять в себя лучшее из этого опыта. Ибо, пусть это звучит странно и «несовременно», именно из-за отсутствия культуры и отзывчивости боли великих художников рушились империи, разгорались войны, являлись демагоги и тираны, фюреры и вожди... Как-то Лев Толстой для себя записал возглас Гейне: «Странное дело! Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные поступки преданностью интересам – религии, нравственности и любви к Отечеству». И читателю нужно немало мужества, чтобы отличить дешёвые призывы и ложь от идеалов, за которые шли на костёр, а не посылали – ближних своих.

Мужество необходимо читателю, чтобы ощутить и полюбить язык и Слово своей земли: только научившись с уважением и любопытством относиться к родной речи, можно без попугайства воспринять богатство речи иноплеменной. И, наконец, мужество особого рода – как для писателя, так и для читателя, - состоит в умении, поверив себя на оселке тысячелетнего книжного опыта, сохранить свою единственность, свою собственную сопричастность всей жизни. Как и собственную ответственность за неё. Сохранить уважение к праву мыслить – каждого живущего на этой планете. И осознать, что творец – явление штучное, встрече с которым нужно уметь удивляться и радоваться.

Песня юридивого

Не быстрее ног ходули,
И не трутням божий улей!
Все мы в даях правды ищем,
Правда здесь, в уделе нищем –
Петь бездольных побоюсь ли –
Ведь на то и гусли!
Я любил ходить на свадьбы –

Ах, еще раз побывать бы!
А бывал я и на тризне,
Но пою я лишь о жизни,
И ни скудости, ни смерти,
Вы, как я, не верьте!

Знал я зной и знаю холод,
Стар вчера, а ныне молод,
И за скорбь земли былую
Трижды землю я целую
И земной былинке всюду
Я молюсь, как чуду...

Дан простор земных распутий,
Чтоб цвели века в минуте –
Воет в поле час метели,
Чтоб звучал лишь май в свирели,
Дремлет ночь в земном просторе,
Чтоб всходили зори...

Юргис Балтрушайтис

ПРЕДИСЛОВИЯ. СЛОВО РЕДАКТОРА

Возможно, и вся наша жизнь – лишь предисловие перед чем-то, пока ещё неизвестным, но – неизбежным. Убеждён – человек приходит в этот мир с неким знанием, ещё не проявленным и не осознанным, но являющимся почвой – для посева... Опыта человеческих достижений и ошибок, записанного в книгах, картинах, музыке, познания себя в природе и природы – в себе...

БЫТЬ СЛОВУ ЖИВУ...

Уверен, у каждого всерьёз работающего литератора однажды всплывает в душе сомнение: нужно ли кому-то моё писание, услышит ли хоть кто-то мою боль и тревогу, которые могут скрываться за самыми смешными и нелепыми ситуациями, как это происходило у Михаила Зощенко, или за парадоксальными и «вещно-мифологичными» образами Андрея Платонова? Когда стоишь перед рядами книг, пробегая глазами имена авторов на корешках, невольно приходит к тебе гибельная мысль – что можешь добавить ты к этому сонму слов и мыслей, да и вообще – способны ли, наконец, эти тома, начиная с Гомера или Данта, хоть на йоту изменить человека, его отношение к себе и – к миру... А ведь в русской литературе есть ещё Лев Толстой и Фёдор Достоевский – с их титаническим словом, обращённым к самой сути человеческой души, к самим истокам нравственности и совести людской. Есть Бунин и Чехов, с их тонким и чутким словом. И после них, после этих слов, отлитых на всех языках, проходят две мировые войны, идут «малые» войны – ежедневные, уносящие тысячи жизней, питающие землю слезами и кровью, пятнающие грехом убийства всё новые поколения...

История Калининградской писательской организации, начавшаяся 15 мая 1960 года, может быть записана в нескольких строчках, а может вылиться в добротный том, за которым стоят судьбы и произведения людей, взявших на себя ответственность за слово на этом непростом острове Европы. И хотя творчество калининградских писателей никак нельзя рассматривать вне контекста русской литературы и его «советского» периода, всё же своеобразие края, его сложная история, аура прошлых столетий и вихрь новых перемен не могли не сказаться не только на творчестве, но и на самом отношении к писательству и книге. В этом коротком предисловии нет возможности, да и необходимости, подробно рассматривать периоды и этапы становления, непростого «скла-

дывания» калининградской литературной среды. Внимательный читатель этой книги найдёт всё в биографиях и текстах собранных здесь авторов. Ибо за каждым из них – своя судьба, вне которой писатель не в состоянии обрести голос, сказать только своё, пусть негромкое – но своё, слово.

Нельзя забывать, что наш край в совсем мимолётный миг претерпел такую коренную метаморфозу, примера которой немного в истории человеческой цивилизации: полное выселение прежних жителей территории, единовременный приход нового населения – переселенцев из самых разных областей и республик, из России и Татарстана, Сибири и Белоруссии, Литвы и Мордовии... Уже по топонимике названий деревень и улиц можно судить о географии, сложных дорогах и даже о тоске новых насельников по оставленным местам: Люблино, Талпаки, Полесск, Калужская, Уральская, Петропавловка, Архангелогородское... Возможно, именно этой маргинальностью обусловлена и последняя волна «русскоязычных» переселенцев после распада империи – из Казахстана, Таджикистана, Кавказа. Это не могло не отразиться в своеобразной эклектичности складывающейся в крае культуры, в языке, в обретаемых общих традициях, основой которым стало – море. Не могло не оставить следа в литературе.

Начинали Калининградскую писательскую организацию такие разные, порою противоречивые, люди, как легендарный исследователь Севера и капитан ледокола «Седов» Константин Бадигин, как освобождённый из норильской ссылки физик и автор фантастических романов Сергей Снегов, бывший офицер и журналист Валентин Ерашов, автор историко-революционных романов и пьес Вольф Долгий. «Сыном полка» приехал после блокадного Ленинграда Юрий Иванов, здесь воевал Евгений Зиборов, о войне писали обожжённые ею Всеволод Остен и Маргарита Родионова. Позже с флота пришли в литературу поэты – Никита Сулович, Марк Кабаков, Игорь Пантюхов. Из разных областей России Балтика привлекла Анатолия Соболева, Олега Павловского, Валентина Зорина и многих других. А молодежные литобъединения, и прежде всего «Родник», сложившийся ещё в 60-е при газете «Калининградский комсомолец», открывали новые имена молодых талантов, выросших уже на земле калининградской: Валентина Соловьёва, Сергей Погоняев, Дмитрий Ужгин, Наталья Горбачева...

Нельзя забывать, что литераторы области были вынуждены

работать в очень жёстких – быть может, среди российских регионов в наиболее жёстких, – условиях цензурного догляда и партийного сита, сквозь которые пропускались как рукописи, так и сами литераторы. Даже приём в СП не проходил вне бдительного ока идеологических руководителей, даже книги и журналы, издаваемые в центре, здесь просматривались «на предмет идеологической выдержанности», прежде чем поступить в библиотеки или книжные магазины.

Кратковременная «оттепель» начала шестидесятых приоткрыла было занавес для живительного воздуха настоящей поэзии, прозы, публицистики, но иллюзии были умело погашены. Это сейчас многие имена стали хрестоматийными, а в 70-е годы за доброе слово об Ахматовой или (не дай бог) о Цветаевой, за чтение Солженицына или «черносотенца» Бердяева можно было вылететь из газеты. Но Слово тем и сильно, что способно прорасти через любой идеологический асфальт, если оно настоящее и честное, и всё равно читались стихи Пастернака и проза Платонова, озоном входило в лёгкие явление «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, прорвались к читателю книги «деревенщиков» Абрамова, Астафьева, Распутина, чистое слово Юрия Казакова – это они заставили увидеть и ощутить унижительное моральное рабство и помогли обрести чувство собственного достоинства. И объединить людей – в дальнейшем неприятии лжи и беспамятства. Да, грех забывать, что именно слово художников, помогало осознанию невозможности тоталитарного бытия и подготовило духовную почву новым переменам.

То, что литература, точная поэтическая строка и Слово таят в себе опасность и вооружают человека мыслью и мудростью власть понимала издревле отлично... Как, впрочем, понимает и сейчас, разве что метода борьбы изменилась. Быть может, став ещё изощрённей и действеннее. Исчезли цензурные рогатки, творчество стало раскованней. И... доступно-безответственной. Зачем явное насилие, всегда вызывающее противодействие, когда можно утопить в «рынке» и «самоокупаемости», в небрежении к слову и творцу (в какой бы области он ни работал), в оплачивании графомании и безграмотной амбиции - утопить само стремление к чтению и распылить критерии красоты и культуры в англо-нижегородской смеси фени с рекламными «слоганами». Нет нужды в запретах: достаточно «отпустить» бесхребётных журналистов да

низвести культуру до прислужницы развлечений и квазимиражей «сладкой» жизни. Нельзя не заметить, что это происходит теперь на мировом уровне: нивелировка сознания и самой личности у телеэкранов и за чтением комиксов с вербальными «ужасиками», на фоне которых действительные ужасы века и бытия кажутся удалёнными и чужими. И это при том, что миры человеческие, как никогда прежде, оказались взаимосвязаны, взаимозависимы. Но ведь и - взаимответственны.

Нет нужды в запретах... Можно просто впустить убийственный заряд примитива, попсы и полутрамотного чтива, растворяющих истинную культуру (которая обретается долгим трудом) в среднеарифметическом киселе общемыслия. В то время как русская литература и книга в России всегда была духовным, философским и нравственным поводом в становлении личности, нынче её функции низводятся до развлекательной и «оздоровительной». Значимость художника – и ответственность его за Слово! – намеренно и умело сводятся вновь до положения прислуги в передаче информации или «чёрного пиара». О какой спасительной красоте и душе можно говорить, когда – как на древних и строгих иконах грунтовалась талантливая первозданность – теперь поверх классических текстов пишется фельетон...

И здесь, в преддверии этого сборника необходимо сказать о мужестве писателя. Ещё в 1966 году Юрий Казаков написал рассказ именно с таким названием. «О мужестве писателя». И вовсе не случайно он старался в каждый свой редкий сборник включить этот рассказ. «Когда писатель сел за чистый белый лист бумаги, против него сразу ополчается так много, так невыносимо много, так всё зовёт его, напоминает ему о себе, а он должен жить в какой-то своей, выдуманной им жизни. Какие-то люди, которых никто никогда не видел, но они всё равно как будто живы, и он должен думать о них как о своих близких. И он сидит, смотрит куда-нибудь за окно или на стену, ничего не видит, а видит только бесконечный ряд дней и страниц позади и впереди, свои неудачи и отступления, - те, которые будут, - и ему горько и плохо. А помочь ему никто не может, потому что он один.

...Нужно держаться, нужно быть мужественным, чтобы начать всё сначала. Нужно быть мужественным, чтобы терпеть и ждать, если талант твой вдруг уйдёт от тебя и ты почувствуешь отвращение при одной мысли сесть за стол. Талант иногда уходит надолго,

но он всегда возвращается, если ты мужествен... (И) должен помнить ещё, что зло существует на земле, что физическое истребление, лишение элементарных свобод, насилие, уничтожение, голод, фанатизм и тупость, войны и фашизм существуют. Он должен по мере своих сил протестовать против всего этого, и его голос, возвышенный против лжи, фарисейства и преступлений, есть мужество особого рода...»

Да, художнику требуется особое мужество, чтобы сохранить свой дар и остаться верным единственной правде – любви, добра, справедливости и понимания. Он не должен забывать, что Дар – это лишь подарок, и дальше только от него зависит, как он этим дарением распорядится, насколько сумеет он осознать, что данность – не только избранность, но и призванность, требующая полной самоотдачи и даже жертвенности. Русский язык точно отразил состояние души человека, прочными нитями связанного с жизнью: со-страдание, со-чувствие, со-бытиё... Лишь этим человек противостоит разрушению, противостоит смерти.

Но и читателю также необходимо мужество.

Разумеется, проще всего принять книгу как наркотик: найти в ней успокоение для сна и миражи, обрести оправдание собственной слабости или жестокости, или равнодушию. Но любой наркотик разрушителен, и ещё неизвестно, что страшнее – физический или духовный распад, ибо именно она – духовная, нравственная деградация – несёт смерть уже и нации, народу...

Читателю необходимо мужество, чтобы суметь остаться наедине со Словом и Книгой – наедине с тем тысячелетним опытом, что отражён на страницах, раскрывающихся ему. Мужество необходимо, чтобы сознаться себе, как ничтожно мало знаешь и как мало времени отведено, чтобы принять в себя лучшее из этого опыта. Ибо, пусть это звучит странно и «несовременно», именно из-за отсутствия культуры и отзывчивости Сократу и Сервантесу, Шекспиру и Гоголю, Петрарке и Пушкину – рушились империи, разгорались войны, являлись тираны, фюреры и вожди... Как-то Лев Толстой для себя записал возглас Гейне: «Странное дело! Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные поступки преданностью интересам – религии, нравственности и любви к отечеству». И читателю нужно немало мужества, чтобы отличить дешёвые призывы и ложь, от идеалов, за которые шли на костёр, а не посылали – ближних.

Мужество необходимо читателю, чтобы ощутить и полюбить язык и Слово своей земли – только научившись с уважением и любопытством относиться к родной речи, можно без попугайства воспринять богатство речи иноплемённой. И, наконец, мужество особого рода – как для писателя, так и для читателя – состоит в умении, поверив себя на оселке тысячелетнего книжного опыта, сохранить свою единственность, свою сопричастность всей жизни. Сохранить уважение к праву мыслить каждого живущего на этой планете, уважение – к жизни...

В заключение остаётся сказать, что литературы не бывает областной, столичной или местной. Вовсе не всегда общепризнанное, модное или отмеченное премиями выдерживает проверку временем. Там же Юрий Казаков написал: «Есть всё-таки и в его (писателя) работе минуты... Когда он вдруг вспоминает, написав особенно сильную страницу, что сначала было слово и Слово было Бог! Это бывает редко даже у гениев, но это бывает всегда только у мужественных, награда за все труды и дни, за неудовлетворённость, за отчаянье – эта внезапная божественность слова. И, написав эту страницу, писатель знает, что потом это останется. Другое не останется, а эта страница останется»...

И тогда неважно, в каком уголке земного шара она написана. И – прочтена.

*Предисловие
к Антологии калининградских писателей
«Калининград литературный»,
«Проза, поэзия, эссе», 2002*

РУССКОМУ ЧИТАТЕЛЮ

Подобное издание поэмы Кристийонаса Донелайтиса – «Времена года» – совместно литовский текст и его русский перевод – появляется впервые в 2005 году в издании Калининградского ПЕН-клуба. Русский перевод Давида Бродского вышел в 1946 году, достаточно регулярно издавался, став по-своему каноническим. Однако такой книги, которая открылась бы читателю гранями двух языков одного автора, не было. Потребовалось разойтись, чтобы понять обоюдную значимость и, соответственно, интерес к пограничному соседу. Литве надо было стать самостоятельным государством, а нам – калининградцам-россиянам – получить соседа на все времена. Уверен, что дружественного и доброго соседа. Основой же дружбы и взаимного уважения прежде всего становится знание характера, традиций, мировоззрения – всего, что создаёт культуру народа, открывая его ментальность. Что определяет почву для общения и понимания.

Через два года мы, вместе с литовскими коллегами и друзьями отметим 300-летие Кристийонаса Донелайтиса, родившегося 1 января 1714 года.

И нет ничего удивительного, что появляется новый перевод классической книги, уже вошедшей в анналы мировой литературы. Русский писатель и переводчик Сергей Исаев (Clandestinus), выросший в языковой среде Литвы, несколько лет назад пришёл к необходимости заново осмыслить текст великой поэмы. И результатом серьёзного многолетнего труда стал новый перевод на русский язык всего творческого наследия Кристийонаса Донелайтиса. Clandestinus впервые предоставил возможность русскому читателю познакомиться не только с поэмой или баснями, но и со стихотворениями и письмами литовского поэта. Труд этот уже получил добрую оценку профессионалов и учёных литовского Института литуанистики и фольклора, а также российских специалистов-лингвистов, среди которых – известный российский писатель

и патриарх русского перевода более чем с десятка языков Е. Витковский. Восстановлены фрагменты, по разным причинам прежде выпавшие из русского варианта поэмы, многие места переосмыслены и значительно приближены к оригиналу. Да и само название, в отличие от привычного и, пожалуй, снижающего философскую значимость произведения, приобрело более объёмное, если угодно, планетарное звучание. И если «Времена года» приводит мысль читателя именно к смене сезонов и связанного с этим состояния, то в новом издании титул «Времена» расширяет диапазон звучания произведения – до ощущения космического и вневременного...

К такому же ощущению протяжённости в пространстве и времени, некоторой эфемерности и зыбкости жизни приходит в своей графике художник Ирина Герасимова. Одухотворённость, наполненность воздухом, который словно пронизан космическими частицами на её графических листах, непременно остановит взгляд и мысль читателя...

В культуре каждого народа есть свои знаковые имена. Нацию создаёт язык. Слово. В своё время о русском современнике Донелайтиса – Михайле Ломоносове – Белинский сказал, что с него «начинается наша литература; он был её отцом и пестуном, он был её Петром Великим...». «Краеугольным камнем литовской литературы» назовут потомки поэму Кристийонаса Донелайтиса. Поэму, которая вмещает в себя не только природу бытования человеческого и эпоху историческую, но и создаёт нравственную основу жизни – те моральные принципы и правила поведения, благодаря которым сохраняется самое главное, что определяет будущее. Достоинство личности и самоуважение, дающие возможность человеку обрести свою божественную сущность в самых, казалось бы, нечеловеческих условиях. Ибо вне достоинства личности, вне знания и памяти не может сложиться нация. «... Звёздное небо надо мной и нравственный закон во мне», – гениальное определение смысла и способа человеческого существования современным Донелайтиса – Иммануилом Кантом – можно было бы поставить эпиграфом «Временам».

Критиками, историками культуры давно отмечено, что самые глубокие, философские и провидческие произведения искусства создаются в переломные, порою тяжкие для народа времена. «Илиада» и Библия, «Гамлет» и «Братья Карамазовы», «Тихий Дон» и «Щуаны»... Словно на защиту выдвигает нация из недр своего гения, способного произнести Слово объединяющее, показыва-

ющее невозможность будущего в состоянии рабском. Обретение человеческого достоинства... труд тяжкий. Но это – именно труд, не «работа»: сама этимология слов несёт различие смыслов. Для люмпена, для лакея, для раба – труд непосильный. Осознание необходимости свободы (и несомой с нею ответственности за деяния свои!) для созидания на своей земле зачастую проходит в долгом историческом времени. И требует цементирующего раствора, способного сплотить толпу, неоднородную массу человеческую в единую большую семью, озабоченную не только бранным существованием, но и продолжением себя – в будущем. Красоты – как гармонии природы, её, природы, мерила здоровья.

И катализатором этого раствора становится художник. Если угодно – проповедник и духовник в самом расширительном значении этого понятия. Проповедник Красоты и Гармонии. Лада.

Таким катализатором и явился для литовской культуры Кристийонас Донелайтис. Как и многие народные просветители, он был универсальным мыслителем, так и практическим деятелем. Своими руками он мог сотворить музыкальный инструмент, сделать барометр и термометр. И здесь же записать о юности: «Верно... ..глупа молодёжь поначалу:/ Ртути текучей подобна, что бегаёт в склянке ретиво...» (Clandestinus). А позже, словно проникаясь болью от насилия и одухотворяя чувственность природы напишет: «Вся промокла земля и слезами обильными плачет,/ Ибо повозка порой раздирает ей дряблую спину» (Д. Бродский). Он поэт и главное его деяние – Слово. И поиск через Слово – пути в едином для всех пространстве Жизни и Смерти, Космосе чувств, приобретений и утрат.

Он не увидел своего произведения напечатанным, скорее всего – и не предполагал этого. Достойный и внимательный наследник древней культуры, Донелайтис, конечно же воспринял уроки греческих классиков, особенно тех, кто, как и литовский пастырь, славил жизнь на земле – жизнь, слиянную с природой, ею питаемую и одухотворяющую.

Поэзия Донелайтиса не только формой, ритмикой, но и чаяниями гармонии восходит к Гесиоду с его землепашеским практицизмом в «Трудах и днях», к вергилиевским «Георгикам»:

*...Вот что ещё: какие б кусты на полях ни сажал ты,
Больше навоза клади да прикрой хорошенько землёю,
Пористых сверху камней наложи да немых ракушек, -*

*Воды меж них протекут и воздушные струйки проникнут.
Лучше тогда насажденья взойдут...*

(перевод С. Шервинского)

Поэма «Времена» складывалась непосредственно в гуще событий, пусть и в достаточно замкнутом поначалу пространстве – как слово пастве, которой проповедник был близок и в которой он знал и различал каждое лицо. И любил – да, любил, порой с болью и досадой, и гневом – каждого из этих прихожан с их слабостями, предрассудками, униженностью и порождаемой ею чёрствостью к миру и... к себе, к себе! Ритмизированность проповеди наверняка зачаровывала, оседая в глубине души и сознания. Но она осталась бы лишь энергичным сотрясением воздуха, если бы не касалась самых основ жизнеуклада этих людей. Отсюда гениальный замес назидательности и сарказма, переполняющие всю поэму «Времена». Внимательный (и даже не очень) слушатель, а позже – читатель, найдёт здесь всё: от рецептов кулинарных и красоты национального костюма, птичьего гама и свадебного пира с непременною потасовкой, сезонных советов (как у Вергилия) землепашцу и прочее, до ядовитого осуждения лениности, осмысления социальных столкновений, продажности суда и нелепости слепого подражательства чужим нравам и моде. Написанная более двухсот пятидесяти лет назад, поэма интересна и ныне не только этнографией, но и тем нравственным зарядом личностного узнавания добра и зла, который и делает произведение искусства непреходящим во времени. Становится – народным. Ещё и потому, что и корни языка Донелайтиса – там, в почве, именно оттуда взят крутой замес слов, которому предстояло стать литературой. А позже – разойтись в пословицах и суждениях. Дать новый слой почвы языковому выражению мысли и настроения, почву общения... И поэт не боится ни патетики, ни самой низкой грубости, предоставляя слову возможность открыться любой аудитории слушателей. А затем – читателей.

*...Тот обманул лесника и гордится поэтому, дурень,
Этот — объездчика долго дурачил и, шельма, смеётся;
Этот, качаясь от водки, лишь тупо буркалы пучит...*

(перевод Clandestinus)

И, становясь народным, национальным, пополняет общечело-

веческую культуру, которая принимает в себя (и хранит, благодаря книге!) лучшее от духовности любого народа.

Основой же дружбы и взаимного уважения прежде всего становится знание: характера, традиций, мировоззрения – всего, что создаёт культуру народа. Что определяет почву для общения и понимания. В культуре каждого народа есть свои знаковые имена. Нацию создаёт язык. А утрата, вульгаризация и небрежение родным Словом неминуемо ведёт к деградации народа, к утрате им своей истории.

«Не слушайте наш смех, услышьте нашу боль!» – восклицал Александр Блок. Да, литература, искусство – прежде всего не знание, и уж конечно не потеха, но – сопричастность боли, страданиям и заблуждениям человеческим. Это – поиск духовной гармонии с природой, с Богом. С собой. Ибо природа и создала нас, саму возможность мыслить и страдать в непрекращающемся поиске – для того, чтобы через человеческий разум и опыт познать самоё себя...

Уходят в историческую память (или забвение) цивилизации, пропадают в небытии покорители и властители. Остаются художники, как концентрация мысли и чаяния людей, опыта и боли, и единственности пути в добре и красоте. Кто сейчас вспомнит «власть предрежащих», при которых творили Гесиод и Вергилий, Конфуций и Леонардо, Шекспир и Достоевский, Вийон, Акутагава. И – Донелайтис. Их гением жив народ, их гением объединено и призвано человечество в своём будущем, как бы банально это ни звучало. Ведь истины, даже становясь банальными, не перестают быть истинами...

...Даже следы поселения Лаздинеляй, где родился Кристийонас Донелайтис, затерялись во времени и стёрты человеческой жестокостью. Две мировые войны уже в XX веке прогремели над этим местом и «нет уже здесь ни старых дубов, ни берёзовой рощи»... словно предчувствуя апокалипсичность человеческих деяний, поэт предупреждает в своей проповеди:

*...Адские чудища вылезут в мир из подземного пекла,
И меж учёных господ, и меж бурасов тёмных
Только обман да коварство увидим одни повсеместно...
Зрим и теперь ежедневно, как черти, господствуя всюду,
Космы зловеще безбожникам ожесточённой лохматят...*

(перевод Clandestinus)

Он не пугает – предупреждает, предостерегает и страдает болью тех, будущих (нас!), которым в венах перетекает кровь рабов и

лакеев... Ибо, оставляя себе лазейку для оправдания собственной слабости, лености, подражательства и зависти, уничтожения слабых и заискивания перед сильными, – мы усугубляем зло, оставляя проблемы – потомкам. Вчера – готовя век XX-й с его предупреждением самоубийственности этой агрессивной цивилизации, вкладывающей больше средств в оружие самоуничтожения, нежели в созидание. А ныне, уже в третьем тысячелетии, чьим голосам внимаем мы?..

Видимо, художник с его даром провидения и талантом внушения, полученным свыше, и становится тем колоколом, звуки языка которого, преломляясь в слова разных народов, входят ясным зовом к добру и пониманию значимости наших деяний для этой земли. Такой малой по сути и очень ранимой. И вовсе не важно, на каком языке изначально сказано верное слово. Оно – трансформируется, если честно и гармонично, открывая другим народам свой опыт соседствования и взаимопонимания.

Ибо в итоге мы – земляне.

Это лишний раз подтверждает и бережное сохранение памяти литовского поэта в его доме-музее и бывшем приходе в Тольминкемисе – ныне Чистых прудах. И бюст Донелайтиса, установленный несколько лет назад в Гусеве (бывший Гумбиннен) на средства жителей. Совсем недавно в Чистых Прудах (приход Тольминкемис) на месте погибшего сада, в своё время выпестованного Донелайтисом, деятели культуры двух народов вновь заложили сад, который непременно зацветёт к юбилею поэта. К тому же это издание Пен-клуба – полный свод творчества литовского гения – юбилейное: десятое издание К. Донелайтиса на русском языке по счёту вообще. Новое оформление и новый перевод.

Да, именно это издание, которое, хочется надеяться, откроет и молодому русскому читателю ещё один аспект в культуре литовского народа, его корней и нравственных традиций. Ибо вне уважения к духовным основам другого народа не может быть и уважения к культуре собственной. А вне её – кто мы? И какое будущее себе готовим?!..

*Редакция послесловия к первому изданию
ПЕН-центром книги К. Донелайтиса (2005 г.)
и предисловия ко второму изданию перевода «Времена»
на русском и литовском языках (2010 г.)*

ТОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ...

«И чушь прекрасную несли».

Мы горланили в ночном городе песни Городницкого и Кукина, Окуджавы и Висбора – мы были «дежурными по апрелю» и в любой момент были готовы вскочить в трамвай, самолёт или поезд, чтобы отправиться на любой край родной земли «за туманом и за запахом тайги». «Край», впрочем, был чётко обозначен границами и «железным занавесом» цензуры и соглядатаев, так что даже тем удачникам, которым удавалось побывать «за рубежом необъятной родины», не нужно было особо оглядываться, ибо несли эти границы в себе.

Но мы были шестидесятниками – по духу и совпадению с этим временем наших первых литературных опытов. И первого осознания себя личностями, способными строить свою судьбу и противостоять тяжёлому катку государства. Оттепель приоткрыла нам дверь в поэзию, прозу и публицистику – в свободу мысли и творчества, и мы с жадностью прильнули к этой узкой щели, открывая и впитывая творения замечательных художников – страдальцев советской эпохи.

Сейчас их имена стали хрестоматийными. А в шестидесятых-семидесятых только за доброе слово Анне Ахматовой можно было вылететь из газеты. Но прорастали сквозь идеологический асфальт стихи Пастернака и проза Платонова, появлялись в «Новом мире» поэтические подборки Гумилёва и Мандельштама, повести и рассказы Солженицына, озоном вошло в лёгкие явление «Мастера и Маргариты». А затасканный свитер и подбитая сединой борода Хемингуэя, вприщур глядящего с многочисленных фотографий оценивающим взглядом на готовность нашу к свободе и прочим мужским делам, становились своеобразным эталоном бессеребренничества и жертвенности дружбе...

Всё это будоражило нас, рвущихся в литературу со своим опытом пережитого, в основном послевоенного, это и заставляло сразу, как выразился Василий Аксёнов, определить «индифферент своих посягательств». Все, или почти все, ходили в море, легко срывались в экспедиции или на великие стройки, так же легко, как

позже – при всё усиливающейся идеологической загазованности – уходили в кочегары, дворники или просто в питание.

Мы были легки на подъём, всерьёз гражданственны и обуреваемы жаждой знаний и дел. Мы были молоды.

И, хотя в литобъединении газеты «Калининградский комсомолец», где молодые поэты и прозаики собирались, в собственной гениальности мало кто сомневался, планка, поднятая русскими, советскими и прорывавшимися импортными классиками, часто была по голове. Вдруг вышли Пруст и Кафка, Камю и Сартр. А «Заратустру» читали в перепечатках из дедушкиных библиотек... И «Иностранка» открывала всё новые имена. Было над чем думать, если оставалось – чем...

«У каждого талант, конечно, есть,

Как перспектива у цветов зацвести»,

– утешал входящих в мир калининградской литературы Володя Корниенко. Он был одним из первых руководителей Лито. Инженер-строитель. Хорошо строил – и стихи, и дома. Поэтическим новаторством, отважным поиском слова и социального смысла он был близок Андрею Вознесенскому. Но тот раньше оказался на сцене Политехнического в Москве и быстрее приучил цензоров всех инстанций к мысли, что ему разрешено быть смелым...

Володя нежно опекал таланты и был беспощаден к графоманам. Ядром Лито были Олег Глушкин и Сэм Симкин. Здесь начинали свой путь Вячеслав Евстратов, Юрий Беличенко, Анатолий Галенко. Сюда на суд приносили свои стихи Анатолий Краснов и Никита Сулович, Альберт Сосин, Валерий Голубев и многие другие, на всю жизнь связавшие судьбу с литературой. Московские писатели с удовольствием «наезжали» в лито, встречая здесь благодарных слушателей и ярких последователей. Помнится, как Борис Слуцкий по возвращению в столицу передал нам привет в «Дне поэзии», где опубликовал стихи «Сэм Симкин» (многим надолго запомнились строки: «Я романтик», – смеётся Сэм. Блещут белые зубы Сэма, и какое-то доброе семя поселяется в душу мне...»).

Романтики, моряки, рыбаки.

Симкин – диспетчер порта, рыбмастер, «раскачивал» в стихах и порт, и тунцеловные флотилии, влюблялся в землячек и кубинок, но и набрав стихов на добрый сборник, долго с ними ещё мыкался по издательствам.

Глушкин – докмейстер. Спускал на воду, испытывал в море корабли. Труднее было отправить в многостраничное плавание по-

весть свою «Пятый док». «Оттепель»-то была не долгой. В столице успели ещё как-то воспользоваться, говоря словами Вознесенского «пробуждением от галиматьи», а провинциальные идеологи свои гайки не ослабляли ни на минуту.

«Вас надо читать с миноискателем – не знаешь, на каком слове взлетишь», – говорил доброжелательный цензор, копаясь в лит-странице «Калининградского комсомольца». Впрочем, «бдительность» эта распространялась на весь «интеллектуальный продукт», как сейчас бы это назвали: клеймо «абстракциониста», а то и «космополита» спокойно могли навесить товарищи и художнику, и режиссёру, и музыканту. Область была небольшая, вся просматриваемая и процеживаемая через партийное сито, свято блюдущее «высшие интересы». Так нашла своё последнее творческое убежище в молодёжной газете прекрасная художница Бэлла Липовецкая, отлученная даже от иллюстраций книг в издательстве. «Политическую незрелость» вылавливали в стихах, рассказах, картинах, а потом и в действиях журналистов и писателей.

Постепенно стихи, песни и разговоры перемещались с площадей и залов на кухни. По всей стране. Читатели становились всё прозорливее, постигая эзопов язык литераторов. В прозе «деревенщиков» Абрамова, Астафьева, Распутина мы ощущали свою боль, находили отражение своих забот. Мы не знали ещё слова «ксерокс», но зато до дыр зачитывали машинописные слепые тексты Веночки Ерофеева «Москва-Петушки» или случайно прорвавшиеся на страницы провинциальных журналов где-нибудь на Урале или в Казахстане рассказы Домбровского, отрывков из абсурдного жизнеотражения в зеркалах Стругацких и Лема... На допотопных «Эрах» энтузиастами ночных дежурств переснимались даже «Доктор Живаго» и этноизыскания Льва Гумилёва, не говоря уж о стихах Цветаевой, Ходасевича или Вячеслава Иванова. То, что литература, точная поэтическая строка и Слово таят в себе опасность, власть понимала отлично... Впрочем, она это понимает и сейчас, разве что метода борьбы изменилась (быть может, став даже действеннее: утопив в «самоокупаемости» и оплачивании графомании само стремление к чтению и распылив критерии красоты и культуры в англо-нижегородской смеси фени с рекламными «слоганами»)..

Но мы ещё взахлёб читали и слушали стихи. Настоящие. Они прорывались из небытия запретов, рождались новые, подобно траве под майским дождём. «Консервную банку», какой всё душнее становилась

область, нет-нет да и разбуживали «анархические» материалы молодёжки, или «просмотренные» цензурой «свои» книги, вроде «Уцелевшие в аду» Всеволода Остена, на которую обрушился весь артзапас партийного гнева. А на чужой кухне литинститутовец Феликс Скудра сочинял неудобные фельетоны и наизусть читал километрами:

*Я постоянно думаю о них –
Великих, вспоминавших с колыбели
О коридорах света, где мгновенья –
Как солнца, бесконечны и певучи.
Кто жил одним стремленьем – рассказать
Подёрнутыми пламенем устами
О Духе, с головы до ног одетом
в песню.
Чьи, вёснами рождённые желанья
Потоком лепестков пронзали плоть.
Какое счастье! Вечно ощущать
Поток в крови, почерпнутый из горных
Бездонных родников иного мира –
Встречать привычной радостью рассвет
И трепетом любви – ночные тени
Оберегать от слякоти и мглы
Воспоминанье о цветущем Духе.
Вблизи снегов, на солнечных высотах
Дыханье ветра, колыханье трав
И облаков прозрачное мерцанье,
Ликуя, славят эти имена:
Отдавших жизнь во имя высшей жизни,
Носивших в сердце россыпи огня –
Солнцерождённые, они вернулись
к солнцу,
Своим дыханьем воздух озарив!..*

«Это какой ещё Дух? И какие-такие имена – солнцерождённых?! – От таких, как вы, надо оберегать нашего читателя!» И ведь в самом деле...

Ибо точное слово неминуемо влечёт за собою осмысление жизнеустройства и действие по его обновлению. Хочется ещё раз отметить, что и так называемые «диссиденты» того времени не были революционерами, они были скорее именно гражданами своей страны и шли на жертвы, как и спивались, потому, что мечтали по-

строить поистине справедливое общество. Вовсе не разрушая, но согласуя с разумом и справедливостью. Однако потихоньку бес-серебреничество и неравнодушие подменялось аполитичностью и спокойным растаскиванием всего плохо (а по возможности – и хорошо) лежащего. Под ностальгические «кухонные» разговоры.

Эта подмена произойдёт – позже, и тихо, почти незаметно. Она икнётся ещё впоследствии, в 90-е, полной незащищённостью перед «демократурой» и апатией. А когда в 65-66 годах интеллигенция города восстала против решения снести Королевский замок, идеологическое давление было особенно увеличено. «Мы были не против вашего клуба творческой интеллигенции, – говорил мне потом секретарь обкома. – Веселились бы там, танцевали, ну, выпили для общения, стишки почитали... Но вы же на Устои покусились!» Многие и сейчас помнят, как умело расчленили на мелкие группы театралов, художников, архитекторов и других «подписантов» письма в «Литературку», заставляя отказываться от подписей под «простительными» предложениями типа «был пьян» да «ввели в заблуждение». И хотя в то же время, будучи ответственным секретарём молодёжки, мне удалось пробиться в Москве за поддержкой к таким именитым людям, как Илья Эренбург, Константин Симонов, нобелевским лауреатам Петру Капице и Льву Ландау, а в «Известиях» подготовить с Аркадием Сахниным статью, но плетью обуха оказалось не перешибить. Статья была благополучно снята. «Дальше двухмильного буя ты отсюда не выйдешь!» – стучал по столу Коновалов. Замок по команде обкома взлетел на воздух и на его месте «вознёсся памятник руководящему идиотизму». Тогда же практически всем составом ушли журналисты из молодёжки – в знак протеста против разрушения замка и политики обкома в отношении газеты. Под руинами Замка окончательно были похоронены наши иллюзии, связанные с тем, что оттепели при партвласти могут случаться каждый год.

«Иных уж нет, а те далече...» Уходили сторожами на баржу, дворниками, малярами или другими мелкими начальниками, кто-то уезжал, чтобы вернуться через десятки лет. Кто-то – ушёл навсегда... Но человеческое творчество оставляет следы на этой земле, в книгах и делах. В памяти. Мы обязаны вспоминать и – отдавать, что помним. Чтобы оставаться людьми и – гражданами. В новом веке... Может он, век, будет счастливее, а люди в нём – умнее и свободнее от предрассудков и власти...

«Запад России», №1(24), 2001 г.

КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЁТСЯ...

Отрадно, когда доброе дело становится традицией. Вот и этот сборник – теперь уже второй – явился результатом ежегодного конкурса «Молодые голоса», проводимого Комитетом по молодёжной политике Администрации Калининградской области совместно с писательской организацией и её журналом «Запад России».

Стало банальной истиной, что будущее – в том числе и литературы – за новым поколением, за молодыми и более свободными, перед которыми множество дорог и право выбора. Это так, прописная истина не становится менее истинной, хотя в самой банальности её и частой повторяемости таится ловушка. Особенно ловко она срабатывает в пору резких социальных потрясений, когда в эйфории обрётённой свободы вместе с оковами отбрасываются те устойчивые нормы человеческих отношений и морали, что только и способны из стада сотворить – общество. Мудрые китайцы, пустив в мир поговорку «не дай тебе Бог жить в эпоху перемен», имели в виду именно эту эйфорию разрушения всего и вся «до основанья, а затем...»

Затем идёт мучительное восстановление утраченного, в сфере духа это восстановление ещё сложнее. Тем более, когда взамен старых насаждаются новые стереотипы, способные не только нивелировать саму уникальную личность, но и подменить в этой нивелировке понятия добра и зла, спровоцировать появление ядовитых цветов соблазна и предательства... Видимо, многие уже и не замечают, сколько яда таится в той рекламе фанты (или спрайта?), где вся аудитория восторженных студентов в ответ на угрозу исключения встаёт и хором предаёт уже и так признавшегося в грехе «непреодолимой любви» к напитку: «Это он!»... Богатые, конечно же, тоже плачут, но трагедия повседневного выживания от этого не становится меньше, разве что рождается бездеятельно-завистливое успокоение, да полное равнодушие к страданию ближнего, рядом, не на экране... Газетная же вульгарность проникает в кровь

и язык. «Гармония совершенства», «галерея вкуса», «вместилище искусств», «вкус нежности» – этакое тактильное восприятие мира...

«В начале бе слово»... Душа народа - его язык, культура народа – его словесность, литература. Что бы там ни пророчили технологи, уверен, книга не исчезнет, ибо лишь книга даёт возможность остаться человеку наедине с собой, понять себя в сфере накопленного (и отобранного временем!) нравственного и эстетического опыта. Нет народа, который не гордился и не берёт бы свой язык, без него не может состояться собственная культура.

Удивительно, однако факт, что все революционные «ломщики» и «реформаторы» по наитию или по прагматизму прежде всего для «коренных изменений сознания» брались за реформу языка. Реформа русского языка в 20-е годы с упразднением «еров», «ятей» и др. не только облегчила путь к «всеобщей грамотности», но и послужила рычагом к примитивизации, усреднённости того самого сознания, закончившейся свирепым приговором толпы на смерть тысяч нестандартно мыслящих. И во многом отбросившая научную мысль и саму страну назад...

Споры в пятидесятые-шестидесятые годы – «как слышится, так и должно писаться, что облегчит доступ ко всеобщему образованию», как и возникающие ныне разговоры о новых реформах языка – с той же «благодатью» целью, опасны по своей сути, ибо несут в себе всё тот же убийственный заряд примитива, попсы, растворяющей истинную культуру (которая обретается долгим трудом) в среднеарифметическом киселе общемыслия...

Почему-то, в ретивости повального отрицания своего и устремлённости к «мировым стандартам», мы не задумываемся, отчего в России наука, несмотря на почти планомерный отток умов, несмотря даже на страшное разрушение генофонда в войнах и «классовых битвах» в течение всего уходящего века, умудряется оставаться на достойном уровне. Это тем более удивительно, что подпитывается она чаще голым энтузиазмом, как и всё по сути образование. Да, русский язык, способный вобрать в себя и растворить многие понятия и символы. Да – рождённая этим языком литература, в трагедии и сомнении личности всегда ищущая высокие нравственные ориентиры. Да – рождённая этим языком, литературой, культурой система образования, что даёт тот фундамент знаний и чувствований, на котором у личности есть все возможности мыслить широкими, даже космическими категориями.

Крылов, в творческом огне которого настолько переплавлен Лафонтен, что басни, ещё Эзопова происхождения, исполнены чисто русской семантикой и знаковостью. Грибоедов, язык которого так обогатил речь ассоциативными образами, что многие выражения его героев стали пословицами. Объёмность слова и даже космичность его у Тютчева, многослойность и музыка языка Лескова и Платонова, точность Бунинского слова - этот ряд можно продолжать до бесконечности. Да - и эксперимент, но основанный на знании и чувстве: Достоевский чуть ли не больше, нежели влиянием своих романов, гордился, что ввёл в обиход слово «затушёвывать», полностью утратившее своё французское происхождение. И, конечно же, Хлебников, который дал языку «самолёт», «лётчик» взамен «аэроплана», «пилота». И т.д. Почитайте серьёзные философские труды Владимира Соловьёва, Бердяева, Розанова, Франка или Вернадского – насколько красочен, точен и доступен их язык, не отягощённый «многозначительным» наукообразием, призванным скрыть вялость мысли...

Почему я пишу всё это в предисловии к данному сборнику действительно молодых, порою даже юных голосов? Уж во всяком случае ни в коей мере здесь не ставится задача приуменьшить значимость конкурса или работ начинающих авторов, некоторые из которых представили вполне зрелые произведения, в чём читатель сможет убедиться воочию.

Но мы не имеем права не замечать и того, что происходит с нашим языком и нашей культурой, ибо утрата духовности, сведение сознания до инстинктов, примитивизация мышления не сможет компенсировать в будущем никакая экономика. Впрочем, пора бы понять, что вне культуры, вне образования и науки никакая экономика невозможна. Это понимали русские купцы и промышленники ещё в начале века, строя школы, театры, галереи, издавая книги - они-то знали, что никакое «передовое» производство не мыслимо при голодном и неграмотном работнике. Что ни язык, ни духовность этого народа никогда не смирится с участью сырьевого придатка к цивилизации. Тогда, ныне и присно.

В сегодняшнем тотальном наступлении квазикультуры, культа силы и духовного нигилизма бесполезно обвинять кого-то со стороны или извне: в разрушении виноваты мы сами, коли не в состоянии обрести ни передать гордость за то, что накоплено в собственной культуре, коли допускаем подмену в нравственных цен-

ностях, отдавая приоритет золотому тельцу, поощряем ленность мысли и чувства, питая дух чужими полуфабрикатами, годными для рабов ещё древнего Рима: «хлеба и зрелищ». И забывая, что тот Рим, как и другие, потому и рухнул...

Увы, всё разрушение начинается тоже с языка, со «слова лживого и лукавого». Слова временщика, всегда обращённого к инстинкту и желудку. Безграмотного, и потому активного в своей борьбе со знанием, всегда обращённым в будущее. Но и для того, чтобы отрицать что-то, нужно прежде всего - знать. И знать много больше того, что отрицаешь. Художником великим становится только тот, кто сумел усвоить курс Академии, и пошёл дальше, отринув её, но не зачеркнув. Ибо колесо уже придумано и его «модернизация» бессмысленна. Нужно открывать другие миры, пользуясь уже открытым.

Эти мысли невольно приходят при прочтении многих работ, присланных на конкурс. С одной стороны, не может не радовать количество участников, почти вдвое увеличившихся по сравнению с прошлым годом. Их более двухсот – это говорит о неистребимом творческом потенциале молодости. И вовсе не важно, станет ли кто-то из них профессионалом словесности: сама тяга к прекрасному, огонёк созидания не может не проявиться добром в дальнейшем отношении к жизни.

Тревожит другое. Молодости свойственно желание выплеснуть свои первые чувства; первые разочарования несут с собою категорийные выводы невозможности пережить утрату иллюзий и любимых – так случается в каждом поколении. И чувства эти, уверен, всегда чисты, искренни, яркие и... индивидуальны? – как единственные в своём роде время, обстоятельства, характер открывающихся молодой душе восторгов или обид. Столько красок вокруг, столько нового и ещё непознанного, столько оттенков юного чувствования!..

Казалось бы так. Ибо поэзия – образ мира, «в слове явленный». Однако, как много среди присланных стихотворных сочинений шаблона, поверхностной риторики, как невыразительны и стёрты слова... И дело вовсе не в умении найти нужную рифму или новую краску, оттеняющую состояние. Дело в том, что обнаруживается за этой бедностью всё более ужасающая малограмотность, всё больший отрыв от живительного источника чувства и слова – литературы, ныне подменяемой газетой, песенным примитивом

или «дикторским текстом». Как будто в природе не существовало ни Лермонтова, ни Фета, ни Блока, ни Ахматовой, ни Рубцова - беру имена наобум из того сонма русской поэзии, что накопили для нас книжные полки. А есть ведь ещё и мировая литература в блестящих переводах... Поневоле вспоминается разговор с вполне уважаемыми американцами, которым ничего не говорили имена Мелвилла и Уитмена, Томаса Вульфа и даже Фолкнера... Зато своим шоу-ширпотребом наводнили мир, но охотно импортируют умы.

И этот «маскультурный» примитив вовсе не так безопасен, как это может представляться. Ещё на предыдущем конкурсе мне пришлось отметить, как много в представленных рассказах места занимает элементарная калька с сусальных сюжетов и сцен сериалов, боевиков и всякого рода «ужастиков». Работы молодых авторов изобилуют иностранными «шикарными» именами героев, да и сами авторы, будто стыдясь своих собственных родителей, придумывают себе «благозвучные» импортные псевдонимы... Без малейшего чувства юмора или сарказма. В итоге среди наполненной событиями, настоящими трагедиями и сложными человеческими судьбами жизни, на фоне исторических сломов и пожаров физических и нравственных, истории противоречивой и открытой для познания, мы получаем зеркальные невнятные отражения чужих страстей, кукольных характеров и плоскомыслия. С невнятным языком героев, стремящихся освоить лексику Элочки...

И это при том необозримом богатстве, что оставила нам в наследство родная литература! Не хочется напоминать избитых истин о влиянии Достоевского, Толстого или Чехова, которое отмечали многие зарубежные классики XX века, но даже антиутопия Хаксли, Брэдбери или Оруэла вышла из романа Замятина. Однако, если ставил «Идиота» Куросава, то всё действие, как и герои, происходило на его родной почве, а Фолкнеру не приходило в голову давать русские имена своим персонажам, несмотря на всю любовь к русской литературе...

Наверное, умение осознать и осмыслить тот мир, в котором живёшь, ощутить ток крови, который течет в тебе из артерий твоих предков - есть не только залог полноценного существования на земле, но и один из факторов, определяющих своеобразие художника. Ибо краска на кончике его кисти пульсирует от импульсов жизни рядом, пусть на полотне возникают самые фантастические

пейзажи и портреты – они станут явлением культуры лишь через горнило собственной боли и сострадания.

Именно с таким критерием подходило жюри к работам авторов конкурса «Молодые голоса». Внимательный читатель сможет отметить, что имён в сборнике стало больше, что и возрастной срез оказался более широк: нам хотелось поддержать и ту первую искру, которая ещё только мелькнула под юным пером. В то же время поэтические подборки, например, Виктории Кунцевич или Ольги Арофикиной говорят о сложившихся молодых художниках, обретающих свой голос, ищущих свои краски. Нельзя не отметить значительности прозы, представленной в работах нынешних конкурсантов. Это прежде всего главы повести Сергея Миронова, работающего со словом вполне профессионально, его письмо пастельно и психологично, его умение передать настроение, тонко отобразить пейзаж или интерьер и через них – внутренний мир героев, обещают многое в будущем. Не меньшего интереса и разговора заслуживают работы Е. Ткачёвой и А. Попова.

Но самым большим открытием конкурса и, если угодно, откровением, стали литературно-критические эссе, статьи, которые внушают надежду, что процесс осмысления культуры, серьёзного к ней отношения и понимания значимости не останавливается, несмотря на (или вопреки) прессу примитива и нигилизма. Хочется надеяться, что статьи Е.Волковской (Балтийск), М.Гридиной (Славск), К.Жизневской (Балтийск) не останутся незамеченными читателями сборника. Следует, видимо, отметить, что именно из Балтийска (гимназия № 7) было прислано пять интересных критических исследований – это говорит о серьёзности постановки изучения литературы и о высоком уровне преподавания, способного доверять юному мышлению, пусть порой максималистичному (что естественно для возраста) и пока скорее эмоциональному, нежели логико-объективному. Зато – поэтическое восприятие несёт в себе удивительный заряд той самой восторженности и доброты, которой сейчас так нехватает. И вне которых жизнь не в состоянии продолжиться дальше.

Хочется надеяться, что тот заряд молодости и душевной чуткости, который характеризует наших авторов, как вошедших в сборник, так и оставшихся за его пределами, будет сопутствовать им в дальнейшем.

Альберт Швейцер, великий гуманист уходящего века, очень

точно написал: «Этика заключается... в том, что я испытываю побуждение выказывать равное благоговение перед жизнью как по отношению к моей воле к жизни, так и по отношению к любой другой. В этом и состоит основной принцип нравственного. Добро – то, что служит сохранению и развитию жизни, зло есть то, что уничтожает жизнь или препятствует ей». Именно художник – в слове, звуке или в цвете – несёт тот заряд духовности и нравственности, который единственно изначально устремлён к жизни, ибо ему, художнику, дан Дар, талант, как условие пробуждения души и созидания.

С этим талантом начинают свою творческую жизнь и наши авторы. Путь далеко не лёгкий. Но – дорогу осилит идущий...

Сборник «Молодые голоса», 2000 г.

БЕСПАМЯТСТВО СЕЕТ РАБСТВО

*Весеннее утро.
Над каждым холмом безымянным
Прозрачная дымка.*

Басё, XVII в.

Есть в календаре даты, которые отмечают молчанием. 22 июня 1941 года.

За этим молчанием, за этой тишиной – визг авиабомб и руины целых городов, под которыми прервано дыхание матери и захлебнувшегося у её груди младенца, превращены в прах и погребены сотни тысяч людей, в каждом из которых погибли свои надежда и любовь, свой Божий дар. В этом молчании – слёзы миллионов вдов, пепел крематориев, безногие и слепые инвалиды с тоскливой песней в пригородных поездах, молчаливые сироты в детдомах... В той тишине – рабский труд на чужбине и полуголодная нищета в землянке рядом с печной трубой на пепелище отчего дома, и на коровах пашущие землю женщины, и миллионы (!) фотографий на стенах и в альбомах – портретов мужчин, так и оставшихся навечно молодыми, так и не передавших семени своего таланта и мужества жёнам и невестам... И нет в стране семьи без утрат в той войне, нет дома, в котором не проснулась бы тоска о дальней земле, сомкнувшейся над родным телом.

Война. Для мира – 2-я Мировая. Для нас – Великая Отечественная.

*Я – Гойя!
Глазницы воронок
Мне выклевал ворон,
Слетая на поле нагое.
Я – горе...*

.....

*Я – горло
Повешенной бабы,
Чьё тело, как колокол,
было над площадью голой...*

А. Вознесенский

Тому терпению и той терпимости, с которыми вынесли люди напасть и с которыми вышли из мрака и огня, сейчас можно удивляться и должно поклониться мужеству и жертвенности народной, явленным в Отечественной войне. Все попытки принизить или предать забвению эту явленность духовного подвига ведут лишь к новым напластованиям лжи и подмены. А все трагедии народа и нации начинаются с манипуляции их историей, нравственными ценностями – их сознанием, приводя к власти тиранов и негодяев...

Когда-то должно же прийти к человеку – к людям, к человечеству! – понимание, что разум нам дан вовсе не для того, чтобы уничтожать себе подобных, чтобы всё более совершенствовать оружие самоуничтожения. Ибо что такое война, как не разрушение не только физическое, но и нравственное, но и духовное. Никогда, во всей обозримой истории общества, война не несла разрешения проблем. Скорее – создавала новые, уже внутри самих воюющих сторон, независимо – победителей или побеждённых... Вирус вражды, прививаемый войной, нельзя излечить мстью, ибо мсть порождает ненависть и безысходность, на клавишах которой легко играет любой фюрер. А пулемёт, как томагавк, закопанный в землю, но не переплавленный, остаётся оружием и призраком самого скорого избавления.

Безоглядный культ насилия и власти денег, допущенный и хлынувший с экранов и книжных страниц под протитутуируемой прокламацией «демократии» и «либерализма» (как полного отказа от ответственности!), рекламная мишура соблазнов при отсутствии достойного заработка нормальным трудом - неминуемо приводят к размыванию стержневых нравственных ценностей и ориентиров. И вот уже война, освящённая защитой родного очага, какой была Отечественная, её подвиг и жертвенность, осознанные даже поверженным противником себе в назидание, в идеологемах неофитов «свободы и демократии» приравниваются к локальным конфликтам, которые перемалывают на своих жерновах тела

и души сотен тысяч собственных граждан... Из Афгана, а теперь Чечни вырастает поколение, для которого насилие становится нормой, а человеческая жизнь обесценивается до рыночной шкалы. И нас уже не очень возмущают бездумно-жестокие и даже нацистские надписи и знаки на заборах, мы попривыкли к хронике криминала и убийств, мы равнодушны к судьбе собственного языка, а обыкновенный цинизм оправдывается «прагматизмом» и «умением жить». Что может быть циничнее разрушения до основания городов и селений внутри собственной страны в так и не объявленной войне... Что может быть подлее разыгранной карты ксенофобии внутри многонационального государства... И делается это, конеч--но же, от имени народа. Нас с вами.

Мы плохо усваиваем уроки истории: в своё время «народным» героем объявлялся и маршал Тухачевский за то, что утопил в крови тысячи матросов Кронштадта и тамбовских крестьян. К чему тот «героизм» привёл и самого Тухачевского и страну известно: умело ослеплённый страхом и ненавистью народ требовал смерти «врагам», благословляя собственную дорогу в Гулаг... Но этот народ - мы, журналисты и учителя, парикмахеры и врачи, офицеры и рыбаки, бомжи и предприниматели. Мы - и каждый в отдельности с чадами и домочадцами. И когда мы произносим фразы, снимая с себя ответственность, «а что я могу поделаться» и «народ не виноват» - слова эти от лукавого, ибо мы - каждый на своём месте! - вещаем с экрана, разговариваем с соседом, слушаем новости, открываем книги, воспитываем детей - делаем выбор. И - избираем себе поводырей. И должны отвечать за этот выбор. Отвечать прежде всего перед собственной совестью, ибо, как точно определил Фёдор Достоевский, «Совесть - есть отражение Божьего бытия в человеке». И ведь ответственность эта - перед будущим страны, будущим собственных детей, внуков - потомков. Этого «потом» может и не быть...

Десятилетие журнала «Запад России» совпало с 60-летием трагедии начала Отечественной войны. В этот День Поминовения и Скорби их приходит всё меньше - тех, кто вынес на своих плечах испытания и тяготы, кто хоронил друзей и близких и шёл к победе в уверенности, что это больше не повторится. С этой уверенностью мир впервые судил военных преступников, которые ввергли в трагедию и собственную страну, свой народ.

Провалы в памяти обязана преодолевать литература. Нельзя

забывать, что книга всегда остаётся тем единственным средоточием опыта нравственности и культуры, на котором человек может поверить собственный, с книгой можно остаться наедине, чтобы осознать себя, определить своё место и назначение – для жизни, а не смерти.

Мы публикуем в этом юбилейном номере рассказы писателей разных поколений, опалённых той войной. Лаконичное, почти репортажное письмо Александра Твардовского, заканчивающего знаменитого «Тёркина...» на ещё дымящейся земле под Тапиау (н. Гвардейск). Пронзительная горечь этюдов-записей в поминальном венке новелл Валерия Голубева. Безысходные шаги лейтенанта Фишера по улице своей больной памяти в рассказе Борхерта, творческий заряд которого во многом предопределил литературу Бёля, Ленца, Грасса с их пристальным вниманием к трагедии обманутой ложными идеалами личности. Беда самой природы, вопящей головами тонущих коней в стихах Слуцкого. Глубина психологического анализа жестокости и доброты в рассказе Олега Глушкина. Все произведения этого раздела объединяет одно – неприятие войны, как насилия над человеческой сутью, неприятие насилия и смерти, как решения задач жизни...

Мы проводили XX век, который весь оказался для человечества эпохой потрясений. Достаточно мысленно пролистать время, чтобы убедиться в этом: глобальные научные открытия и открывшиеся благодаря им глобальные же перспективы ядерного самоуничтожения, мировые и перманентные локальные войны, революции и распад империй. И столь же глобальное уплотнение для человека мирового пространства и времени до информации и виртуальной жизни в Интернете, до часового перемещения из точки А в точку Б без эмоций и связи с пейзажем, до зрительного присутствия в любой самой отдалённой точке земли и чужого дома...

В этом хаосе возможностей, обрётённых человечеством, как ни странно, всё более теряется сам человек, теряется как личность, как единственное творение, созданное природой для осознания самоё себя. Человеку становится некогда общаться даже с самим собой, он разучивается писать письма и радоваться живому общению. Сама жизнь его кажется весьма условной, становясь статистически обезличенной единицей. Когда надо – единицей в строю. Если свести нравственный итог минувшего и текущего времени к одной фразе, то конец века знаменуется эпохой фельетона, са-

мозабвенным любованием бицепсов, подглядыванием в чужие спальни да пересчетом прибыли или погоне за ней. И как итог – равнодушие, всё большая остранённость и обесценивание жизни и личности в ней. На фоне дурмана и лжи ложного же «патриотизма» политиканов, втягивающих народ во вражду, стремящихся списать собственные слабости или корысть на счет «врагов». Старая наживка, так легко улавливающая души.

И это при том, что миры человеческие, общественные, государственные, как никогда прежде, оказались взаимосвязаны, взаимозависимы. Взаимоответственны.

«Мир болен. И нет ничего удивительного в том, что только художники могут привести мир к спасению», - восклицал художник-гений.

Другой гений – Лев Толстой - обращал внимание, как легко соединяются негодяи и зло, и надо всего лишь объединиться хорошим людям (которых большинство, иначе мир давно рухнул бы в таргарары!), чтобы победило Добро. Вот это «всего лишь», наверное, и пытается подготовить культура, и литература в частности. Истинная культура – обращённая к душе человека, умеющая дать ему возможность пристально взглядеться в зеркало.

Настоящий художник во все времена в творчестве своём находился в оппозиции к власти, если власть переставала выполнять свою функцию – координатора жизненных условий общества. Не более.

Пример бывшего Советского Союза показателен: репрессии и настоящий разгром был направлен на полное подчинение творчества властителям. Что в принципе невозможно было никогда – даже заставив Сократа выпить цикуту, греческий ареопаг не смог зачеркнуть его мысли. Так и крушение партийной империи подготовили именно художники-писатели, от Платонова и Булгакова до «безыдейного» Юрия Казакова и «деревенщиков» Абрамова, Астафьева, Распутина и других – это они заставили увидеть унижительное моральное рабство и сумели пробудить чувство собственного достоинства в «маленьком» человеке. И объединить - в неприятии этого. Увы, душевная доверчивость и многолетнее табу на «закрытые» темы не выработали иммунитета на обывательскую сенсацию «чернухи», чем успешно воспользовались (и пользуются в «чёрном пиаре»!) политики, пришедшие к власти на волне демократии. Нет нужды в запретах: достаточно «отпустить» бесхребетных журна-

листов да низвести культуру до прислужницы развлечений, а человека – до потребителя зрелищ и квазимиражей «сладкой» жизни. Впрочем, это происходит теперь на мировом уровне - нивелировка сознания и самой личности у телеэкранов и за чтением комиксов с вербальными «ужасниками», на фоне которых действительные ужасы бытия кажутся удалёнными и чужими...

Калининград волею исторической судьбы будто создан для сближения культуры разных народов, взаимопроникновения великой (давайте не будем бояться и стесняться этого факта) русской культуры и культуры Европы. И вполне естественно, что духовная судьба этого небольшого региона России не может быть безразлична нашим соседям. Мы убеждены, что нас объединяет сегодня и тревога за будущее мировой культуры, которая слагается из лучшего в духовном арсенале каждого народа. Именно поэтому мы переводим и читаем Шекспира и Томаса Манна, Фолкнера и Ибсена, Достоевского и Стринберга, Мицкевича и Маркеса, Акутагаву и Камю – для творцов и мысли не существует границ времени и пространства.

Именно поэтому за десятилетие жизни «Запада России» в постоянном разделе «Литературной Ганзы» наш читатель встретился со многими современными поэтами и прозаиками стран Балтийского региона. Эту традицию мы продолжаем и в нынешнем выпуске, как и знакомство читателя с творчеством наших молодых авторов, уже уверенно и со своим голосом входящих в литературу. В заключение остаётся отметить, что за десятилетие своего существования в журнале были опубликованы произведения более семидесяти авторов, на его страницах начинали свой путь в литературу немало поэтов и прозаиков. И ныне страницы нашего журнала открыты авторам любых направлений и убеждений – лишь бы это были искусство и литература, обращённые к душе человеческой.

Обращённые к тебе – наш читатель. Да услышишь нас!..

«Запад России», № 2(25), 2001

ВСЕГДА – ДРУГОЙ!..

*И я хочу, средь царства заблуждений,
Войти с лучём в горнило вещей снов.*

Вл. Соловьёв

Драматическая труппа «Другой театр» под руководством Аллы Татариковой-Карпенко заявила о себе в Калининграде в июне 1998 года сложным и, по всему, программным спектаклем «Нездешние сны».

Симптоматично, что открытие театра в муниципальном Доме искусств совпало со столетием первого номера журнала «Мир искусства», редактируемого Сергеем Дягилевым, который объединил вокруг себя лучшие художественные силы того времени. Отрицая утилитаризм, приспособление искусства к насущным потребностям текущего дня и поверхностное морализаторство, которые уведят искусство от вечных тем и от поэзии как потребности духа, «мирискусники» объявляли искусство самоценным, самополезным и свободным. Это вовсе не означало ухода от общественной, и даже политической жизни времени, но звало к пристальному и сочувственному вниманию к индивидуальной судьбе. Важной и самоцельной предвечностью.

Итак, «Другой театр» – театр Серебряного века русской культуры – так определила для себя драматическая труппа временной духовный материал, из которого строит здание своего творчества. Эстетика сценического действия здесь имеет своими истоками стиль Модерн (не смешивать с модернизмом!) – стиль синтетический, вобравший в себя и торжественность греческих трагедий, и зловещую сумеречность средневековья с его изощренным аскетизмом, и кукольность ампира, и карнавальную разнузданность барокко. Все это сплавлено, скручено, связано в единый сгусток, в котором выявляются и поверяются, осознаются вневременные, вечные человеческие чувства, находящие свои выражения в противоречивых коллизиях современности.

Задача не из простых, но зато очень, до предела театральная...

В этом глубинный посыл труппы – создание истинного театрального действия, завораживающего, пронизанного страстью, увлекающего красотой. Отсюда и частое, намеренное создание впечатления морока, наваждения, предрасположенности судьбы и противоборства ей, фантазмагии и случайности, даже в прозаических жизнепроявлениях.

Серебряный век – не только время, но и отношение художника к этому времени, которое может выстраиваться по-разному, но всегда осознается как целенаправленное, волевое построение образа мира и современности в художественном творчестве.

И это воссоздание проходило не только в произведениях художника, но и в его жизненных устремлениях, в выборе и устройстве самых прозаических жизненных коллизий, соответственно творческим задачам, убеждениям, сомнениям... Сразу вспоминаются «демонические» маски Брюсова, аргонтизм Белого, поза воина-конкистадора Гумилева и «довременность» Хлебникова, обостренная бунтарством Маяковского, и пр. «Жизнестроение», в котором сама жизнь и отношения становились не менее важны, чем искусство, в котором переплетались и ломались судьбы, возникали дружбы и ненависти... чтобы позжеперейти в произведение; забыть, отбросить, как уже отработанное, и вновь пускаться в рискованные эксперименты с жизнью собственной и чужой... И открывать искусство пророческое.

«Блаженные»... «блзники»... «соблазнитель» – как близки по смыслу эти слова.

«Другой театр» имеет целью воссоздать сам дух этого времени, отыскивая, впрочем, созвучие чувствам сегодняшним, но и приправленным долей иронии – достаточной для человека, не самолюбленно заглядывающего в зеркало. Театр сам стремится стать зеркалом для зала, а уж каким – дело индивидуального восприятия...

Несмотря на яркость красок, колоритность костюмов, причудливость пластики, это театр текстовой доминанты. Здесь слову поклоняются, претворяя его в зрелище, мысль одевают сценической плотью. Здесь так важен Актер! При жёстком режиссерском диктате Актеру дается широкий диапазон самораскрытия через роль. В труппе принципиально нет «прим» и «вто-

рого» состава. Драматургический материал берётся в расчете на конкретных артистов с учётом их индивидуальностей и пластических возможностей.

Всякий раз режиссер, при полнейшем аскетизме в оформлении сцены, наполняет пространство таким множеством героев-масок, переодеваний, париков, одежд и разнохарактерных лиц, что зритель невольно кажется сцена сверхнаселенной, что актеров в труппе не семеро, а много больше. Страсть и разочарование, и предательство, присущие человеку в любой социальной формации. И – надежда на любовь, и упование на творчество, ради которого сама любовь приносится в жертву... Спектакли создают ту ауру творчества и растворения себя в страсти и красоте, по которой тоскует душа, которую взыскует человек в самые тяжелые свои времена. Театр вовлекает зрителя в желание узнать и познать, к самостоятельному осмыслению законов духовного существования. Познания – себя.

Спектакли Аллы Татариковой-Карпенко пронизаны символами, как вещными, так и словотворческими. Через авторов Серебряного века, через блоковский «Балаганчик» мы невольно возвращаемся к символике Метерлинка, к мистике Гофмана, к романтикам, к Достоевскому и Пушкину.

ж-л «Балтик-бизнес», 2004 г.

ТАК МОЖЕТ ЛИ?

«Карл Пятый, римский император, говаривал, что испанским языком с богом, французским – с друзьями, немецким – с неприятелем, итальянским – с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языков.»

Удивительно, однако, когда я спросил в университетском дворе нескольких молодых людей – а потом, на улице, и постарше, – чьи это слова, мне никто(!) не ответил правильно... Называли кого угодно – Тургенева, Гоголя, разумеется, Александра Сергеевича (не читали, но усвоили, что «Пушкин – наше всё»), даже президента вспомнили (предыдущего). Горько, больно. И даже страшно: оскопление языка и памяти – прямой путь к дебилизации, варварству и вандализму человека, которому ничего не интересно, кроме собственного желудка, и ничего не дорого, исключая потребу и удовольствия. «Хлеба и зрелищ» – так прикончил себя Рим...

Три составляющие организуют народ в нацию: Слово, Память и Дело... Все они суть взаимосвязаны, и от словарного запаса, накопленного, собранного, выпестованного и сохранённого гениями культуры зависит не только духовное здоровье человечества, но и само его существование. И когда самые верхние командиры, ничтоже сумняшеся, произносят в эфире наказ «Скорректировать в сторону решения», остаётся лишь развести руками и удивиться диплому Ленинградского университета (потому что не Ст. Петербургского?). Это понятно, что с несколькими словами можно на Руси сдвинуть гору: «Возьми эту фигню, подставь ту фиговину да подсунь под, так-её-растак, под такую-то фигуётину, чтобы сдвинуть на фиг!» и т.д. Куда и зачем, и что получится в итоге – это уже

«начальству виднее»... Только вот ни построить, ни проложить, ни полететь с этим «инструментом» никак, разве что – «на фиг». И мы взрываемся, падаем, «не справляемся с управлением», задыхаемся, воображая себя «венцом природы», которую насилуем безграмотно и безоглядно. «До основанья, а затем...». И подчиняемся невеждам, хитрецам и мздоимцам, справедливо рассудившим, что малограмотными рабами управлять легче. Только надолго ли? А в Японии почти девяносто процентов населения получают высшее образование. И из трагедии там выходят достойно, не мародёрствуя и без ненависти к соседу...

Слова, с которых начинается статья, написал великий Михайло Ломоносов, которому в этом году исполняется 300 лет. Удивительна «фигура умолчания» и забывчивость, хотя именно оттуда, с архангельского ходака по знанию, и начинается то слово, те культура и наука, которыми должны бы гордиться и – осваивать.

Первый энциклопедист, сам преодолевший много беды и рогаток на пути к знанию, к свободе разума и фантазии, по сути создавший литературный язык, способный разбудить мысль, неизменно пёлся о просвещении и добился-таки открытия первого университета, в который принимались не по сословию, но – по способностям «пользу отечеству нести». Пушкин писал: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстию сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минеролог, художник и стихотворец, он всё испытал и всё проник... Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

Вовсе не случайно читатель найдёт в этом журнале доминанту публицистики, авторских равнодушных размышлений о жизни, вере, литературе, обществе наконец. Мы намеренно публикуем столь объёмное письмо Михайло Васильевича Ломоносова к графу Шувалову, в котором отчетливо проступают все грани как литературного таланта автора, так и его мужество и тревога за судьбу народа, страны, земли отчей. Показателен и сам респондент, которому обращено письмо. Сановник, наследник высшей знати и крови, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, покровительствовал гению, отлично понимая его значение для России. Он добился указа о выделении Ломоносову земли и крестьян для

устроения мозаичной фабрики, где были и лаборатории ученого. Другой Шувалов, посол во Франции, писал в парижской газете: «Ломоносов – гений творческий, он отец нашей поэзии; он первый пытался вступить на путь, который до него никто не открывал, имел смелость слагать рифмы на языке, который, казалось, весьма неблагоприятный материал для стихотворства... Он открыл нам красоты и богатства нашего языка, дал нам почувствовать его гармонию, обнаружил его прелесть и устранил его грубость...».

Этим языком Ломоносов пишет научные трактаты, письма, докладные и деловые записка. И читаются они, как добротная интересная проза. Но это проза всегда равнодушного гражданина к будущности своей земли и своего народа. «Патриотами слывут не те, кто истину глаголет, а кто впустую языком шелушит и в доносительстве успешны...» Узнаваемо, не правда ли?.. Прошло двести пятьдесят лет, как писал Ломоносов письмо графу Ивану Шувалову, но избыты ли те проблемы, коими он волнуем? – за ответом к внимательному читателю, для которого литература не только (и – не столько) развлечение-отвлечение, но – мысль и любовь к земле. Гордость деянием предков, а не гордыня мыльных пузырей, лукавствующих «своей пользы для».

Держайте, ныне ободрены
Реченьем нашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Ньютон
Российская земля рождать...

Так может ли? Или все Циолковские, Королёвы и прочие Соловьёвы с Бердяевыми готовы уехать, чтобы обрести Слово и Память и Красоту истинные, утрачиваемые в отчей земле нерадивыми наследниками...

Из журнала «Параллели», № 1 (9), 2011 г.

ТАК ТВОРЧЕСТВО ИЛИ РАБСТВО?..

Недавно в телевизионной программе «Позиция» по инициативе редакции ж-ла «Параллели» в рамках проекта «Балтославия» состоялась дискуссия «Интернет или книга». В ней участвовали филологи, библиотекари, учителя-словесники, студенты, писатели, журналисты. Разумеется, выбор «или-или» не совсем корректен: глупо отрицать наличие и растущую значимость одного, и безрассудно (если - не преступно) хоронить другое.

Но... В ходе разговора проявилась опасная тенденция, вот уже четверть века всё более, что называется «тихой сапой», обволакивающая наше общество. Имя этой тенденции – примитивизация слова, а то и подмена понятий и смыслов. «Стань монстром общеня» («Монстр /фр./» - чудовище, человек с врождёнными недостатками, урод – Д. Ушаков. БТС совр. рус. яз.). «Увидел «Кальве» и вдохновение (как просто!) охватило меня!». А то ещё чище: «Новый друг лучше старых двух». Примеров подобных «слоганов», мусорящих эфир и уши, мозолящих глаза со стен несть числа. Питающих жажду обладания, зависть и недоверие, страх и агрессию. И в итоге – полную зависимость от власти и обстоятельств, ею выстраиваемых. Несвободу, духовную - прежде всего.

Один умный политик в прошлом веке очень точно отметил: «Сначала мы строим стены, а потом стены строят нас». Достаточно оглянуться на городские «новоделы» – на «консервные банки» многочисленных «супер(!)-маркетов», на плоские стены безликих офисов, вытесняющих парки и окружающих храмы, чтобы убедиться в правоте горькой сентенции. Примитивизация, усреднённость языка и речи неминуемо ведёт к примитиву мысли – как не вспомнить ильфо-петровскую Эллочку-людоедочку! А ведь родной язык – это суть и душа народа, вне Слова нет нации, есть – толпа, сброд, не умеющий уважать ни себя, ни других. И нет нужды говорить, что разрушение языка ведёт к подмене нравственных понятий, к вандализму.

Как-то мне довелось говорить с чиновником-политиком немалого регионального ранга. Разговор зашёл, в числе прочего, о книгах, о чтении, об образовании. «Нет, нет, – я читаю только духовное», – сказал он в ответ на мой вопрос. Увы, за определением не оказывалось ничего, кроме шаблонных догм и слов о необходимости «патриотизма и веры в бога». Как определил поэт подобных деятелей – «с крестом на груди комсомольской»... Они не ходят в театр, но рассуждают о его «рентабельности», не слушают Баха или Шнитке, но находят немалую валюту для заезжей поп-звезды. Они не читают серьёзных книг, но зато знают, как и о чём писатель должен писать. Удивляться не приходится: полуграмотность и нежелание учиться характерно для нашего чиновничества испокон, читайте Михаила Евграфовича, господа. Мы ведь не китайцы, чтобы экзаменовать их. Кресло их уже подтверждает окончательность мнения. Зато с пафосом говорят о необходимости и поддержке «среднего класса», секвестрируя науку, образование, медицину. Культуру. «Хлеба и зрелищ» и беличье колесо выживания – вот идеал усреднённости населения для любой власти временщиков. Тот ажиотаж потребительства и гламура, что, будто снег на голову, свалился на страну и старательно внедряется всеми средствами пропаганды, подменяет сам смысл существования человека. Ибо разум дан ему для познания – прежде всего себя и цели своей явленности в мироздании.

Оскар Уайльд увидел в Христе прежде всего романтического художника, который «первым сказал, нам, людям, что мы должны жить «подобно цветам». Вот здесь-то выходит на первый план то самое «В начале было Слово/... И Слово было Бог»: поэт увидел в словах Иисуса о полевых лилиях ту Красоту, что дарит природа, и те бескорыстие и жертвенность, с которыми эта Красота дарится. Впрочем, мы знаем и «многая лукавство» (выражение протопопа Аввакума), которым обращаются со словом «толкователи», подменяя изначальный смысл его. Самым глубоким осмыслением этого явления фарисейства (то бишь – лицемерия, ханжества) в мировой литературе стала сцена встречи Великого Инквизитора с Христом. Узурпировать, а ещё современнее – «приватизировать» завещанные «лучи Света, Просвещения и Силы» вне Сострадания и Любви – и есть подмена Слова и Истины в угоду правде сиюминутной: «Да, вы сиры и убоги, но дадим вам хлеба и зрелищ, и стабильность в обмен на свободу и покорность»...

И вот филистёрство и фарисейство, с которыми боролся Иисус, вновь отвоёвывает нынче свои позиции «своей косностью и невосприимчивостью к новым идеям... своей слепой приверженностью ко всему общепринятому, своим преклонением перед дешёвым успехом, своей поглощённостью одной лишь приземлённой, материальной стороной жизни...». («De Profundis». О. Уайльд).

Христос, как и все поэты, учил искать друзей, а не врагов. И – красоту, ибо «не хлебом единым». И это очень важно понимать именно теперь, когда так тонка грань самого человеческого существования, отягощённого этой жаждой потребления и непредсказуемыми последствиями противостояния индивида индивидуализму. И только культура и знание способны найти выход из кризиса духовного, отрицание которого и порождает кризис экономический. Как важно понимать ещё, что культура и свободное слово, которых опасались властители во все времена – подразумевает ещё и ответственность. За будущее и перед ним..

Спросите у бывшего школьника (да и у студента), особенно у того, чья школа на селе закрыта, и он ездит (или – уже не ездит) за полусотню вёрст в «укрупнённую»: кто такой О. Уайльд... Впрочем, он не ответит и на вопрос, кто такой Андрей Платонов или Паустовский, и никогда не откроет Достоевского, Гоголя и Щедрина. Тем более, что это чтение нынче опасно – переставь век и всё узнаваемо, разве что ещё более усугублено и опошлено...

Может ли быть будущее вне школы и гуманитарного фундамента, где ребёнок учится (а не разучивается) мыслить, через книгу и чтение постигая нравственный и духовный опыт человечества. Может ли в XXI веке осуществляться прогресс – вне фундаментальной науки, которая развивается мыслью и фантазией, основанных прежде всего на культуре?.. Возможна ли успешная экономика, основанная на примитивном ограблении земли и природы?

Риторические вопросы, но без ответа на них погибали цивилизации.

Остаётся лишь надежда на силу самой земли и на молодую поросль, ею рождаемую.

«Параллели», № 7, 2009 г.

ДОСТОИНСТВО «ВТОРОЙ ДРЕВНЕЙШЕЙ»

Мы проводили XX век, который весь оказался для человечества эпохой потрясений. Достаточно мысленно пролистать время, чтобы убедиться в этом: глобальные научные достижения и открывшиеся, благодаря им, глобальные же перспективы ядерного самоуничтожения, мировые и перманентные локальные войны, революции и распад империй. И столь же всеобщее для человека уплотнение мирового пространства и времени до информации и виртуальной жизни в Интернете, до часового перемещения из точки А в точку Б без эмоций и связи с пейзажем, до зрительного присутствия в любой самой отдаленной точке земли и чужого дома...

В этом хаосе возможностей, обретенных человечеством, как ни странно, все более теряется сам человек - как личность, как единственное творение, созданное природой для осознания самой себя.

Человеку становится некогда общаться с самим собой, он научился писать письма и радоваться живому общению, радоваться Слову, видеть глаза собеседника. Ему достаточно разговора по телефону. Если свести нравственный итог минувшего времени к одной фразе, то конец века (как и начало нового) знаменуется эпохой фельетона, самозабвенным любованием бицепсов, подглядыванием в чужие спальни и пересчётом прибыли или погоней за ней. Потребительство – любой ценой, за границей которого, пора бы это нам осознать, откровенное самоедство. И как итог – равнодушные, всё большая остращённость и обесценивание жизни. Нищета порождает зависть и кровь. Духовное нищенство – равнодушие, жестокость, и опять – зависть, ведущую к еще большей крови...

В своё время, ещё в 60-70-е годы, Римский клуб европейских интеллектуалов с тревогой говорил о цивилизации потребления и опасности сбрасывания со счетов духовного развития человека. Мы вызвали такое развитие скоростей движения, справиться с которыми порою уже не в состоянии. И единственное, что может этому противостоять – духовность человека, его культура и интеллект.

В своё время Лев Толстой обращал внимание, как легко воссоединяются негодяи и зло, и надо всего лишь(!) объединиться хорошим, мыслящим и умеющим сострадать, людям, чтобы победило добро. Культура, и литература в частности, разумеется, не решают проблем, они лишь ставят вопросы. Как и не являются воспитателем в прямом смысле слова. Но вот это «всего лишь», наверное и пытаются делать культура. Ощутить тревогу, ощутить чужую боль, как свою, понять свою личностную значимость и, соответственно, свою ответственность за всё, что мы творим в природе и – в себе, в себе!..

Нас здесь в этой части Европы, мне кажется, объединяет не только общее жизненное пространство – наша Балтика, которая тоже неминуемо влияет и на творчество, и на способ видения мира, – объединяет и тревога за этот мир, в котором жизнь продолжают наши дети. Думаю, что нас объединяет и стремление, больше того – необходимость – узнавания друг друга. Только знание традиций, истории, надежд другого народа может привести к взаимоуважению и доверию, вне которых невозможно спокойное соседство. Хочется верить, что нашим друзьям-соседям так же интересна и наша жизнь и духовность, как и нам – их.

Разумеется, каждому народу присущи свои традиции, своя ментальность, обретенная тысячелетним укладом жизни и ходом истории, своя культура. Но кроме принадлежности к своей земле, народу, своим истории и культуре, все мы – население одной планеты. И в какой бы части нашей планеты не произошло несчастье – как, впрочем, и доброе деяние – это в той или иной степени окажет влияние на дальнейшее существование *homo sapiens*. Вот это ощущение себя ещё и как части всего рода человеческого должно быть осознано и понято с самого раннего детства. Поэт Олжас Сулейменов, ныне посол своего государства в Юнеско, в своё время обозначил эту общность – «планетарным сознанием».

Узнать и понять – вне границ географических, национальных, политических – такие задачи поставили мы перед собой, открывая наш журнал. Найти и обозначить в культуре собственной и наших соседей по планете те родники добра и света, что определяют будущность. Мы убеждены – вне фундаментальной духовной культуры, как и науки, вне умения *созидать и дарить* не может продолжиться жизнь на земле.

Когда-то в начале перестройки люди СМИ в эйфории обре-

тённой свободы (от ответственности?) провозгласили себя «четвёртой властью». С этим можно бы согласиться, если бы вместе с властью над душами и умами (а это, несомненно присутствует) пишущий принимал бы на себя и ответственность за произнесённое (написанное) Слово. Ибо Слово способно не только созидать, но и – разрушать. К сожалению, в журналистике это не редкость. Ибо любая ложь – духовное растление и разрушение, более необратимое, нежели физическое.

Уверен, у каждого всерьез работающего журналиста однажды всплывает в душе сомнение: нужно ли кому-то мое писание, услышит ли хоть кто-то мою боль и тревогу, которые могут скрываться за простой информацией, за незатейливым рассказом. Воспримет ли чужие тяготы, войдёт ли в положение человека, в один день теряющего не только привычный уклад жизни, но и дом, нажитый трудом, друзей, саму землю, на которой родился... А впереди не только неизвестность, но еще и зачастую равнодушие чиновников, настороженность, а то и неприятие новых соседей. Нельзя забывать, что все мы – мигранты в этой жизни. А вот какой след оставим мы своим появлением и уходом – от него зависит дальнейший путь наших детей...

И возможно вовремя сказанное Слово журналиста, писателя или философа, трансформирующее частную трагедию в проблему всего общества, сделает кого-то счастливее, а часто – просто даст импульс жизни дальнейшей. В этом, убеждён, прежде всего задача профессии.

Но ведь именно доброе – всегда вечное...

К книге «И бьёт в душе набат», Калининград, 2003 г.

И ВСТРЕЧИ ЭТИ НЕСЛУЧАЙНЫ...

Признаться, каждый раз, подводя итоги конкурса «Молодые голоса» и приступая к составлению сборника, теперь уже четвёртого, ловишь себя на мысли: наберётся ли достаточное количество текстов, к уровню которых можно будет подходить всерьёз, не делая скидку на возраст, географию проживания, степень образованности и т.д. Ибо нет-нет, да и услышишь бормотанье записных литературных снобов и скептиков - в том числе и от чиновников, которым и вообще-то книги недосуг открывать, а всё общение с культурой зиждется на телесериалах да концертах именитых гастролёров, – мол, литературы и столичной достаточно, а в нашей провинции её, литературы, нет и быть не может... И надо ли тратить на эти конкурсы и сборники, которые заведомо потеряются среди пёстрых книжных завалов.

К чести комитета по делам молодежи области, в сотрудничестве с которыми наша писательская организация уже четвертый год проводит этот молодежный литературный конкурс, здесь так не думают. И понимают, что даже малую искорку таланта необходимо поддержать, ибо в будущем она способна согреть многих. И пусть не многие из тех начинающих литераторов, кого душевный порыв или яркое событие заставили взяться за перо (теперь уже, скорее, сесть за компьютер!), станут профессионалами, но ценно уже то, что они учатся вслушиваться в родное слово, понимают значимость слова и умения выразить им свою мысль. И будьте уверены: читатель у наших «Молодых голосов» находится – такой же ищущий и думающий, дерзновенный и умеющий делать для себя выводы из тех жизненных коллизий, в которых мы все пребываем и боль преодоления которых ощущается в строчках стихов и рассказов.

Где еще, скажите мне, как не в подобных сборниках и журналах может проявиться и осознать себя (а это так важно – увидеть, ощутить своё творчество уже как бы со стороны) молодой автор

в наше пропитанное «коммерциализацией» время? Кем нынче, кроме думающих о будущем собственной культуры энтузиастов, могут быть осуществимы дебюты начинающих авторов, вне которых сама мысль творческая окаменела и не прорастала – в деяние и нравственность. В добро и понимание, сочувствие и жертвенность? Вне которых никакое общество выжить не в состоянии...

И потому радуется появление новых литературных голосов. Радуется и дерзновение уже знакомых по прежним публикациям авторов, творчество которых обрело новые краски, стало уверенней и требовательнее к себе.

В этом сборнике внимательный читатель вновь встретится со словом Ольги Арофикиной, поэтический сборник которой в прошлом году был отмечен доброжелательной критикой. Видимо рамки стиха ей показались тесноватыми: здесь представлена её первая повесть «Даниэл», в которой фантастичность сюжета и героя имеют вполне узнаваемые черты сложных человеческих отношений, чувств и конфликтов психологических, если угодно – вечных. К рассказам обратилась и Наталья Алексеева. У неё «Русалка», как и в небольших новеллах Ксении Бирюковой «Судьба» и «Позм» сказочность или фантазмагория оборачиваются явной метафорой, свободно экстраполирующейся на то состояние неуверенности и поиск любви, в которых так часто оказывается человек, всегда по сути одинокий – в себе. Ощутимо строже к себе стала писать Тамара Каданова – тем лиричней и глубже становится её стих:

Молчи, послушай... Тишина...

Там, в проводах, гуляет ветер.

Мы не одни, я не одна,

Притихли на бескрайнем свете...

Мы иногда, увы, пропускаем момент, когда молодой литератор обретает уже заметный и твёрдый свой голос. Наверное, издателям должно быть щедрее и прозорливее, думая не только о кратковременной выгоде, но и о посевах, который может дать плоды – в будущем. Короткая и ёмкая проза Екатерины Ткачевой была заметна ещё с первых публикаций в детской газете «Радуга». Позже её рассказы публиковались в «Западе России», в сборниках «Молодых голосов», в периодике. Мир глазами нового поколения увидеть далеко непросто, но так, как делает это Екатерина, с сарказмом, несколько напускным цинизмом и глубоко запрятанной болью – не просто интересно, но необходимо видеть. Поэтому, ви-

димо, настало время и её дебютной книжки, с которой читатель встретится в этом году.

До обидного поздно появится в этом году сборник стихов Алекс Гарриды, поэта самостоятельного, думающего, философичного и удивительно глубоко лиричного. Её стихи годами рассыпались по периодике, но настало время собрать их воедино, чтобы читатель ощутил весь талант и настоящую силу слова поэзии.

Настоящим открытием нынешнего конкурса стали имена Романа Босюка и Натальи Левинской. Это вполне зрелая проза, которую необходимо читать без снисходительности и с большим вниманием.

Впрочем, нет нужды предварять рекомендациями то, что в оных вовсе не нуждается.

Радует в этот раз достаточно широкий спектр авторских интересов и разножанровости: в сборнике собраны стихи и рассказы о природе (и – об ответственности, тревоге за неё), сказки. И – критические статьи, эссе. Это сложный жанр, особенно для молодых литераторов-читателей. Хочется отметить только одно: некий консерватизм, как ни странно, юных критиков, их стремление идти по уже проторенной дорожке, порою – просто в модной теме... А хотелось бы более зрелого осмысления литературного процесса, поиска в нем своего места и своих мыслей. Разумеется, материалы о Гумилёве, Набокове или Довлатове читать интересно. И эти работы можно рассматривать, как освоение жанра, для себя прежде всего. Однако, хотелось бы увидеть и ощутить интерес и осознание того, что происходит в текущей литературе, в том числе и на местном уровне, о котором возможен (и необходим) серьёзный разговор и не менее серьёзное осмысление.

Что ж, будем надеяться, что провинциальный снобизм отрицания будет преодолен и критика еще скажет своё слово. В том числе – и о творчестве молодых.

К счастью, они этого достойны.

«Сборник «Молодые голоса», 2003 г.

О ПАТРИОТИЗМЕ И ЧЕСТОЛЮБИИ

В последние годы мне больно проходить даже по красивому скверу, что на углу улиц Карла Маркса и Космонавта Леонова. Взгляд невольно обращается к бывшему зданию издательства «Янтарный сказ». Конечно, здание по-прежнему неизменно находится на своём месте, да вот издательства, которое знали и высоко, смею уверить, ценили в России и Европе, теперь не существует. На всех международных книжных фестивалях и ярмарках книги, изданные «Янтарным сказом» были заметны отменным вкусом исполнения, высокой культурой оформления, качеством издания и разносторонностью направлений книг. От миниатюрных, помещаемых в жилетном кармане, «Мыслей об истине...», собранных Львом Толстым «на каждый день», Учения Иоанна Златоуста и «Размышлений» Марка Аврелия до огромного тома с богатым оформлением в кожаном переплёте, заказанного к 1000-летию Казани или подарочной библии с графикой Доре. Однотомные, лёгкие (спецбумага) собрания сочинений Пушкина, Есенина, Лермонтова. И что не менее важно – книги местных авторов, ибо не могут возникнуть любовь к земле и гордость своей родиной без знания истории, как и воспитания чувства поэзии, восприятия красоты и ранимости природы, сопереживания и добра...

Вспоминается в связи с этим патетичное выступление на одной конференции хозяина (или кто он там) «Вестера» и бывшего депутата о необходимости «воспитывать молодёжь в духе патриотизма» и потому необходимо «заказать книгу с патриотической направленностью самой востребованной сегодня писательнице Марининой». Разумеется, хозяину ещё и «бутиков» в «Вестере» «Книжки и книжечки», виднее, кто «патриотичнее». Ведь тот же Бунин или Паустовский, с их поэтическим восприятием отчей земли никак не патриотичны. И всех – от Пушкина и Аксакова до Астафьева или Казакова – никак нельзя соотнести к «патриотам»... тем более, что и к правящей партии они отношения не имеют...

Так вот этот «Вестер» и выкупил здание вместе с издательством «Янтарный сказ», избавившись сначала от директора, а затем, тихой сапой, от профессиональных редакторов, художников, корректоров – словом, от всех и всего, что было заметным лицом Калининграда на книжном рынке России и Европы, а также от писателей, читателей (которых «нужно воспитывать в духе») и первоклассной техники. Конечно же, Анатолий Махлов, бывший директор, не пропал: его опыт пригодился для управления крупнейшей типографией В Риге. А в здании, где были цеха, отделы издательства, печатались ведущие газеты, сейчас обитают десятки, если не сотни, фирм и фирмочек, никакого отношения к культуре не имеющих, но зато успешно их может «стричь» домовладелец. Последним и деянием стало закрытие книжного магазина, любовно выпестованным тем же «Янтарным сказом», где проводились даже презентации книг, встречи с читателями и пр. В «Книжках и книжечках» местной литературы и авторов вы не найдёте...

И у такой области, да ещё и оторванной от метрополии, нет своего настоящего издательства, ибо та масса мелких коммерческих печатней никогда не восполнят утраты профессионального издания.

А здание теперь приведено в полный рыночный порядок! - В первую очередь открыт ещё один «Вестер». Пузырится новыми дверями банк. Солидный угол занял «Английский паб» с флагами Британии и Евросоюза. А как завершающий авантюру (простите, конечно же – увертюру) аккорд – на месте книжного магазина – знай, мол, наших, и мы не лыком шиты: «Преттория Пармезан!» Два рядом злчных места, но, очевидно, с разной кухней, чтобы господам не наскучило.

Это к вопросу о патриотизме.

Им не осознать, видимо, что в последние двадцать лет дискредитировано само понятие, которое есть душевное состояние, а не флаг для карьеры и шельмования инако-думающих. Что это не преданность партии кормления или государству, которые меняются, но – любовь к матери, к отчей земле, родине-отчизне...

Хотел было процитировать классиков, что такое «патриотизм» для подобных «господ», да у меня нет денег, чтобы в суде отсылать их к Гейне и Толстому...

Недавно мне довелось почти месяц провести в латышском го-

родке Вентспилсе, в Международном доме творчества писателей и переводчиков. Удивительный город и порт, в который я возил бы мэров иных, больших и малых, «населённых пунктов», чтобы научить приобретать «лица необщее выражение».

Город цветов и светлых тротуаров с велодорожками. С массой скульптур, ухоженными парками с якорными аллеями и современными тренажёрами, которые, кстати, поставлены и в жилых кварталах – выходи, пенсионер и школьник, разминайся бесплатно. Удивительным зданием оснащённого театра, в котором проходят европейские конкурсы. И это при том, что здесь нет профессиональной труппы, но занимается театр народный. Гордость – олимпийский центр, где проходят европейские соревнования, а в обычное время – спортивные секции для юных, и тоже бесплатно. И две библиотеки (по обе стороны реки Венты), оснащению которых и каталогу книг позавидуют города-миллионники. Тем более, что там есть детские игровые комнаты, в которых родители могут оставить чад на попечение дежурного библиотекаря и заниматься в читальном зале или у компьютера. И много ещё сказочного, например для нас: при гастролях в театре, а приезжают известные коллективы Риги, Таллинна и других, мэрия доплачивает жителям часть стоимости билета – только бы большее число приобщилося к культуре...

И всё это чудо, которого нет больше во всей Латвии, за двадцать лет выборности сотворено энергией и умом мэра Лемберга, которого город любит и никогда не предаст. Хотя все последние годы, когда город из затрапезного порта превратился в игрушку, попытки Риги и управленцев оттуда сместить главу Вентспилса не прекращаются: больно лакомый кусок. «Он даже свои деньги тратит на город», услышал я сказанное наезжим чиновником с обидой даже.

А горожане не отдадут своего мэра даже на «возгонку» - в парламент, и не отдали, когда он отсиживал несколько месяцев под следствием. И это притом, что «характер-то у Лемберга не сахар», – улыбаясь, сказала мне горожанка. Последний штрих – появилось даже народное название холма – «шляпа Лемберга», а мэр устраивал выставку карикатур... на себя.

К чему я столь многословен в описании города и деяний далёкого мне человека? Знаете, меня давно мучает вопрос человеческого тщеславия и честолюбия. Как это так: человек обретает власть,

порой даже и не шуточную – в посёлке, городе, крае, государстве. Власть эта даёт ему всё, в том числе – особенно у нас, в России – сытую ухоженную жизнь, обеспечение жильём, дачами и деньгами ещё и потомков на несколько поколений. Казалось бы, есть время и возможности помыслить: а что же дальше, после ухода туда, где нет ни начальников, ни подчинённых, куда ведь не заберёшь всю эту нажитую мишуру и деньги? Где останется память о тебе – в анекдоте или легенде?..

Мы плохо даже осознаём собственный язык, и во власть-то зачастую приходим недоучками, а потом уже и учиться некогда – надо учить. А язык наш лукав и смыслом полон. Вот – тщеславие – разве не слышится здоровому уху корень – «тщета». А у честолюбия всё прозрачно – любить честь. Кстати, не обращали внимания, что даже офицеры нынче на улице не «козыряют» – не отдают честь друг другу, не говоря уж о ми... да, полиции, ГАИ и прочих. Нечего стало отдавать? Сейчас вновь становятся актуальными песни Владимира Высоцкого, и мне отрадно, что молодежь начинает к ним прислушиваться: «И слово Честь забыто...». И уж точно никто из проворовавшихся «деятелей» и чиновников не станет стреляться от позора (и слово-то забыто), просто улетят в свои виллы и оффшоры.

Так вот о честолюбии и власти. Отчего так не везёт России на честолюбивых управителей, которым виделась бы страна на порядок лучше и счастливей, благодаря их деянию? Ведь их потомкам жить в этой стране – нищей, истощённой, растащенной по углам и карманам, с хмуро-озабоченными лицами соотечественников, или – счастливой и богатой разумными детьми и улыбками? Ну не все же уедут, да и не обольщайтесь: там всё равно они останутся чужими... И когда народ, если он и в самом деле народ, а не толпа, перестанет за подачки пускать во власть тщеславцев. И сам обретёт честолюбие, способное обеспечить вечно мечтанное будущее.

Остаётся, как Николаю Васильевичу, воскликнуть: «Дай ответ... не даёт ответа!..»

Альманах «Параллели», № 1, 2012

У НАС ОДНА ПЛАНЕТА...

Мы проводили XX век, который весь оказался для человечества эпохой потрясений. Достаточно мысленно пролистать время, чтобы убедиться в этом: глобальные научные достижения и открывшиеся, благодаря им, глобальные же перспективы ядерного самоуничтожения, мировые и перманентные локальные войны, революции и распад империй. И столь же всеобщее для человека уплотнение мирового пространства и времени до информации и виртуальной жизни в Интернете, до часового перемещения из точки А в точку Б без эмоций и связи с пейзажем, до зрительно-неучастного присутствия в любой самой отдаленной точке земли и чужой спальни...

В этом хаосе возможностей, обретенных человечеством, как ни странно, все более теряется сам человек – как личность, как единственное творение, созданное природой для осознания самой себя.

Человеку становится некогда общаться с самим собой, он научился писать письма и радоваться живому общению, радоваться Слову, видеть глаза собеседника. Ему достаточно разговора по телефону и мелькание картинок на экране. Потребительство – любой ценой, за границей которого, пора бы это нам осознать, откровенное самоедство.

В своё время, ещё в 60–70-е годы, Римский клуб европейских интеллектуалов с тревогой говорил о цивилизации потребления и опасности сбрасывания со счетов духовного развития человека. Мы вызвали такое развитие скоростей движения, справиться с которыми порою уже не в состоянии. И единственное, что может этому противостоять – духовность человека, его культура и интеллект.

В своё время Лев Толстой обращал внимание, как легко воссоединяются негодяи и зло, и надо всего лишь(!) объединиться людям хорошим, мыслящим и умеющим сострадать, чтобы победило добро. Культура, и литература в частности, разумеется, не решают проблем,

они лишь ставят вопросы. Как и не являются воспитателем в прямом смысле слова. Но вот это «всего лишь», наверное и пытается делать культура. Ощутить тревогу, ощутить чужую боль, как свою, понять свою личностную значимость и, соответственно, свою ответственность за всё, что мы творим в природе и – в себе, в себе!..

Нас здесь в этой части Европы, мне кажется, объединяет не только общее жизненное пространство – наша Балтика, которая тоже неминуемо влияет и на творчество, и на способ видения мира, – объединяет и тревога за этот мир, в котором жизнь продолжают наши дети. Думаю, что нас объединяет и стремление, больше того – необходимость – узнавания друг друга. Только знание традиций, истории, надежд другого народа может привести к взаимоуважению и доверию, вне которых невозможно спокойное соседство. Хочется верить, что нашим друзьям-соседям так же интересна и наша жизнь и духовность, как и нам – их.

Разумеется, каждому народу присущи свои традиции, своя ментальность, обретенная тысячелетним укладом жизни и ходом истории, своя культура. Но кроме принадлежности к своей земле, народу, своим истории и культуре, все мы – население одной планеты. И в какой бы части нашей планеты не произошло несчастье – как, впрочем, и доброе деяние – это в той или иной степени окажет влияние на дальнейшее существование *homo sapiens*. Вот это ощущение себя ещё и как части всего рода человеческого должно быть осознано и понято с самого раннего детства. Поэт Олжас Сулейменов, ныне посол своего государства в Юнеско, в своё время обозначил эту общность – «планетарным сознанием». Творцами такого мышления и ощущения себя ещё и гражданином мира – а значит, и ответственным за этот всеобщий дом – становятся не политики, но – Учитель и Художник. Тот, кто несёт Слово – для мысли, а не успокоения её, если не уничтожения...

Узнать и понять – вне границ географических, национальных, политических – такие задачи поставили мы перед собой, открывая наш журнал. Найти и обозначить в культуре собственной и наших соседей по планете те родники добра и света, что определяют будущность. Мы убеждены – вне фундаментальной духовной культуры, как и науки, вне умения созидать и дарить не может продолжиться жизнь на земле.

ж-л «Параллели», № 1, ноябрь 2007 г.

КОСМОС И ПОЭТ

Оказывается, трудней всего писать о человеке, которого ты знаешь, который тебе близок и дорог многие годы. А если он ещё и поэт – большой поэт, который сумел словом объять и «возвысить степь, не унижая горы», влюбиться в Русь Врубеля и в Ночь-Парижанку, увидеть в чащобах истории не только вражду, но и кровное родство кипчаков и росичей, услышать перетекание Слова из одного языка в другой... Призвать всем своим поэтическим даром к той планетарности мысли и ощущения, которые, быть может, и суть единственная возможность человека и человечества выйти из самоубийственного тупика безоглядного потребительства...

*Реки вспаивают поля,
Города над рекой –
В заре,
И, как сердце, летит Земля,
Перевитая жилами рек.
Нелегко,
Но обязан найти
Все ответы на тот вопрос,
Путь земной –
Продолженье пути
До сегодняшних ближних звёзд...
Что за путь?
Это долгий тяжёлый путь,
Это жизнь,
И твоя, и чужая –
наша...*

И вот оттуда, сверху, из космоса первым её увидел наш Гагарин. В этом году, объявленном годом космонавтики, – и 60-летия полёта Юрия Гагарина – не лишне вспомнить, как прозвучали эти

строки поэмы «Земля, поклонись Человеку!». На Алма-Ату с неба планировали разноцветные листовки, народ ликовал почти как после великой победы. И звучал молодой голос поэта, а поэтическое слово собирало залы и стадионы отзывчивых слушателей. И кажется никогда позже не ощущалось такого радостного, светлого единения: в осознании обрётённой свободы от тирании, в юношеской уверенности, что уж теперь-то мы сможем все вместе построить настоящее светлое будущее.

Это и была победа – человеческого разума и древней мечты о покорённом небе и дальних звёздных мирах... И хоть стучал кулаком и топал ногами на поэтов и художников Никита Сергеевич, но ещё никого не сажали, не выселяли, не подвергали общественному остракизму, не сметали выставки бульдозером. Это придёт позже... В Москве открывались новые театры и таланты – «Современник и «Таганка», «Новый мир», «Юность» и другие журналы, включая казахстанский «Простор» и ташкентский «Звезда востока» открывали новые имена литераторов, несмотря на цензурные рогатки на экраны выходили фильмы, которые будили мысль «Я шагаю по Москве», «Чистое небо», «Летят журавли».

О чём мог мечтать мальчишка из «закрытки» на Урале, откуда лишь с 55-го года был разрешён выезд, а в 57 произошёл первый ядерный взрыв? – конечно же о свободе и просторе, о неоглядности моря и степи. «Нет Востока и Запада нет! – Есть Восход и Закат...». И когда в море апреля 61-го на рыболовецком траулере я услышал эти стихи, то принял этот поэтический простор всем сердцем. А потом, уже в редакции молодёжной газеты, услышал имя первого лауреата комсомола по литературе Олжаса Сулейменова. И открыл книгу «Доброе время восхода». Это был и мой поэт, хотя даже не мог предположить, что вскоре судьба и партийный идиотизм крепнущего чиновничества, по сути разогнавших журналистов «молодёжки» в Калининграде за противостояние разрушению древнего замка, поведёт меня за тысячи километров в газету студенческих строительных отрядов. На родину Олжаса – в Алма-Ату. Предполагаемые три месяца целины обернулись тридцатью годами, а журналистское знакомство – многолетней дружбой, продолжающейся до сих пор. Да и первой книгой тоже обязан его поддержке.

Повторюсь – это было время поэтов и Слова, и миллионной читательской аудитории. Вознесенский, Евтушенко, Рождествен-

ский, красавица Белла, песни Булата Окуджавы и Визбора. И будто на огневом аргамаче ворвавшийся в поэзию – Олжас. Слово поэта, как и его гражданская и человеческая позиция, будили достоинство в человеке и критическую мысль, освобождённую от страха.

Открывали Красоту и в душе человека и в окружающем мире, дарили Любовь и напоминали об ответственности за неё. За весь светлый мир, дарованный планете и – людям.

*Живите, люди!
Вы совершили свой первый подвиг,
Преодолели земную тягость,
Чтобы потомки это запомнили –
Преодолейте земные тяжбы!..*

И не удивительно, что позиция и жизнелюбие поэта, как и осознание личной ответственности позже привели его в политику и к созданию движения «Невада-Семипалатинск», благодаря которому был принят мораторий на испытания на ядерных полигонах. И путь в ЮНЕСКО.

*Концлагерь – это не только
труба
и дуб зелёного дыма – в небо.
Это – голая площадь,
это – трава,
которой на площади
нету...*

И выходили поэтические книги, сами названия которых оставляли взгляд и завораживали слух: «Аргамачи», «Солнечные ночи», «Ночь-парижанка», «Доброе время восхода», «Год обезьяны», «Глиняная книга». Уверен, внимательный читатель, ныне зачем-то превращающийся в писателя-самоиздатчика, открыл бы для себя целый пласт неожиданной поэтики. Но где тот читающий читатель? Как писал когда-то ревнивый критик Лев Аннинский, «...книги Олжаса Сулейменова приучили читателя к неожиданностям. От степной ярости «Аргамачов» – к утончённым урбанистическим контрастам «Ночи-парижанки», после которой можно было ждать чего угодно – страсти или ярости, глобальных сопоставлений или конкретных картин в «азиатском стиле», – только не той заторможенной задумчивости, к которой пришёл Сулейменов в книге «Год обезьяны». Перед нами темперамент настолько своевольный...». А каким же должен быть поэт в своей естествен-

ной свободе и «тронутости» «перстом провидения»». Мне порой хочется сопоставить его с так жестоко оборванной поэзией Павла Васильева: страсть и нежность, ярость и умудрённое раздумье, боль и безоглядное веселье – Любовь. Ко всему живому, к самой жизни. И это естественно: в поэте, как в большом художнике, рождённом на границе двух континентов и культур, проявились необузданная красочность Востока и рациональная утончённость Запада, ажурная готика логики Европы и страсть скачущих скифских коней в раскалённом ветре Азии, непредсказуемость жизненного театра и космизм фантастического предвидения. Евразия. Эта идея объединения пространства и духа, кажется, и до сих пор волнует моего друга.

И в 75-м году выходит «АЗиЯ». Что это? – проза? – развернутое эссе? – лингвистическое исследование? – историческое изыскание?... Бомба! Я нашел недавно в архиве библиотеки статью в журнале «Молодая гвардия» заказно-залихватски (хамски по сути) разбирающей первую часть «Соколы и гуси», посвящённой прочтению «Слова о полку Игореве». Это была «первая ласточка» вакханалии нападков и разборок «вредности» книги (и – автора, естественно), вплоть до академического собора с вынесением приговора и решения «руководящей и направляющей» об изъятии произведения из библиотек и магазинов. Достаточно привести слова академика Б. Рыбакова «в Алма-Ате вышла яростно антирусская книга», чтобы осознать последствия... О, мне были известны выводы монополистов на единственно-правильное мнение: за десяток лет до этих «оргвыводов» по книге Олжаса, мне по поводу сбора подписей и защиты Королевского замка XIII-го века секретарь обкома по идеологии стучал кулаком по столу – «Ты хочешь сохранить наследие фашизма и пруссачества!». И никакое напоминание о времени, истории, ответственности, логике, наконец, не принималось... «Грамотные слишком (!) стали!» – это, кажется и ныне можно услышать от чиновного люда.

Помню, я заехал к О.С. с кордона, на который сбежал в егеря. Он мерил шагами свой кабинет в эркере на пятом этаже, и листы комканой бумаги валялись не только в урне... «Димаш Ахметович просил написать «отречение»... не получается!». Но Кунаев любил и ценил в Олжасе именно поэта (и – шахматиста!), и сумел в Москве «спустить на тормозах», переведя проблему из по-

литической в научную. Кажется, я успокоил Галилеевым примером и выпросил десять экземпляров, позже раздав книги своим соседям-чабанам. И поэт написал-таки очень достойное письмо, в котором отстаивал своё «право на ошибку» и в основном встал на защиту «виновников и недоглядов» от редактора и директора издательства до главы Комиздата, оградив их от серьёзных последствий. Прочитайте сейчас, книга (переиздана спустя двадцать лет!) есть в интернете, вы порадуетесь поэтическому задору и смелости мысли, глубине проникновения и обширности знаний, как и фантазийности некоторых прозрений, позже продолженных в фундаментальном труде «Язык письма»... Да, никуда не деться: степь соседствовала с лесом и далеко не всегда воевали. И взаимовлияние (взаимообогащение) здесь неминуемо, в том числе и в языке. И кажется бесспорным желание билингвического прочтения памятника литературы, к которому обращался поэт. Кажется, не услышали до сих пор. Пошлая черта – ревность и зависть бездарности к таланту – вела к обвинению «патриотов» поэта в том, что он пишет на русском, изменяя «своим». Мудрый Леонид Мартынов ответил в предисловии к одной из книг: «Вообще говоря, в том факте, что писатель одной национальности пишет на другом языке нет ничего сверхъестественного... Сын молдавского господаря Антиох Кантемир стал одним из родоначальников русской поэзии. Поляк Юзеф Теодор Конрад Коженевский сделался мастером английской художественной прозы, приняв имя Джозеф Конрад. Польского же происхождения юноша Гийом Альбер Владимир Александр Аполлинарий Костровицкий прославил французскую поэзию под именем Гийома Аполлинера. Но если Конрад стал певцом экваториальных морей, а Аполлинер лишь изредка возвращался мечтами на восток Европы к прародине, то Олжас Сулейменов, казахский поэт, творящий на русском языке, целиком остаётся поэтом казахским, родным сыном этого прекрасного гордого народа, исстари сочетавшего свои надежды и чаяния с надеждами и чаяниями народа русского. Явление О.С. живо воплощает все эти связи – житейские, географические, политические, этические, эстетические...».

Да что греха таить: кочевое сознание течет и в нашей крови, сами просторы земли диктуют эту особенность характера и традиций. Евразия – это широта и доброжелательность, здесь необходимо идти навстречу с раскрытой ладонью, иначе не выжить.

Его слово, поэтика оказали значительное влияние на новые поколения литераторов. Подражать Сулейменову невозможно, как, например, и Андрею Платонову, – сразу «вылезают уши». А вот осознать возможности слова, упругость ритма, богатство семантики, ощутить страсть, сдерживаемую мудростью, знанием и любовью – дорогого стоит...

В жизни каждого очень многое – в характере, в отношениях, в знании и даже мудрости – определяет – встреченность. С другом, с женщиной, с картиной или книгой... Я открываю вновь и вновь том Олжаса Сулейменова «Язык письма», изданный в Италии в 98 году, хотя мог бы выйти на 20 лет ранее – помешало отторжение книги «Аз и Я» (билингвичность, но не дуализм). Большую книгу нельзя читать «запоем» – она призывает думать, порой спорить, принимать-не-принимать – соавторствовать, ибо настоящий читатель, познавая, становится со-думником автора. К добрым и умным книгам возвращаешься не для развлечения, но – для помощи и духовного здоровья. Для осознания себя – частью природы, планеты, космического мироустройства.

«Гуманоид сделал первый шаг к гомосапиенсу не тогда, когда поднял голову и увидел на чёрной доске африканского неба золотым мелом начертанный знак, а когда перенёс его на песок пальцем. Потом на сырой глине повторил палкой. Луна графически выразительней, чем раскалённое солнце на выгоревшем от зноя небе: луну можно созерцать, не шурясь, не уставая, подолгу. На солнце не взглянешь. Поэты малого человечества эпохи Начала уже осознавали, что мир состоит из зеркальных противоположностей – ночь-день, верх-низ, прохлада-жара. И в этой системе парностей роль доброго гения, отца всего сущего отводилось ночному светилу. Ночь – время прохлады, любви и охоты. Это в сегодняшних поэмах луна и солнце – идеальная романтическая пара, Ева и Адам. Но тогда луна – ещё добрый Авель, пасущий мириады звёзд и звёздочек, солнце же при своём появлении стирает их с выбеленных зноем небес. Оно – тиран!..». Это – из названной книги, о начале письма, о первых знаках, предшествовавших слову. И это – поэзия, побуждающая человека поднять голову и взгляд – к небу... Читать книгу сложно, необходимо вспоминать весь свой небольшой математический, лингвистический, наконец, жизненный запас, вне понятия «пользы». Ты пришёл в этот мир не потреблять, но познать. И себя – в нём. Для этого нужны поэты и книги. Гениальный

художник Сергей Калмыков воскликнул однажды: «Мир болен! И только художники могут его спасти...». А «Моцарт таится в каждом ребёнке, надо лишь разбудить его» – писал Сент-Экзюпери. И сделать это способна книга...

В этом году память будит два события, важных и незабвенных: трагедию начала Отечественной войны и восторг первого выхода в космос. И мне хочется здесь дать возможность читателю, для которого имя Олжаса скорее всего неизвестно (увы, сейчас имена Баратынского и Тютчева стали незнакомыми), да и война Отечественная-Мировая кажется далёкой, ощутить через Слово, как беда объединяет людей, как необходима память, чтобы очистить душу. И не поддаться ксенофобии, уродующей психику и общество...

«Параллели», №9 (10), 2011 г.

О КАМНЕ, О ЛИСТЕ, О ТЕНИ

Два предисловия к фотоальбомам Стаса Покровского

Что камень молчаливый рассказать сумеет? Или — песчаная взлетевшая волна? Лист придорожный, ветка над водою? Излук реки и над нею ложе аистихи, что принесла тепло земель нездешних, а тосковала по земле неброской, но приветной?..

Какая связь, о чём молчат, что шепчут? Куда уносит ветер первый крик, куда уходит стон последний? Где дверь, в которую вошёл, и где тот гром, что завершает день, тьму наступившую молодой рассекая?

Задать вопрос. Остановиться. Вспомнить. И обернуться — в будущее, в свет, объединяющий и смерть с рождением. И промолчать, вбирая запах красок, зорь утренних и зорь вечерних. И вновь стучать беззвучно в таинственную дверь — ту, за которой...

Утраченное, забытое, единственное: откуда и куда, зачем и сколько, кому и от кого, где вчера уходит в завтра? — вопросов нам не счесть, едва успев раскрыть глаза. И под устало смеженные веки опять вопрос — куда, надолго ль?..

Но задавать — не в том ли смысл прихода человеческого в Природу? И не себя ли захотела сама Природа осмыслить, до-понять через двуногое свое создание, вложив и разум и душевный непокой? Не здесь ли место, утраченное в суете, в возне безмыслий, чреватой саморазрушением, не здесь ли — в пробуждении и сне, и новом пробуждении-слиянии — предназначение? И счастье? И любовь? Осмыслить, не предав, не подменяя собой Природу! Осмыслить самоё себя в природе, и саму Природу — в себе?..

Художник не мгновенье остановит — его не остановишь, как не войдешь ты в реку дважды, — художник растворяется в мгновенье и в вечность воспаряет, через миг, чрез осознание себя частицей всего вокруг. И камня, и листа, и птицы, и рукотворной тени от решетки моста над водной гладью... Созерцает, не мешая этому мгновению развиваться; не вмешиваясь и не переиначивая есте-

ственный ход событий, присутствует при чуде взаимосвязи, взаимодействия, взаимо-жизни.

Именно художник способен восстановить нарушенные связи в природном круговращении, способен вернуть Слову его изначальное – творимое, одушевляющее – значение. Созерцание, со-бытиё. Посмотрите, как увеличивают, как наполняют значение всего две точки над буквой «ё» – всего две небольшие точки, утраченные по лености, глухоте и скудоумию сиюминутной выгоды... и в этом также видится миссия художника: идя вперед, возвращать утраченное. Как и проявлять невидимое, чтобы зреть – прекрасное.

Наверное, у каждого человека, а уж у художника тем более, есть в душе тот заветный уголок, в котором сохраняются черты и дыхание земли, взрастившей его. И пусть связь с этим первым местом миропребывания прервется, но во многом жизнь последующая определяется и поверяется той гармонией, что внесла эта земля в первые ощущения явленности человеческой. Как и, увы, дисгармонии тож... Так много значит и первый куст с набухающими почками, белёсый от росного серебра, и тихая часовня или древний собор, где мягкая пластика поднятых стен и округлых куполов не вносила тревоги, не угнетала контрастами света и тени, где ничего не подавляет взлёта души – не здесь ли обретается камертон, которым позже поверяется весь строй жизни, всё отношение к миру вокруг, та бережливость к поступи «по суху и воде».

Станислава Покровского нет необходимости представлять калининградцам: множество выставок, вернисажей и работ в печати за тридцать лет творческих поисков сконцентрированы в теме и внутренней сути бытия фотохудожника. «Спаси и сохрани». Талант дан человеку в дар, в том нет заслуги. Но вот осмысление бытия, труд, поиск и страдание – это индивидуальное, это жизненный путь, последовательность в котором и определяет зрелость художника, его возможность создать, не разрушая, оставлять след – как связь времен, а не разрыв. Пробуждать веру вопреки забвению.

У Станислава есть тот цельный, первозданный камертон, которым поверяется гармония природная. В бытии и сознании. Это так важно, когда они слиты: бытиё и сознание, когда они созвучны друг другу, когда созерцание и со-переживание сливаются с созданием и со-действием. Природе. Жизни. Красоте.

Его объектив внимателен и сочувствен, как была, это очевидно по его творчеству, внимательна и сочувственна старинная Влади-

мирская земля с ее храмами на Нерли и соборами в городе, у которых вырастал и впитывал чистоту линий и чувств тот мальчишка, которому предстояло стать художником.

И если художник талантлив и неравнодушен, если он умеет в повседневности увидеть чудо всевремени, если в тишине слышит он шелест вечного движения – разве не ощутит этого и зритель его, разве не остановится после этот зритель перед сломанной веткой — чтобы поправить, перед выпавшим птенцом – чтобы вернуть в гнездо, перед недобрым словом – чтобы воскресить истину.

Входите в мир художника, это и наш мир. Общий. Всеобъемлющий. И его в самом деле необходимо СПАСТИ И СОХРАНИТЬ.

«Мелодия летящего листа...»

Нам так не хватает красоты...Подлинной, природной – той самой гармонии, что открывает душе пространство для роста, озон для дыхания. И ещё недостаёт красоты – как напоминания о нашем несовершенстве. А напоминание это необходимо, ибо в самонадеянности и безоглядном потребительстве человек утрачивает главное – удивление перед жизнью, перед трепетностью её. А утрачивая удивление, мы теряем сам стимул существования Homo Sapiens – осознание себя в природе и природы в себе.

Мы растворяемся в шуме и грязи города, где свет небесных звезд, цветение радуги подменены неоном реклам, а птичье разноголосье, рокот грома и шелест дождя – картонными голосами наезжих шоу-«звёзд». Вот здесь-то – в этой картонности, мишуре и прожекторном цветопреставлении – нами обретается упоение, растворяющее собственные мысли и чувства, собственное восприятие мира и природы... И с каким одышливым пиететом преподносится эта красота местячковыми репортёрами «от культуры»! Особенно, если за прибывающей шоу-кометой тянется шлейф сплетен или скандалов...

Увы провинциальность – болезнь не географическая, но как же она заразительна! Снобистский восторг перед «инопланетянами» стимулирует столь же снобистское неприятие всего доброго в жизни и искусстве, что происходит здесь рядом: каким бы своеобразным оно не было. Разве можно допустить, что рядом появился кто-то талантливее, кто-то (да что вы?!) умнее, кто-то, наконец, честнее в следовании своему дарованию?.. Увы, умение просто ра-

доваться и удивляться явлению таланта утрачено в погоне за суетной сенсацией и дешёвым заработком на привычном поле моды духовного нигилизма.

И вовсе не замечается явление молодой поросли поэтов, книжечки и подборки стихов которых выходят в местных журналах. Молчанием или небрежной информацией обходятся явления выставок и спектаклей, которые за пределами региона находят добрые отклики и высокую оценку специалистов. Впрочем, об этом нам еще предстоит говорить и размышлять.

Однако, именно подобное отношение к «местной» культуре оставляет незамеченным выход альбома фотохудожника Станислава Покровского «Мелодия летящего листа» (Калининградское книжное издательство, 2001 г.). Удивительнее всего, что пренебрежение к личности художника, о котором говорилось выше, коснулось даже самих издателей книги: ни на обложке, ни на титульном листе мы не находим имени автора...

Камертоном к фотографическому циклу о городе стали стихи Сергея Погоняева:

*...Далёкая чужая доброта,
Разрезав воздух, прикоснулась к телу,
И ветром по губам прошелестела
Мелодию летящего листа.*

Надо сказать, что первый тираж альбома почти мгновенно исчез – это говорит о востребованности к памяти о тех сокровенных штрихах наших городских пейзажей и уголков, которые запечатлел художник. Художник не мгновение останавливает – его не остановишь, как не войдёшь в реку дважды. Он созерцает, не мешая этому мгновению развиваться, не вмешиваясь и не переиначивая естественный ход событий, присутствует при их взаимосвязи, взаимодействии, взаимо-жизни. И дарит эту взаимность – зрителю...

Повторюсь, Стаса Покровского нет необходимости представлять: множество выставок, вернисажей и работ за тридцать лет творческого пути отдано городу. Его пастельные этюды нашего побережья совсем недавно привлекли немало людей на выставке в Музее мирового океана. Его фото-графику можно встретить в журналах и в квартирах друзей. И это – всегда откровение, всегда свой любовный взгляд на мир. Добрый взгляд.

Альбом, насыщенный фотоэтюдками, подкреплёнными лирическим текстом (О. Тимошенко), открывает не только городские красоты и привычные, но увиденные в новом ракурсе, уголки Калининграда. Зная, однако, творчество и возможности С. Покровского, у меня знакомство с альбомом вызвало не только радость и душевное любование работой художника.

Увы, к этой радости и лирическому настрою, на который нацелен альбом, примешивается немалая доля горечи. И вот почему. Да, у нас есть красоты, которые обязательно западут в душу гостю, по городу можно пройти с гидом и фотоаппаратом, любуясь его останками крепостей, садами, озерами и прудами, морем наконец... Но... Невольно вновь и вновь наползает вопрос: что же составляет эти красоты, что останавливает взгляд, греет душу? Всё – былое, всё, в основном, созданное не нами. Всё, что мы... не успели порушить. Неоновая реклама и импортные наименования не в счет – они, скорее, уводят от своеобразия города, возвращают ему шаблон, бездуховность и страсть к потребительству, свойственные современной гонке в никуда. И поневоле понимаешь, что у города до сих пор нет своего лица, что многое здесь заимствовано – из прошлого ли (увы, лучшее), из дурно воспринятого настоящего.

И в этом, уверен, основная слабость – не художника, нет, – издателей, не доверяющих художнику. Всё те же, из достопамятных времён, обязательные «производственные» картинки, всё та же статичность и предсказуемость узнаваемых «объектов»... А ведь у города есть своё, современное и единственное, что необходимо присутствует в его жизни: лица людей, его жителей, которые дышат этим воздухом, которые слышат эту «мелодию летящего листа». Которые – любят.

И всё же открывать альбом Стаса Покровского – радостно. Потому что за каждой работой, за каждым этюдом ощутима душа художника, его доброта, его раскрытая ладонь – берите люди, радуйтесь. И – думайте, грустите, помните о времени и его мелодии, которые уходят и которые остановимы лишь душевным откликом.

*К альбому С. Покровского
«КО: между прошлым и будущим», 2003 г.*

УСЛЫШЬТЕ, И – ОБРЯЩЕТЕ...

Наверное не надо удивляться, если, открыв книгу стихов, тебя унесёт, словно в половодье на льдине, – в зачарованную неизвестность... Да, именно так: и бурлящая бездна под ногами, схваченными последним холодом, и солнечное восторженное пламя, от которого закипает мозг.

Это – поэзия. Стихи, что вобрали в себя целую жизнь, не только их автора, но и земли, на которой соседствуют любовные восторги с усталым скрипом пилы на колымском лесоповале; где разговор с историческими лицами прерывается речитативом цыганского гадания и звоном гранёных стаканов. Где пробивающегося снеговым бездорожьём изыскателя будоражит мираж кликов журавлей, манящих в кофейни Стамбула, а затерянному в городской суете прохожему вдруг пахнёт духом сена и парного молока, отпитого когда-то из рук матушки... Россия. Восторг и – боль. Шрамы памяти и морщины хохота. И тепло ладоней, согретых близким дыханием.

Геннадью Юшко природой дан те только талант сочинителя, но и судьба, позволившая, а порой – и заставляющая, жить с широко раскрытыми глазами и распахнутой душой, что вбирает в себя краски, звуки и шёпоты, улыбки и слёзы человечьи, встречаемые в пути. К чести поэта, он никогда не торопился печатать, порой вопреки ожиданиям и рекомендациям. Ибо – всегда сознавал ту ответственность за Слово, которая необходима художнику. Поэт всегда остаётся один на один со всем миром – вокруг и в себе. И две компоненты творчества – Слово и Память – открывают и читателю путь к созиданию, уже собственного бытия в космосе жизни.

Геннадий Юшко из тех деятельных людей, которые сами выстраивают свою судьбу, порою вопреки жизненным обстоятельствам. Работая на Севере, в Арктике, в нефтеразведке, он оставался художником с активной жизненной позицией и внимательным взглядом на жизнь и общество. Верность слову и отзывчивость к человеку были присущи ему, как всем землепроходцам. Ещё и

на этом развивался его поэтический дар, укреплённый затем серьёзным знанием и учёбой в Литинституте. После многих лет Геннадий Юшко вернулся в Калининград, где активно включился в общественную и литературную жизнь, в том числе – в жизнь ПЕН-центра. Он помогал в издании журнала «Параллели», вокруг него объединилась творческая молодёжь, которой поэт в образованном при центре литобъединении передаёт как жизненный, так и творческий опыт.

Мне просто необходимо процитировать стихи, обращённые к другому страстотерпцу – Варламу Шаламову – спасённому и спасшемуся от ада – именно магией Слова:

*Сдавили пальцы, как тиски,
блокнотов лагерных страницы,
я разрывал их на куски,
мелькали: судьбы, стужи, лица.*

*И навзничь падали слова
и ничего им – впереди,
и в доме, как на Покрова,
и я, как снег, кругом один.*

*Лежат недвижные глаголы,
оборван мною их полёт,
а за стеною радиоло
о звёздной нежности поёт.*

Книгу надо не просто читать, а стихи не только декламировать – необходимо впустить их в себя, как выпускаешь в дом замёрзшего друга, как радуешься тихому шёпоту любимой. Будто смотришь себе в глаза – наедине и всерьёз. И тогда ты становишься со-автором художника. И обладателем подаренного тебе мира – Поэзии.

Берите! – говорит художник. Увидьте – и виждете! Переболейте – чтобы быть здоровым... Читайте!

ГЕННАДИЙ, «Песня истукана», 2011 г.

НЕТ НАЧАЛА И НЕТ КОНЦА...

Путь и время художника

*В одном мгновеньи видеть вечность,
огромный мир в зерне песка,
в единой мысли – бесконечность
и небо – в чашечке цветка...*

Вильям Блейк (перевод С. Маршака)

Возможно, одними из основных побуждений настоящего творца есть неистребимое любопытство и столь же неостывающий восторг перед окружающими его тайнами и красотой жизни, в чём бы она не проявлялась. Ранний солнечный луч, заставляющий светиться верхушки деревьев, посверк молнии в ночном небе, чарующее молчание заснеженного горного хребта и скрежет льдин на тронувшейся по весне реке, трубный рёв оленя в осеннее позолоте листвы и отдалённая зимняя волчья волшба... И конечно же самая большая тайна – человек в любом его проявлении, натруженные руки старика, удивлённые глаза мальчишки, чарующий женский силуэт в уходящей к неизвестности аллее...

И вот что, очевидно, важно в творчестве – художник, если он творец, вовсе не останавливает мгновение, он его продолжает. Продолжает во времени и пространстве. Продолжает в своих полотнах и скульптурах, на страницах книг, в нотных знаках, обретающих мелодию. В себе самом прежде всего, в душах людей, пришедших на выставку, слушающих оркестр, открывающий книгу. И он созидает новый мир, быть может, более идеальный, нежели окружающий, ибо он созидает – мечту, путь, вне которого душа человека съедается и усыхает...

А для этого художник ещё должен постичь тайну материала: красок, камня, глины, линии и пропорций наконец, Даже для того, чтобы их нарушать, созидая новое, надо обладать мастерством, если угодно – ремеслом.

Мысленно и въяве прослеживаю творческий путь Николая Джугана от первых, ещё школярских, ещё порою подражательных, карандашных и акварельных работ, в которых, к чести его учитель, был увиден дар самостоятельный и предвещающий развитие.

Но Дар, в той или иной области деяния и способности, дан каждому человеку. Это -- лишь подарок, природы ли, неба или родителей. А вот осознать, распорядиться, развить и осуществить этот Дар – задача и, подчеркнём, ответственность самой личности... Задача, прямо скажем, нелёгкая, для многих так и нерешённая. Ибо это путь нелёгкого труда, путь ошибок, горьких утрат и внезапных приобретений, разочарований и радостных открытий. Зачастую – вопреки жизненным ситуациям и привычному укладу.

И Николай Джуган достойно прошёл этот путь, обретая мастерство и не теряя восторга перед красотой сущего и вдохновения творца нового, своего.

Диапазону его интересов в профессии можно удивляться, но ещё лучше – осмыслить. Пройдя хорошую школу архитектуры, он познал значимость линии, сопряжённой с пространством. Последующая школа живописи открыла ему богатство красок, бесконечные возможности их сочетаний, рождающих новые ощущения, распахнула пространство больших площадей для рельефов, росписей, мозаики.

«Ничто не начиналось мной, и ничто мною не заканчивается!» - воскликнул гений в одном из художников. И это так: надо многое знать и уметь, чтобы, не придумывая заново велосипед, взять уже найденное предшественниками, преобразовать это знание в себе, найти собственное «лица необщее выражение» и осознать, как много откровений несёт в себе ошибок груз...

Чтобы до конца понять и принять творчество художника можно пройти по городу, увидеть почти фламандские росписи наружных стен с брызжущими здоровьем и весельем лицами крепких мужчин и желанных женщин, выполненные в почти пастельных тонах. Можно зайти в часовню и замереть пред ликами святых, исполненных почти канонически, но именно «почти» ибо художник внёс и своё осмысление, свой поиск веры и надежды, оживив, осовременив традицию, смягчив отчуждённость и недоступную горность и тем приблизив к ждущему откровения растерянному человеку.

А если зайти в один из новых детских садиков, то можно за-

чароваться, самому вернуться в то время, когда верилось в добрые сказки, где волк выносит Ивана-царевича с его суженой, где лебедь белая оборачивается царь-девицей и добро торжествует над злом. И это – на широких светлых пространствах, не без памяти васнецовских открытий, но и, опять же, в эстетике нынешнего, мультимедийного восприятия...

А кого-то остановит и уведёт мыслями далеко заснеженный горный хребет, или песчаная дюна с поднявшейся над ней радугой. Кому-то из картины услышится плеск речной излучины или отдалённое конское ржание. Николай Джуган вообще пристрастен к водной стихии – недаром ведь Рак по гороскопу! – через водяные потоки, хляби и разливы он ещё острее ощущает время и его необратимость. Нет, повторюсь, это не запечатлённое мгновение, не моментальный снимок, но время текущее, меняющееся и меняющее. И художник всем своим искусством зовёт меня войти в эту меняющуюся реку, осмыслить собственный путь и обрести себя – в нём...

Искусство, если это искусство, во все времена - начиная с наскальных рисунков, со стремления выразить не приемы охоты, но всплеск, эмоциональный порыв человека - всегда опережало бытовое мышление. И тем заставляло мысль развиваться, способствуя движению общества не только вперед, но и – вверх. В полёт, в мечту, вне которых развитие останавливается, наступает стагнация общества, а самый простой выход из застоя, из противоречий между запросами и возможностями – насилие, война, разрушение. Саморазрушение человека...

«Искусство – это проект дикаря об отдалённом будущем», - заметил один гениальный художник. Его – искусства – предназначение не только (и не столько!) воссоздавать мир окружающий, похожий и узнаваемый, но открывать миры новые, звать в эти миры. Если угодно – будить, будоражить душу, всегда взыскующую горнего, но отягощённую материальным.

И Николай Джуган уверенно и мудро подошёл ещё к одному этапу жизненного пути, когда человеку приходит настоящая радость – в отдаче, дарении всего им накопленного опыта, знания, таланта. Ибо настоящий художник – всегда Даритель.

К каталогу выставки Н. Джугана, 2012 г.

ГРАНЬ ВЕРЫ И СОМНЕНИЯ...

Возможно, Clandestinus'у повезло в том, что большая часть его жизни – и осознанно взрослой в том числе – прошла в этом крае. В крае, воздух которого хранит дыхание Перкунаса (Перуна?) и жрецов Криве-Кривейте, св. Франциска и фантастичного Чюрлёниса... В крае жёстких ветров и ласковых дюн, любовно поглощаемых волнами.

В Клайпедском (но и – Мемельском ведь?) крае Малой Литвы, где среди солнечных стволов сосен, в которых и ветер может обрести человеческие голоса, можно позволить себе встретиться даже с собственным воображением... Более того – оживить это воображение, уйти в него, превратив мысль во вполне вещное бытие. И тогда время перестанет существовать как реальное, и, в общем-то, придуманное и фиксируемое солнечной тенью или стрелками циферблата лишь для удобства отправления суетливых забот. Отправления в небытие собственной жизни и природных возможностей, дарованных человеку с обретением ума и души. И тогда нет нужды в каком бы то ни было договоре с тайными силами и неизвестными посланцами, ибо все они – в тебе самом. И слух твой воспримет голос стихотворного речитатива проповеди Донелайтиса, а зрение поймает хитроватые взгляды жемантийских пахарей, терпеливо внимающих словам пастыря и тайком передающих по кругу бутылку с крепкой сливовицей. И вовсе нетрудно, подпоясавшись рукодельным вервием, нырнуть в монастырской библиотеке в разноголосицу давних книг и языков, чтобы потом проснуться под распевный зов муэдзина или воркование шотландской воынки... Но человеку в любом воображаемом мире предстоит, рано или поздно, пройти самое сложное испытание: остаться наедине с самим собой. Наедине с тем, что дано ему природой в отличие от прочих тварей земных. Наедине с сомнением. Ибо вне этой данности человек не в состоянии совершить главное, для чего он явлен миру – самопознание и осознание своего предназначения. Ведь

природа (назовите это Богом, вселенским разумом и т.д.) и явила homo sapiens для того, чтобы через него познать самоё себя... Через веру и сомнение. Лишь через эту призму возможно разглядеть и понять как саму жизнь автора книги «Последний день одиночества», так и его литературы, за фантазмагорией перипетий которой открываются читателю вполне реальные метания человеческого духа.

Clandestinus,
«Последний день одиночества», 2008 г.

СВОИМ ГОЛОСОМ

Это всегда сложно – найти свою ноту, свой тембр в разногласии звучащих вокруг тебя мелодий. И, возможно, ещё труднее – обрести свой голос, найти свое, единственное, пусть негромкое, слово, которое сможет выразить тот сонм вопросов и чувств, что обуревают человека в начале его жизненного пути. Тем более – слово поэтическое, всегда предполагающее открытие, откровение, иначе какая же это поэзия.

Стихи Оли Арофкиной меня остановили ещё несколько лет назад, когда она еще училась в лицее:

*...А жизнь – как сон,
Но сон навек,
Все чувства, как в тумане.
И бьётся, бьётся человек,
Как бабочка в стакане.*

Да, конечно, здесь слышим голос Андрея Вознесенского («и телефон, как бабочка в ладошке»). Но чувство-то своё, а то, что, прочитав, ещё не может освободиться от влияния кумира, в этом возрасте естественно, и собственная индивидуальность преодолет невольные соблазны уже явленного шедевра.

Неожиданность и точность образа, даже первичная физическая «туманность» пыльцы с крылышек бабочки, ассоциированная человеческим чувством, даёт осязаемое ощущение безысходности. При всей банальности самого возрастного состояния, рождающего подобные настроения. Но уже рядом явлены строки, которые говорят о серьёзности и глубине размышлений:

*...Случайных встреч случайные сонеты,
Случайных строк окисленная медь...
Как много крови пролито за это –
Возможность неслучайно умереть.*

Я убеждён в постулате, кем-то однажды высказанном: «начинающего» поэта нет – или ты поэт, художник, или...

В этой первой книжке Ольги Арофикиной читателю предстоит радостная встреча с поэзией, мир которой пронизан вспышками молний и влечом к небу воздушным змеем детства. Это немалое умение – сохранить детское восприятие и обрести смелость задаваться серьёзными вопросами, для ответа на которые порою уходит вся жизнь...

Важно еще и осязаемое стремление найти и подчинить себе форму, в каждом отдельном случае поэтесса не боится эксперимента со словом и строкой, поиски которых – труд немалый и серьёзный.

В первой книге и самому поэту предстоит важная встреча – с собой. Встреча более серьёзная, чем это порою кажется. Ибо зачастую именно она определяет дальнейшую судьбу художника.

Уверен и могу судить по той серьёзности, с которой Оля составляла свой первый сборник, что эти самоузнавание и самоидентификация откроют перед ней новые горизонты мира и слова. А горизонты тем и прекрасны, что к ним стремишься всю жизнь...

*Книга-кассета
«Королева солнечных трамваев», 2002 г.*

ВОПРОСЫ, ВОПРОСЫ...

Разумеется, и в этих «Молодых голосах» – третьем уже сборнике по итогам ежегодного конкурса – собраны авторы разные и далеко неоднозначные. Рядом с уже заявившими о себе поэтами и прозаиками внимательному читателю встретятся новые имена. Многие из них так и останутся авторами одного удачного стихотворения или небольшого текста. И это не беда, ибо важнее всего, конечно же, сам душевный настрой, то художественное состояние, что вызвали необходимость взять в руки перо и бумагу.

Убеждён, что быть хорошим читателем – талант не менее важный и производительный, чем сочинительство. Уметь выбрать для себя книгу, с которой необходимо остаться наедине – это, пожалуй, единственный путь к самопознанию, к соотносению собственной личности и собственных идеалов с тем тысячелетним человеческим опытом, который вобрала в себя мировая литература. Впрочем, вне этого опыта не может быть и самого художника...

Здесь нет нужды предварять читателя оценками или разъяснениями произведений таких разных авторов, собранных под одной «крышей». Будем надеяться, что это сделает внимательная и чуткая критика, паче чаяния ей суждено появиться. Важно другое.

В последнее время часто слышатся сетования на некий «пофигизм», даже цинизм молодежи, на излишний прагматизм или равнодушие. Да нет ведь этого! Разумеется, во все времена по отношению к молодости звучало, что «прежде-то и снег белее, и сахар слаще, а мы-то были не такие»... Если бы так было на самом деле, жизнь человеческая давно бы прекратилась. Однако мы живём и пристально глядываемся в будущее, и – верим, что оно должно быть красивее. Мог ведь Александр Сергеевич воскликнуть: «Здравствуй, племя младое, незнакомое!»

А оно – это племя – не менее пытливо и любознательно, не менее – взгляните в лица и почитайте их строки – романтично, как ни девальвировано это понятие. Во всяком случае, в России.

Да, во многом изменились условия жизни, технология пытается вторгнуться даже в чувства и мечты личности. Однако у человека всегда остаётся право выбирать свои жизненные ориентиры: или – «волосы твоей мечты», а «пить пепси – брать от жизни всё», или – осознать безграничность и красоту мира, понять себя и своё место в нём, осознать противостояние добра и зла, любви и предательства... Вторжение технократической квазикультуры способно разрушить душу и поменять жизненные ориентиры, обесценить саму жизнь человеческую, если ей не противостоит – личность, которую питает культура.

И отраднo видеть – именно это открывает нам этот сборник – что юность умеет задавать себе и миру вопросы: кто ты, чего ты ждёшь от людей и от жизни, что и как готов дать им? Естественно, в молодой поэзии немало «страдательной» любви, когда при утрате весь мир обесцвечивается и становится бессмысленным. Но и в этих стихах находится место для преодоления, для поиска и надежды.

И конечно же – фантастика. Она бывает разная, и хорошо, когда она помогает авторам вскрыть потаённое, определиться в собственном отношении к условиям проживания и к их переустройству. Совесть, справедливость, честь – вовсе не пустые слова для поколения, которое вошло в новое тысячелетие.

И слава Богу.

Сборник «Молодые голоса», 2002 г.

МОЯ ПАМЯТЬ

История мировой культуры знает немало имён, казалось бы, погребённых временем и забвенных памятью человека.

И это не вина, но беда поколения, отринувшего духовный опыт и тяжкие поиски художников. Нет, не «рукописи не горят» – но душа, словом пробуждённая, жизнь питает смыслом и движением.

Ах, как точно выплеснул гений Марины Цветаевой это понимание и напоминание, которое, конечно же, не только на себя обращено:

*Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берёт)
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черёд.*

И наша задача – не забыть, открыть и вспомнить, и – принять их Дарение!..

ВСПОМИНАЯ ДОМБРОВСКОГО

Григорий Анисимов (1934-2010)*

Вячеслав Карпенко

Мы относимся к тем, кто хорошо знал, любил и понимал писателя Юрия Домбровского, высоко ценил его художественную фантазию, создавал истинные масштабы его огромного природного дарования.

«И дернул меня черт родиться в России с умом и талантом!» – Так могли бы сказать о себе вслед за Пушкиным многие литераторы – Платонов и Бабель, Шаламов и Солженицын, Пастернак и Ахматова, Цветаева и Бродский. Всем, по ком прошелся каток совдеповской инквизиции. В ряжевые сети несвободы в СССР попадали даже самые крупные «рыбы» – Маяковский и Булгаков, Горький и Мандельштам.

12 мая 2009 года исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося мастера русской прозы Юрия Осиповича Домбровского. Его романы «Державин», «Хранитель древностей», «Обезьяна приходит за своим черепом», «Факультет ненужных вещей», эссе «Смуглая леди сонета» – во всем мире были многократно переведены на основные европейские и азиатские языки.

Роман «Факультет ненужных вещей» стал знаковым событием в мировой художественной литературе.

Домбровский отдал этой книге последние 11 лет своей жизни. Роман завершил трудный многострадальный жизненный путь писателя, поэта, эссеиста. Он стал вершиной творчества писателя.

* Анисимов Григорий Анисимович (1934–2010) – искусствовед, писатель, художник, заслуженный деятель искусств, член Русского ПЕН-клуба и Союза художников. Автор книг «Кумир поверженный – всё Бог» (Казимир Малевич), «Что в имени тебе моём» (О Пушкине), двухтомника «Мира восторг беспредельный» (рассказы о художниках), многочисленных альбомов современных художников и др.

Юрий Осипович Домбровский родился в семье знаменитого адвоката, выигрывавшего многие шумные судебные процессы. Домбровский учился в бывшей Медведниковской гимназии, что размещалась в Староконюшенном переулке. Дом и еще и сейчас стоит на том же месте. Еще в ранней юности Домбровский решил стать писателем. Первые его шаги отмечены упорным и радостным литературным трудом.

А последние публикации Домбровского – сборник «Гонцы» (издательство «МИК»), поэтический однотомник «Меня убить хотели эти суки» («Возвращение»), 1997 г., подборка стихотворений в журнале «Знамя» – относятся к недавнему времени. Постоянно где-то что-то издается. То выйдет в Польше монография, то в американском журнале статья о писателе, то в Париже аспирант Сорбонны издаст давно задуманную книгу. Одним словом, всемирная литература Юрия Домбровского не забывает.

Когда-то Фазиль Искандер – близкий друг Домбровского – посвятил ему такие строки:

*Какие канули созвездья,
Какие минули лета!
Какие грянули возмездья,
Какие сомкнуты уста!
А ты стоишь седой и хмурый.
Неужто кончен кавардак?
Между обломками халтуры
Гуляет мусорный сквозняк.*

200-летие Гоголя, 100-летие Домбровского – стали заметными датами щедрой русской культуры. Живой, неугасимой, пульсирующей... И дай нам провидение, чтобы и читатель российский ощущал этот пульс и был достоин этому великому наследию, ибо накоплено он великими муками.

В последний день жизни Юрий Осипович проснулся и сказал жене Кларе: «Я только что видел Христа, разговаривал с ним. Я Его видел»

А потом встал и умер.

В жизни Домбровского всё бывало: его хотели пристрелить на Колыме, у него пропадал роман в архивах КГБ, а потом находился. Домбровский был энциклопедически образован, потому мог он свободно переместиться в Елизаветинскую эпоху, во времена

Шекспира, набросать задумку романа «Золотые кони Бенина». Его творческая фантазия была неумна. Он часто говорил, что главное орудие производства писателя, художника, творца – совесть; что не бывает безнравственных творцов, а безнравственны только ловкачи и мастера дешёвых эффектов.

Когда Домбровский работал над романом «Обезьяна приходит за своим черепом», он по койке не мог передвигаться (у него откаляли ноги). Он мог только ёрзать и писал свой роман лёжа. Тогдашний главный редактор журнала «Звезда» Борис Лавренёв прочёл роман и стал его решительно продвигать к публикации. Домбровский получил от Лавренёва обнадеживающее письмо: «После длительных боев нам удалось отстоять Ваш роман, которому даны самые положительные отзывы авторитетными референтами. Берём его в «Звезду». Необходимы коррективы согласно критическим замечаниям. Ввиду Вашей отдалённости посылка Вам рукописи может затянуть печатание романа. Нужно печатать скорее, потому и спрашиваю Вашей санкции на проведение этой работы. Прошу довериться моему искреннему желанию со всей ответственностью и благожелательностью добиться выхода романа с Вашим согласием. Прошу телеграфировать – Москва, Борису Лавренёву. Срочно вышлите остальные части в издательство «Московский рабочий».

К сожалению, действительность оказалась далекой от радужных надежд.

В 1949 году Домбровского в очередной раз арестовали. Роман завис. Рукопись отобрали при аресте. И у автора его, на шесть лет вновь «упакованного» в Озерлаге, не оставалось никакой надежды на возвращение. И вот, будто в подтверждение булгаковского посыла, уже в Москве после реабилитации, как рассказывал сам Юрий Осипович, «однажды в дверь позвонили. На пороге стоял маленький кругленький человек с бритой головой. «Могу ли я видеть Домбровского? – Это я и есть Домбровский... – Вот в этой «авоське» (о, русский язык: «авось в эту плетёнку, что-нибудь перепадёт из продуктов!») – ваш роман... «Обезьяна приходит за своим черепом», так кажется? Мне было приказано сжечь, но я прочитал и вот...».

Впоследствии через его роман «Факультет ненужных вещей» во всю прозвучит мысль о том, что хотя деспотизм, тирания и произвол существовали во все времена, всё же человек умел нужный находить выход. И находились «маленькие» люди, что, вопреки

страху, подсыпали свою горсть песка на скрежещущие шестерни террора. Герой романа археолог Зыбин, образ во многом автобиографический, отстаивает истину хранителя человеческой памяти. Отстаивает и побеждает вопреки тем, кто считает гуманизм чуть ли не пороком, и тем, кто думает, что доброта – не больше чем оскорбление, и тем, для кого терпимость является почти что государственным преступлением.

Вероятно, наши воспоминания явятся прообразом будущей книги «Домбровский в воспоминаниях современников».

Сам Юрий Осипович оставил нам высокий пример того, как нужно писать воспоминания о человеке, с которым встречался хотя бы даже мимолетно. У него есть рассказ о встрече в 1930 году с Александром Грином.

В акционерном издательстве «Безбожник» ему дали задание достать рассказ на антирелигиозную тему. Так Домбровский попал к Александру Грину.

«Он меня выслушал и сказал, что рассказа у него сейчас такого нет. Но он пишет «Автобиографическую повесть». Вот ее он может предложить.

Домбровский стал объяснять Александру Степановичу, что нужна не повесть, а чисто антирелигиозное произведение... Грин опять его выслушал до конца и повторил, что такого рассказа у него нет, но, вот, если издательство пожелает повесть, то он может быстренько ее представить. Я поделился с ним впечатлением, что его вещи по сжатости, четкости и драматичности напоминают мне новеллы Эдгара По. Грин слегка вспылил. «Господи, – сказал он горестно. – И что это за манера у молодых всё со всем сравнивать. Жанр там иной, в этом Вы правы, но Эдгар тут совсем не при чем».

И он очень горячо произнес эти слова. Видно было, что этот «Эдгар» изрядно перегрыз ему горло. Он сказал: «Вот что, молодой человек, знайте, я верю в Бога».

Я страшно замялся, зашёлся и стал извиняться. «Ну вот, – сказал Грин очень добродушно, – это-то зачем? Лучше извинитесь перед собой за то, что Вы не верующий. Хотя это скоро пройдет, конечно»...

Тут я нашел какой-то удобный момент и смылся.»

«...Мое главное обвинение против режима Сталина-Гитлера, Берия-Вышинского в том и заключается, что они не только убивали, но и оподляли, так сказать, понижали уровень мирового до-

бра», – писал Домбровский в письме ленинградскому писателю Сергею Тхоржевскому.

Когда-то близкий друг Домбровского, Юра Давыдов, тоже бывший зек, спросил у Юрия Осиповича: «Скажи, старик, в бытность твою в лагерях и на лесоповалах тебе приходилось заниматься тяжелым физическим трудом?» Домбровский весело и озорно взглянул на Давыдова и ответил: «Тяжелше авторучки мне ничего, кроме графиков и нарядов, держать в руках не приходилось. Меня как писателя использовали в основном на канцелярских работах». Он, конечно, лукавил, но и в этом был весь Юрий Осипович: не жаловаться, не мстить и не завидовать... Когда Домбровский вернулся из последней «сидки» на Тайшете в Алма-Ату, он, прихватив бутылку водки, отправился к поэту Н., по доносу которого, якобы, Домбровский был арестован. Н. открыл ему дверь в смятении: молва, подогретая настоящими виновниками, никак не способствовала мирной встрече. Надо представить высокую фигуру Домбровского в его вечном пальто нараспашку, его разведённые широко руки с бутылкой, его цыганистый лукаво-острый взгляд, чтобы понять оторопь хозяина. «Да забудь, если что и было... Если бы мне яйца в косяке дверном защемили, чёрт знает чего бы не наговорил там. Лучше выпьем и порадуемся моей свободе», – сказал Домбровский. И выпили. Впрочем, через некоторое время Н., преследуемый вошедшими в моду газетными обвинениями, покончил с собой. Но в архиве художника Антощенко-Оленева, дружба с которым у Домбровского была скреплена Тайшетским Озерлагом, в письме к нему Юрия Осиповича из Москвы есть несколько горьких слов: «...Узнал, что Н. застрелился. Господи, да зачем же... Так нельзя распоряжаться жизнью! Травля, это всё дело рук Ж. и с него спросится...».

Часто нам вспоминается Голицыно, Дом творчества писателей.

Овальный стол в большом зале, на нем в центре огромная фаянсовая супница с серебряным черпаком, конверты с крахмальными салфетками. Вокруг стола восседают знатные старухи русского переводческого цеха: Литвинова, Есенина-Вольпина, Райт-Ковалева. Люди это были насмешливые, знающие, острые на язык.

У них идёт лёгкая порхающая перестрелка на английском и других языках. Гулкие гортанные гласные, пущенные очередью, накрывали друг друга, создавая иллюзию морского прибойя. Видя и слыша это, новичок с ужасом думал: «Боже, куда я попал? Ведь

это же Лондон или даже Париж!..» Потому что собеседницы позволяли себе отдельные замечания по-французски. Лишь однажды Литвинова – высокая, седая в чем-то развеваемом и крылатом, вставила что-то по-русски, всплеснув руками. Она напоминала большую белую птицу. «Самое странное, - сказала она, - что в Англии я всегда была англичанкой, и только приехав в Россию, оказалась вдруг еврейкой!»

И тут вошел высокий, худой чубатый человек в цветастой гайке навыпуск и в сандалетах на босу ногу. По-старомодному поздоровавшись со всеми поклоном, Домбровский поправил свой густой чуб и заходил вокруг стола, где сидели переводчицы, словно не обедать пришел, а совсем по другому делу.

Его фигура, наряд, и движения сразу же говорили о необыкновенной внутренней свободе. И как-то мало вязались с благоговейной атмосферой голицынского табльдота.

– Так вот о Катулле, – сказал Домбровский, как бы продолжая давно начатый разговор, – если верить всему, что о нем написано...

И за несколько минут Юрий Осипович прочитал короткую, но ёмкую лекцию о римском поэте. Он так и не присел за стол. А всё ходил и ходил. Но ему уже наливалась тарелка, нарезался хлеб, были подвинуты овощи и традиционная голицынская селедка с луком.

За ним ухаживали, ему улыбались, по всему видно было: его здесь любили. В общем, беседа за столом, потеряв свой английский акцент, неожиданно взметнулась на должную литературную, чисто дворянскую высоту.

В том же Голицыно случилось следующее.

Мы пришли с Домбровским на привокзальную площадь в ранний утренний час в надежде раздобыть что-нибудь такое, что способно было немедленно восстановить утраченное равновесие между опустошенной душой и страждущим телом.

Сменявшийся ночной сторож магазина заверил нас, что знает, где можно взять. Схватил деньги и растворился. Привокзальная площадь всё также была пустыня. Но появился заспанный мужичонка и предложил скинуться. Мы скинулись, и он быстро ушел. Потом возник инвалид об одной ноге, объявивший себя другом Домбровского. Он укочивал с нашей пятеркой. Последний, кто к нам подвалил, был бритый, стриженный, молодой, розовый, с вы-

пирающими из-под тенниски мышцами, с белозубой улыбкой. Мы посетовали, что обещаний было много. «Но вот так связываться со всякой рванью, это же все рабы бормотухи. Давайте я вам беленькой достану».

Мы отдали последние. Домбровский уселся на ящик у газетного киоска и стал читать газету. Через некоторое время он уныло спросил: «Ребята, вы знаете, сколько дураков на этой площади?» Мы переглянулись, оглянулись. Выходило, что кроме нас никого нет. Домбровский тяжело вздохнул и перелистнул газету.

Когда вера в благополучный исход была почти утрачена до основания, вдруг появился сторож, он принес две бутылки молдавского золотистого и тут же пожелал получить свою долю. Пока обсуждались детали дележа, вернулся белозубый парень с добычей, а следом за ним приковылял жизнерадостный инвалид. Последним появился заспанный в кепке. Примерно в таком же порядке мы направились к голицынскому пруду. Впереди шёл Домбровский, за ним следовало весёлое шествие волхвов.

– Нет, - говорил Юрий Осипович, устраиваясь на зелёной травке, на берегу заросшего тиной пруда, – что не говори, а братство порока все же сильнее всех договоров и союзов добродетелей...

И читал, всем понятное и наболеевшее, например – «ЧЕКИСТ»:

*Я был знаком с берлинским палачом,
Владевшим топором и гильотиной.
Он был высокий, добродушный, длинный,
Любил детей, но выглядел сычом.*

*Я знал врача, он был архиерей;
Я боксом занимался с езуитом.
Жил с моряком, не видевишем морей,
А с физиком едва не стал спиритом.*

*Была в меня когда-то влюблена
Красавица – лишь на обёртке мыла
Живут такие девушки – она
Любовника в кровати задушила.*

*Но как-то в дни молчанья моего
Над озером угрюмым и скалистым
Я повстречал чекиста. Про него
Мне нечего сказать – он был чекистом.*

Волею судеб, от первой ссылки, творческая жизнь Домбровского надолго была связана с Алма-Атой. Вообще говоря, Казахстану, как и его столице (теперь уже – только культурной) своеобразно повезло. Видимо, кто-то из власть предержащих (не сам ли Сосокоба?) решил, что ад здесь не меньший, нежели на Колыме или Сахалине... Здесь в Карлаге сидел основоположник гелиобиологии Александр Чижевский; здесь ссыльный профессор Александр Чаянов преподавал в сельхозинституте вариационную статистику, а затем был расстрелян во дворе местной тюрьмы. И Александр Солженицын – в Экибастузе «дотягивал» свой срок с томом Даля. И пушкинист-белогвардеец Николай Раевский, вернувшийся из эмиграции и вместо сулимого Ленинграда и «Щедринки» (вторая библиотека России), угодивший сначала в Туруханск, а затем в «мягкую» безвыездную ссылку в Каскелене под Алма-Атой (да, да, того же родового корня Раевских – друзей Пушкина! Произведения Николая Раевского «Портреты заговорили», «Друг Пушкина Павел Нащокин» и др. переведены на многие языки мира). И работник Коминтерна, искусствовед и энциклопедист Лев Варшавский, и скульптор Иткинд. А оперный бас Николай Гринкевич, умудрившийся из Болгарии привезти необыкновенное собрание старых книг, писем знаменитых эмигрантов – философов и писателей, – коллекцию русских орденов и мундиров, но еженедельно должный отмечаться в местном «комитете глубокого бурения». Несть числа имён в культурном слое тогдашней казахской столицы, которая в войну ещё и приютила ЦОКС (объединённые «Ленфильм» и «Мосфильм») с Эйзенштейном и Пудовкиным во главе...

И Юрий Домбровский, значимость таланта которого прекрасно понимал бессменный (до брежневского, правда, поры-времени) редактор «Простора» Иван Шухов, печатал здесь, между очередными «сидками» свои рассказы о художниках, главы «Хранителя...», рецензии, блестящий перевод романа казахского классика С. Муканова. Да, в «Просторе» – журнале, где порой сходили с рук публикации, за которые в Москве могли полететь головы: «Джан» Платонова, стихи Мандельштама, пьесу опального Пастернака... Эти тексты, зная возможности Шухова, передавал порой для журнала Твардовский, который и сам в «Новом мире» ходил по лезвию ножа...

После всех мытарств, исчезновений на годы за «колючкой», высокая фигура Цыгана (как называли Домбровского в лагерях и чем

он гордился) с развевающимся смоляным чубом, в распахнутом поношенном пиджаке или пальто вновь объявлялась на арычных улицах солнечного города, неизменяемая, несломленная, неунывающая... Здесь обрёл писатель душу и любовь Клары, которая не только стала его спутницей, но и вместе с «чудиком»-художником Сергеем Калмыковым вошла в его «Факультет...». Даже в этой плеяде блестящих (и – уже теперь исторических) и самодостаточных имён Юрий Домбровский выделялся широкими знаниями, независимостью суждений. Особым достоинством личности, делавшим его своим в любой человеческой компании – от дворников и философствующих кочегаров, до профессуры и восторженных студентов, прорывавшихся на его редкие лекции о Катулле или Шекспире...

В Москву Домбровский вернулся в середине 50-х, после семнадцати лет ссылки и лагерей, ничуть не сломленным. Независимый в своих суждениях, как магнит притягивал он к себе самых разных людей. Но и реабилитированного Домбровского КГБ не оставлял в покое. За ним следили, угрожали по телефону, трудно печатали. Незадолго до смерти он был жестоко избит неизвестными. Но сумел дождаться сигнальных экземпляров «Факультета...»... из Парижа.

Что ж, 100 лет – достаточный срок, чтобы проверить на прочность и необходимость творчества художника. Тем более, что у доброй, умной и сострадательной книги есть обязательное свойство – открываться. Следующему поколению – в том числе.

ж-л «Параллели», 2009

ИВАН НОВОКШОНОВ

(1896–1943)

Удивительные порой встречи уготовливает жизнь. Или дорога...

Как-то, во время учёбы на Высших курсах литературного института, случайная встреча в книжной лавке привела меня в московскую квартиру почти на окраине, на Алтуфьевском шоссе. И улица оказалась знаковой – Николая Лескова, одного из немногих русских писателей, у которых следует учиться многогранности языка, вкусу, если угодно, слова, а вот подражать невозможно – «уши» сразу вылезут.

Разговор шёл о художниках, и мне нужно было рассказать о строителе Андрее Зенкове, что возвёл в Верном удивительный деревянный храм, который выдержал в начале XX века разрушительное землетрясение. О романе «Хранитель древностей» и его авторе, сосланном уже не в Верный, а в Алма-Ату, и работавшем этим «хранителем» в музее, что помещался в том диковинном храме. Говорил о необыкновенном, чудном и чудном живописце Сергее Калмыкове, прошедшем через другой роман того же писателя, «Факультет ненужных вещей». Да, роман вышел в Париже, и автор успел поддержать книгу свою в руках незадолго до смерти, и это, конечно же, хоть отчасти примирило его с нелёгкой жизнью, с тремя «ходками» в лагеря, от СЛОНа до Озерлага. Выйдет ли роман у нас? – сомневаюсь, говорил я тогда (он вышел в России, правда, через два года, спустя двенадцать лет после парижского издания), мы читали его в рукописи, и нигде, пожалуй, в прозе, остающейся высокой литературой, так точно не вскрыты глубинные, причинные корни большого террора, трагедии народа, принявшего сталинщину. Корни предательства и покорности...

– Как вы назвали писателя? Домбровский?..

У седовласой моей слушательницы внимательные глаза за толстыми стёклами очков затуманились. Нет, не от слёз, хотя, как по-

том стало понятно, была причина и для них. Нет, это память другого времени облаком затянула взгляд: глаза видели иное время, иные лица, то была память невозстановимой утраты и неизбывной боли.

Я уже знал, что Галина Ивановна – писатель, был очарован глубокой культурой и, ещё больше, силой духа этой женщины, двадцать лет борющейся с параличом, с собственным непослушным телом, отказавшимся служить после фронтовой контузии. Её роман «Малая Бронная», о судьбах парней и девчонок с её родной улицы, что юными ушли в ополчение и потом на фронт, выйдет позже. Теперь же рассказывалось о другом: как ей, только окончившей художественное училище дочери «врага народа», удалось уйти на фронт, замужеством сменив фамилию, выучиться в юридической школе, стать следователем, бежать, узнав о готовом на неё доносе, в глубинку, честно и бескомпромиссно работать, пока не догнала болезнь. А позже вернуться всё же в Москву, пусть и не на родную Бронную, стать художником и писателем, вопреки недугу... «Да, можете представить, – это она вернулась издалека к нашему разговору. – Да, это Юрий Осипович передал мне рассказ о том, как погиб в лагере отец... в сорок третьем, хотя считался расстрелянным раньше».

– Нет, не все, – ещё сказала Галина Ивановна, когда я продолжил о романе, размышляя о феномене массового погружения в предательство, именуемое «патриотизмом», в страх и душевный анабиоз.

Конечно же не все подписывали себе приговор, не все, хоть невыносимо изошрённы были пытки, не только физические, но и душевные – доносили и выбивали признание не враги чужеземные, но «свои», и доканывали в лагерях тоже земляки единоплеменные... А вот ведь держались, теряли зубы, но не оговаривали ни себя, ни других за глухими стенами «следственных комиссий». Выдержал и её отец, Иван Михайлович Новокшенов.

Позже прочитал я повесть Галины Ивановны «Иван», узнал судьбу человека легендарного, имя которого вошло в революционную историю Сибири. Прочитал и его книги «Великий Аным», «Таёжная жуть», «Потомок Чингис-хана»...

Сейчас уже, пожалуй, лишь киноведы знают одноимённый фильм Всеволода Пудовкина, поставленный по этой повести – «Потомок Чингис-хана», как, впрочем, и эйзенштейновского «Потёмкина» не смотрят: а ведь они вошли в сокровищницу мирового

кинематографа. Но сама повесть, послужившая основой сценария картины Пудовкина, вышла лишь в 1962 году, после реабилитации Ивана Новокшенова. Даже фамилия его была смыта с титров фильма, сценаристом остался Иосиф Брик, работавший тогда в Госкино, который, как редактор, соавторствовал во многих картинах, хотя вряд ли написал что-то самостоятельное.

Известная телеграмма командира партизанского отряда, вскоре ставшего Пятым Зиминским им. Гершевича кавполком, Новокшенова: «...Всем, всем... по линии Зима-Иркутск. Сегодня, 13 января 1920 года, в Зиму поездом **58-бис** (*выделено мною – В.К.*) в чешском офицерском вагоне прибыл адмирал Колчак. На моё требование о выдаче Колчака комендант станции Зима полковник Вани отказался его выдать. В случае прорыва через Зиму примите меры задержанию Иркутске...». Зиминцы удержали поезд на сутки, помогая подготовиться к встрече «Верховного» и эшелона с золотым запасом России. Другой вопрос, куда это золото и драгоценности делись после их отправки в Москву...

Иван Новокшенов добился личного свидания с Колчаком и оставил в вагоне для сопровождения своего адъютанта Соседко. Это ему ещё припомнится на допросах в 38-м году, номер поезда с адмиралом оказался символичным, по зловещей (ах, как многозначен русский язык: «зло вещать», предсказывать беду...) 58-й, от «бис» до десятого пункта, пройдут миллионы... В мае 20-го Новокшенов назначается помощником командующего Ингодинской группы войск народно-революционной армии Дальневосточной республики, воюет с японцами.

... «Революцию делают идеалисты и герои, но на смену им приходят негодяи». Добавим – и чиновники. Приходит посредственность. Серость, жаждущая растворить в себе всё выдающееся, чтобы воспользоваться благами «перераспределения», неминуемого в общественном катаклизме... В том самом «мутном омуте» бунтовского коловорота. Началось, увы, это сразу после победы революции, а достигло апогея в 30-е годы. «До основанья, а затем...» – принцип оказался живуч для многострадальной России и её народа, с розовой лапшой на ушах умело наступающего на собственные грабли и поныне.

Дважды Иван Новокшенов расстреливался белыми, лишь случайно оставаясь в живых. В конце двадцать первого года его вызва-

ли в Москву – для вручения золотого оружия, но вслед посылается и «р-революционный» донос-оговор, по которому молодой командир партизан на год заключается под следствие в Бутырку. И в этот раз всё обходится благополучно, до уничтожения соратников дело пока не дошло. Зато у Ивана за этот год созрела потребность осмыслить и рассказать о собственном опыте жизни и борьбы. Как и необходимость учёбы – чтением. В журналах публикуется серия рассказов и очерков, сложившихся в первую книгу. В 1925 году Новокшонов вступает в члены Всероссийского общества крестьянских писателей, возглавляемого Семёном Подъячевым, а вскоре избирается ответственным секретарём месткома общества, много работает в Комиссии по охране авторских прав. Ведёт переписку с ведущими писателями советской и мировой литературы – Горьким и Сейфуллиной, Грином, Фединым и Вс. Ивановым, Роменом Ролланом, Андре Жидом, Драйзером.

Крестьянская Россия, в которой земледелец ещё с реформ Столыпина наконец-то становился на прочные ноги, но был обманут так долго ожидаемым посулом земли, представляла несомненную угрозу новой власти. Бунты на Тамбовщине, в Сибири, на Хопре и Дону, подавленные жестоко, задушенные газом и расстрелом заложников, напугали идеологов большевизма. Троцкий родил безумную идею «трудармии», должной заменить индивидуальное крестьянское хозяйство. Сталин реализовал эту идею во «всеобщей коллективизации», которая привела страну к полной утрате земледельца и, по сути, хлебной зависимости от импорта на долгие годы. Как и реанимации крепостного состояния деревни.

С началом коллективизации был разгромлен и «центр кулацкой идеологии» – Общество крестьянских писателей. По этапу вскоре пойдут, чтобы погибнуть, Клюев, Клычков, Орешин... По счастью избегнет этой участи Андрей Платонов, на рукописи которого «Усомнившийся Макар» Сталин оставит ремарку «талантливый негодяй».

Время Ивана Новокшонова ещё не подошло: пока, по совету единомышленников, он переезжает в Свердловск, подальше от столицы. Здесь он руководит строительством Дома литературы и искусства, становится его первым директором, участвует в создании объединения, а затем Союза писателей, пишет пьесу для детского театра «Храбрый портняжка», работает над повестью «Потомок Чингис-хана».

Всё заканчивается ночью 37-го, заключением «без права переписки», хотя жить ещё остаётся почти семь лет. До той весны 43-года, о которой и рассказал другой з/к-писатель, выживший в Озерлаге, Юрий Домбровский моей новой знакомой Галине Ивановне.

...Весна выдалась скорая, пошёл лёд, бурлила половодьем река и грозила затопить контору лагеря. Естественно, спасти имущество и само начальство должны были зэки. Ивану досталось переплавлять на лодке сейф с документами. В сопровождении новобранца-охранника с винтовкой. Лодку накренило течением и льдинами, грузный сейф накренился на борт, лодка перевернулась, оба её пловца оказались в воде. Солдат с винтовкой, страшась выпустить её из рук, отягощённый сразу набухшей шинелью, хлебнул воды и принялся тонуть. Новокшонов, пять лет значащийся под номером на изношенном фуфани, был всё-таки сибиряк, даже несмотря на каторжный лесоповал, в свои сорок пять не потерявший природной силы, нырнул за парнишкой... и его винтовкой. И доплыл их до спасительной суши. Дальше понятно: служивому дали спирта, обтёрли-переодели, а зэка, как был мокрого, впихнули в барак, где он и сгорел в воспалении лёгких...

Такую вот историю поведала мне Галина Ивановна в московской квартире на улице имени писателя Лескова. Сказать, что оказался я там случайно было бы не совсем верно: я был влюблён в актрису, её дочь, как понял из рассказа -- внучку Ивана Новокшопова, с которой у нас спустя два года родился сын. Мой младший. Разумеется – Иван. Хотя Галине Ивановне не довелось об этом узнать, она ушла раньше...

Конечно, «рукописи не горят», как золото, не растворяются они в серной кислоте посредственности. И том с произведениями Ивана Новокшопова вышел в серии «Сибирский роман».

Но сколько их, так и не написанных, погибло для культуры и души России не сможет подсчитать, пожалуй, и сам Воланд...

1986–2012

БЕЛЛА – BELLA!

Удивительно, однако даже во сне они появляются для меня вместе. Хотя встречались мы порознь. Отчего так?

Вот уже два года, как ушла Белла Ахмадулина, и мне необходимо было ещё прежде написать о ней, о нашей встрече, о её стихах и музыкальной прозе, которые перечитываю вновь будто заново... Для себя, прежде всего, записать. И каждый раз рядом появляется Веничка – Венедикт Ерофеев. Даже книжки их, подаренные, – Беллы и Венедикта – оказываются рядом, хоть и получены в разное время, да и в разных географических и временных широтах...

*Кто знает – вечность или миг
мне предстоит бродить по свету...*

.....

*Что б ни случилось, не кляню,
а лишь благословляю лёгкость:
твоей печали мимолётность,
моей кончины тишину.*

Эти стихи Ахмадулина посвятила – «Веничке Ерофееву», но позже. А в той книге – «Свеча» - что дарена мне в головокружительные три январских дня 80-го года, посвящения ещё не было. Возможно, из-за табу на само имя «Веничка», за которым и для нечутких цензоров рисовались советские «Мёртвые души» – «Москва – Петушки», также закономерно названные поэмой...

Мне повезло: в эти январские дни я сменился на своей высокогорной кочегарке и спустился с гор в город. Алма-Ата, одна тысяча девятьсот восьмидесятый год. Год помпезный и трагический.

Но в тот момент мы были озабочены одним: надо было попасть на чтение Беллы Ахмадулиной. Мы трое – я и мои молодые друзья-поэты, недавние литинститутовцы, Кайрат и Бахыт, знали о приезде Беллы заранее, а вот с билетами вышла промашка. И хотя зал нового Дома офицеров был велик, билетов уже не оставалось. А может быть

попросту не нашлись деньги. Впрочем, мои прежние журналистские знакомства с администраторами театров и клубов дали нам возможность просочиться в зал и даже устроиться на ступеньках.

А зал был полон, даже стены не смогли бы пошевелиться, случись и землетрясение, – их надёжно подпирали спины безместных зрителей.

Белла появилась – явилась! – на сцене как-то сразу, зал даже не успел среагировать и только немного спустя грохнули аплодисменты. Которые она остановила одним лёгким движением кисти. И сразу представилась классическими уже стихами:

*Это я – в два часа пополудни
повитухой добытый трофей.
Надо мною играют на лютне.
Мне щекотно от палочек фей...*

Она сама сейчас казалась феей для почти тысячного зала зачарованных слушателей, вслушивателей в этот голос, в мелодику стихов. Она казалась райской птицей, на радость и муку залетевшей в этот январский стылый вечер: вибрирующее высокое горло, белые лёгкие кисти рук и лицо, оттенённое всем чёрным одеянием. И глубина черноты глаз на белом лице, словно вбирающих в себя этот зал и видящих – каждого. И к каждому обращённых, как и стихи.

...Это сейчас можно даже в интернете открыть выступления Ахмадулиной, а тогда это было – единственностью для каждого, было встречей с большой поэзией и Поэтом.

Ещё и потому, что умели затаённо слушать стихи почти два часа, и слово оживало многоцветной бабочкой, опускаясь в зачарованные души.

Сидеть на ступеньках мы уже не могли и невесомо текли вдоль стены поближе к сцене.

*Мне – пляшущей под михетскою луной,
мне – плачущей любой мышцей в теле,
мне – ставшей тенью, слабою длиною,
не умещённой в храм Свети-Цховели...*

Казалось, нам мешает собственное дыхание. А зал наполнялся озоном, и многие сидели с приоткрытым ртом, словно боясь задохнуться в этом наэлектризованном воздухе.

Почувствовав, что прозвучали последние стихи, а Белле всё не-

сут цветы, мы прошмыгнули за кулисы. «Думаешь, удастся?» – сомневался Кайрат. «Мы же её спасём», – шепталось в ответ.

Кажется, в гримёрке был администратор, а Белла улыбалась рассеянно и внимательно, слушая меня. Я же понимал, что смущаться нам некогда, а промедление и непонятость грозят выдворением вон и навсегда. «Белла, – сказал я. – Ты устала, а за дверями народ не даст и в машину сесть. Давай: ты уходишь с нами – это Кайрат и Бахыт, хорошие поэты, но они не будут мучать стихами, они же литинститутские и всё понимают. А я простой кочегар с космостанции (я интуитивно нажал именно на «космостанцию») и мне скоро подниматься в горы обратно. У нас стол, вино и настоящий плов, в гостинице такого не будет. Да и отдохнуть не дадут... А мы будем пить кумыс!». Она рассмеялась – то ли такой безыскусной наглости, то ли ожидательным лицам моих красивых казахов (а Бахыт тогда и вообще на малайского принца был похож), – и коротко ответила: «А почему бы нет? Поехали!». Её администратор, наверняка, знал характер Ахмадулиной – если уж решила, лучше не прекословить. Ей достаточно было удивлённо поднять брови на слабую попытку отговора.

Не знаю уж, наверное её повлекло моё кочегарское горное звание, да и сам шаг сторону, выламывающийся из предписанного, был ей не чужд. Конечно, я немного лукавил – у меня уже вышло полторы книжки, немудрящих в общем-то, но зато давших позже тему разговора – о моём егерстве, о волках, о конях и собаках, к которым Белла естественно была неравнодушна.

Вот совсем недавно, будучи в Вентспилсе, я узнал, что они с Мессерером лет семь назад тоже приезжали в этот портовый городок. Белла уже была не очень здорова, а Борис Мессерер хотел выйти с рыбаками в море. И поручил сопровождающей женщине опекать Беллу. И что же: «Она всё же сбежала от меня к морякам и говорила с ними, и пила... Мне так было неудобно! – рассказала о старой обиде моя собеседница. Мне же было тепло слышать имя и брести рыбачьим посёлком, которым ходила и Белла.

А тогда мы и вообще не ощущали возраста, а Беллиной энергии можно было поражаться, да и вообще она была ночной птицей. На улице стало вовсе морозно и хрустко, и мы тенями, обступив Беллу, пытаюсь как-то нечаянно запахнуть её шубку, которая всегда оказывалась нараспашку, проскользнули на улицу 8 марта, где – повезло! – сразу поймали какую-то легковушку. Водитель, уз-

нав кого везёт, разумеется, довёз нас до дому даром. Беспорядок и пёс в моей, холостяцкой на тот момент, квартире Беллу не смутил, а плов готовить я и сейчас умею всерьёз. Под плов, питание и знакомственные разговоры о городе, о горах над ним и пережитых селях, но и о литературе, конечно. «О, и телефон есть! – вспомнила Белла. – И позвонить можно? Через восьмёрку?»

«Булатик, это я! Да, здесь поздно, я долетела и здесь у ребят... всё хорошо!»... Мы, конечно поняли, кто на другом конце провода в Москве, и ушли курить на кухню.

Как много значили тогда эти кухни в жизни страны! И даже в её будущей судьбе. Конечно, понятие «кухни» довольно условно – были и квартиры, и мастерские художников, где можно было собраться, выпить и услышать новый анекдот «армянского радио», а главное – поговорить о том, о чём молчал или лгал официоз. На одних говорили о книгах, которые трудно или невозможно достать, передавались «на ночь» машинописные перепечатки того же «Доктора Живаго», или «Факультета ненужных вещей», у меня и до сих пор хранится «Лебединый стан», который ночь печатал на машинке...

- Где лебеди? – А лебеди ушли.
- А вороны? – А вороны – остались.
- Куда ушли? – Куда и журавли.
- Зачем ушли? – Чтоб крылья не достались.

- А папа где? – Спи, спи, за нами Сон,
Сон на степном коне сейчас приедет.
- Куда возьмет? – На лебединый Дон.
Там у меня – ты знаешь? – белый лебедь...

Или вот «Иконостас» Павла Флоренского... Да много чего – «голоса», «закрытые просмотры»... На других кухнях тяжело пили ту же водку и кляли сволочизм жизни, престарелое политбюро и необходимость «блата», чтобы «достать» или «получить» колбасу... И тоже говорили анекдоты.

Не помню уже – то ли Лёва Щеглов привёз, то ли мне в Москве дал машинопись «Москвы-Петушков» Юра Коваль, у которого бывал в мастерской на Неглинке, но мы ко встрече с Беллой уже знали Веничку Ерофеева по его поэме. А Белла, видимо, была и знакома с ним. И разговор об этой книге, советских «Мёртвых душах», был предпринят и необходим.

Спустя шесть лет на такой же «кухне» я встретил и Венедикта Ерофеева, возможно ещё не знавшего о подстерегавшей его болезни. Ему, как и Белле, был подарен природой удивительный голос. Его мягкий баритон с некоторой хрипотцой завораживал и сразу забирал внимание тем более, что говорил Веничка (так его и называли за столом) так ёмко и таким насыщенным языком. Позже, уже после его смерти, я слушал его чтение «Москвы-Петушков» и не переставал радоваться, что кто-то сумел записать на примитивный магнитофон (а происходило это наверняка на одной из «кухонь» – слышны даже голоса реакции и смех) – и сохранить этот голос, который мог передавать самые оттенки мысли и образа, автором написанных. И в этой поэме, написанной в 1969, кажется, году, и вывернувшей наизнанку всю рабскую мерзость и лживость государства, как и его поселенцев, эту ложь принимающих, Веничка будто увидел и свой уход в иные дали. Помните: «Зачем-зачем?.. зачем-зачем-зачем?.. – бормотал я. Они вонзили мне своё шило в самое горло... (выделено Вен. Ерофеевым). Я не знал, что есть на свете такая боль, я скрючился от муки. Густая красная буква «Ю» распласталась у меня в глазах, задрожала, и с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду.»

Когда это писалось, никак Ерофеев не мог знать, что через двадцать лет ему в горло и в самом деле смертельно вопьётся рак. Что это? Предвидение предопределённости? Как многое, что дано было его гению видеть или чувствовать...

Там, в самом центре Москвы, на Пушкинской площади, где через переход можно было зайти в «Шоколадницу» (или «Сластёну»), пройдя под арку, попадаешь в квартиру «обычного» инженера-электрика Саши Исаркина (теперь-то, вроде, и не страшно называть), который на дому увлекался переплётным делом и откуда-то получал переснятые на «Эре» (была такая техника – предшественница нынешнего сканера) «горячие» книги, за которые можно было схлопотать добротный срок. «Я – потомственный татарин, – смеялся Саша. – И дворник: все московские дворы содержала родня!» Там я и получил в подарок уменьшенную (нонпарель!) копию Веничкиной поэмы, изданной УМСА-PRESS в Париже ещё в 77-м году. Размером в ладонь, но в добротном твёрдом переплёте. И целых два 4-хтомника Николая Гумилёва, копии нью-йоркского издания, один из которых привёз другу Олжасу Сулейменову..

Вот в этой квартире, довольно «проходной» – потому что там

всегда находился кто-то, кому было уже трудно подняться после горячего питья и разговоров, да просто далеко ехать. Или надо было пожить несколько дней, как порой Ерофееву или Анатолию Звереву, чтобы прийти в себя. «Какой я вам Толик, – поднимал тяжёлую голову гениальный художник. – Я – Анатолий Тимофеевич!». Голова упала на прежнее место, однако он мог здесь же и написать портрет, если оказывалась бумага и краски, которые, впрочем, могли быть и в карманах его столь же тяжёлого и неснимаемого пальто. Впрочем, если было что-то, что оставляло след на бумаге – уголь, свекла... Невольно вспоминается мой добрый приятель американец Ричард Спунер, юрист какой-то компании и коллекционер художников-«бульдозеристов», советского андеграунда, нонконформистов. В первый раз попав в его представительскую квартиру со стенами, увешанными картинами нонконформистов (В. Яковлева, О. Рабина, В. Немухина и др.), увидел явный рисунок руки Зверева – портрет самого Ричарда. «Как?» – спросил его. «Пришёл в Москве на выставку на Грузинской, – рассказал Спунер. – Хожу, смотрю. Подходит человек, довольно уже «под шафе» и спрашивает, не хочу ли иметь портрет работы Толика. Кто же откажется! Ты американец? – Шесть рублей стоит. И подвёл к Звереву, тот в уголке возле смотрительницы сидел. Знаешь ведь Зверев быстро творил... но его приятель с шестью рублями был ещё быстрее – явился с двумя «Фаустпатронами» – так у вас эти толстые бутылки с портвейном назывались? Знаешь, сколько теперь этот портрет стоит, хоть и не продам, конечно?» – «Знаю, – загрустил я, помня нищую жизнь художника, которому Сикейрос ещё в 56 году на первом Фестивале молодёжи в Москве вручил золотую медаль, чем вызвал шок академиков ...

... Нам было легко с Белой, в ней не ощущалось ни капли тщеславия или какой-то амбиции, она умно слушала. Мы говорили о любви, вне которой не может быть искусства... и в которой можно стореть счастливым: это вспомнилась судьба нашего яркого павлодарца – Павла Васильева, стихи которого читал Кайрат. Любовь Павла Васильева и Натальи Кончаловской, которая стала его костром и Голгофой, отчасти способствуя приговору о расстреле из-за озлобленных анонимок завистников таланту, плодящихся и кусающих во все времена, как клопы..

И мы, естественно, были влюблены в Беллу, эта влюблённость, кажется отражалась и на походке, становящейся лёгкой рядом с

ней, сколько бы ни бродили по городу, и в старательном ограничении себя от какой либо навязчивости, и в приготовлении «аборигенных» блюд. Да и кто не был влюблён в Беллу, даже чуть приблизившись или побывав на её чтениях...

Удивительно, однако все эти три дня общения мы, включая Беллу, не ощущали усталости, несмотря на совсем короткие часы отдыха.

А на следующий день было 25 января. И мы все, почти разом, вспомнили о дне рождения Владимира Высоцкого. У Бахыта готовился бешбармак, под который легко пилось, а потом пелось. Оба мои друга владели гитарой и классно пели русские романсы, казачьи песни и баллады, песни Окуджавы и Висбора. Надо сказать, что казахи вообще музыкальная нация. А у Кайрата был очень своеобразный тембр голоса, и когда он запел коронную «Любо, братцы, любо...», глаза Беллы совсем стали бездонно-тёмными, она растворилась в песне и странном голосе с переходами от мелодичной сиплости баритона до почти альтовых нот, как мы растворялись в её голосе и стихах.

*Как на дикий берег, да на чёрный Ерик
Выгнали казаки сорок тысяч лошадей.
И взмутился Ерик, и покрывся берег
Сотнями порубанных, пострелянных людей...*

Мы пили здоровье Высоцкого, ещё не ведая, что он уйдёт всего через полгода.

Я не зря назвал год восьмидесятый помпезным и трагическим. Олимпийские игры в Москве, отягощённые вводом войск в Афганистан и бойкотом крупнейших стран, готовились с помпой как очередная победа идеологии. И здесь же звучал голос Высоцкого, гнева душу в каждом дворе. Невозможность жития в помпезной лжи, уводила поэтов и художников в кочегары и дворники, как в партизаны. А из Москвы на сто первый километр вывозили тунеядцев и прочих «нежелательных элементов», которым вдруг вздумалось бы общаться с иностранцами и чуждой прессой. И в эти пафосные дни смерть артиста, барда и поэта стала шоком для страны. И головной болью руководства. Попытка замолчать или смикшировать эту утрату русского искусства и совести не удалась: от Таганки до Ваганькова шли люди, и цветы устилали этот скорбный путь. И по всей шири земли «от Москвы до самых до окраин» слышался его единственный голос:

*Не спешите шибко, кони...
Чуть помедленнее...
Я ещё постою
на краю...*

Мы были детьми одного поколения и одной почвы: война, эвакуация, утрата родных и кормильцев на фронте или в тылу, подсолнечный жмых, как лакомство... И ощущением тех внутренней свободы и достоинства, что принесла правда «оттепели». И вне этой свободы дышать полной грудью уже не могли. И понимание тупика целой – и единственной ведь для нас – страны. Нам нужно было только встретиться взглядом, чтобы понять – «мы одной крови»... Даже в большом многолюдье порой достаточно увидеть глаза человека, чтобы понять это. А у нас с Венедиктом, тем более, по жилам текла одна кровь независимого кочевника, и от места работы вовсе не зависело внутреннее осознание в себе человека. Мне и нынче неприемлемо понятие «субординации», за которым обычно скрывается напыщенность индюка.

Вот почему они – Белла Ахмадулина и Венедикт (Веничка!) Ерофеев для меня в памяти неразрывны, и не только потому, что их подаренные книги стоят рядом.

Они – оголённый электрический провод этой страны, провод самого высокого напряжения, который и сам плавится при коротком замыкании. Трагичная судьба? – скорее, тяжкая – но он её выбрал и строил сам, и был счастлив и независим... или его выбрало провидение, чтобы он мог пережить боль этой земли и сказать, пропеть о ней скорбную песнь. Как прежде выбран был Гоголь.

«Ишь ты», сказал один [русский мужик] другому: «вон какое колесо! Что ты думаешь: доедет то колесо... в Москву, или не доедет?» – «Доедет», отвечал другой. – «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет», отвечал другой. Этим разговор и кончился.» («Мёртвые души»).

Вот и Веничка в поэме Ерофеева до Петушков так и не доехал...

Ничто так не таранит тиранию и глупость, как смех и сарказм. Нет, не тот смех от щекотанья пяток и подбрюшья власти, подобный всяким петросянам и «аншлагам» сегодня. Веничка хорошо знал природу и действенность настоящего хохота, вскрывающего всю мерзость человеческую.

И ничто так не дезавуирует власть, как Красота и Гармония,

которых взыскует самая потерянная душа. И этому служила безоглядно Белла, как когда-то её любимые Лермонтов и Цветаева.

Я вновь открываю малиновую обложку Беллиной «Свечи», где написано: «Славе – с дружбой, сразу пришедшей. 24–25–26 января 1980 года». И жалею, что не осталось фотографий. Но в те дни нам было не до съёмок, нам просто хотелось быть с ней, и мы радовались этому везению.

Мы провожали Беллу в аэропорт, мне было необходимо что-то подарить значительное. И я передал ей офорт Тышлера, который привёз мне талантливый режиссёр Юра Пискунов, снимавший в фильме о Эрмитаже и работы художника. Это было, конечно, наивно: «Я подпишу его для тебя у Саши», – засмеялась она. Конечно же она была дружна и с Тышлером, её призванность могла открыть любые двери, как и радоваться таланту – рядом...

В том порту накопитель был внизу, а провожающие могли послать последний привет с балюстрады над площадкой с улетающими. Мы были молоды и легко влюблялись: и сам не помнил, как спрыгнул с этих трёх метров пограничья, чтобы ещё раз пожелать счастливого полёта. Разумеется, даже милиционеры улыбались, выводя меня прочь...

...Летучей мышью, каплей в темноту

Вы канули...

Лишь в небе опустелом

Стихотворения неясный ультразвук

Вибрировал высокой нитью:

«Бел-л-ла!..» – написал позже Бахыт Каирбеков.

В последний раз я увидел Беллу четыре года назад на юбилейной выставке Бориса Мессерера, куда меня привёл мой друг, искусствовед и писатель, Григорий Анисимов. Это была короткая встреча, вокруг было много разного народа, и Белла явно не очень хорошо себя чувствовала, поддерживаясь надёжной рукой мужа, и лицо затеняла шляпа с необъятными полями. Мы поздоровались, а Гриша сказал ей об Алма-Ате, в которой... «И плов и остальное было чудно», – тихо сказала она, чуть приостановившись и протянув такую лёгкую руку. Её глаза были по-прежнему бездонны...

Как её Поэзия.

альманах «Параллели», 2012

УСЛЫШАТЬ ТИШИНУ...

Юрий КАЗАКОВ (1927–1982)

Он умел слушать. И – слышать. Человека, людей, скрип дерева, ночную грусть волка и завистливое повизгивание собаки на цепи, шелест травы, клёкот родника, тяжелый вздох судового борта под надвинувшимися торосами... Его и упрекали в этом: в «уходе от действительности и трудовых будней», в «мягкотелом гуманизме». В чем еще можно упрекать писателя? В отсутствии «настоящей гражданственности» (как её понимают партбонзы), в «отрыве от жизни», в неучастии, в пассивности... А он бродил по земле, вглядывался в лица, вслушивался в речь тех «обычных» людей, которые испокон живут своей жизнью без пафоса и «штурма вершин пятилеток». И был очень даже внимателен к партитуре души каждого человека, к самому глубинному смыслу явления вот этой конкретной жизни, её корней и связей с природой, питающей эти корни. Он проникался сумятицей встречной души, вбирал в себя песни, рождённые простой радостью и всегда непростой болью единственной судьбы, открывающейся этому внимательному взгляду за толстыми стёклами его очков. И возвращал Слову его изначальный смысл, поворачивал слово теми многоцветными гранями, которые отшлифовала русская речь.

Словно дальний сон, вспоминается мне единственный день в горах, когда один приятель приехал ко мне на кордон и из «газика» вышел большой и грузный человек в простой кепке, укрывшей высокий лоб, в толстом свитере под обмятым в дороге пиджаком. Конечно, я узнал его сразу, его книги «Голубое и зелёное», «Двое в декабре» стояли на полке и перечитывались не единожды. Я слышал, что он в городе, что переводит роман казахского писателя Нурпеисова, но вот здесь... «Я же говорил, что ружья у него есть!» – услышал я. Но мы так и не выстрелили ни разу, хотя была ранняя осень и зайцы-толаи прыскали в кустах, а мой Волчок обиженно лаял всё дальше. Мы бродили по близкому предгорью, поскольку

он отказался от коня: «Не п-п-привык... Да и т-тяжел». Он уже прочитал мой рассказ и обронил – «Верю...», а это дорогого стоило, и поощрило меня в необходимости письма, как и в ответственности – за слово. И теперь навёл на разговор о моём Севере и моих Урале и Балтике, о теперешней жизни на кордоне. Под добрую рюмку водки и жареного на вертеле курёнка и говорить хорошо, и помолчать душевно, глядя на горящиеся холмы, слушая журчанье мимотекущей с гор речушки. И ещё мы говорили об одиночестве, как о естественной доле человека, но и о необходимости быть услышанным и понятным близкими тебе...

Это потом я прочитал: «Моя охота началась тридцать лет назад, на Арбате, ...в читальном зале библиотеки... В детстве мне не повезло в том смысле, что близких родных, к которым бы я мог поехать в деревню, у меня не было, каникулы я проводил на арбатских дворах, природы и в глаза не видал и не думал о ней... Тем удивительнее теперь кажется мне величайшая страсть, которая овладела вдруг мною в тёмной, холодной и голодной Москве. С чего бы вдруг? И до чтения ли было тогда мне?» («Долгие Крики», 1972 г.).

Конечно, проза Юрия Казакова никак не принадлежит к ряду так называемых «бестселлеров». Она сокровенна и требует такого же труда душевного, сопереживания и открытости добру, с каким творил её автор. Проза эта музыкальна и полифонична, опять же – подобна самому автору, в своё время закончившему Гнесинское музыкальное училище. И вовсе не случайно Борис Зайцев в Париже видел в Юрии Казакове продолжателя бунинской традиции в русской литературе, как не случайно устраивал переводы его рассказов во Франции, издание в «Галлимаре» сборника «На полустанке». А в библиотеках тихо ждёт читателя его тонкая проза, одни названия рассказов и книг говорят об интимности и доверительности авторского обращения: «Тэдди – история одного медведя», «Двое в декабре», «Поедем в Лапшеньгу», «Голубое и зелёное», «Во сне ты горько плакал», «Осень в дубовых лесах»... И конечно же – «Северный дневник» с повестью о Тыко Вылке.

Когда я увидел фильм «Послушай, не идёт ли дождь», промелькнувший однажды по каналу «Культура», где Алексей Петренко даже внешне адекватен писателю, меня наполнило одновременно чувство горечи и радости – утраты и обретения. Ибо писатель Юрий Казаков – жив, и речь его вновь обращает тебя к жизни естественной, природной, единственно значимой.

Недавно в газете прочитал, что в Абрамцево дотла сгорел дом Юрия Павловича, с картинами, иконами, рукописями, дом, выстроенный им и должный бы быть сокровенным музеем... Что можно сказать о народе, отринувшем своё слово? – он растворится в небытии, если не вернёт себе многоцветную палитру родного языка и станет наконец свободным слушателем тишины собственной души и биения сердца встречного странника...

Юрий Казаков ушел из жизни негромко, оставив то слово, что способно оживить душу. Но эту живую воду нужно хотеть пить. Он ушел двадцать пять лет назад в таком же ноябре, в котором пылал его сожжённый дом. И тем удивительнее вспоминаются его строки в рассказе: «Теперь вот и земля черна, и всё умерло, и свет ушёл, и как же хочется взмолиться: не уходи от меня, ибо горе близко и помочь мне некому! Понимаешь!..

...А на самом деле, малыш, всё на земле прекрасно — и ноябрь тоже! Ноябрь — как человек, который спит. Что ж, что темно, холодно и мертво — это просто кажется, а на самом деле всё живёт». («Свечечка», 1973).

ж-л «Параллели», № 2, 2008 г.

МОРЕ, ИСТОРИЯ, СЛОВО...

Константин БАДИГИН (1910–1984)

Конечно же, писатель – это судьба.

А если говорить о писателе Константине Бадигине, то это – судьба в кубе. Ибо за время, ему отпущенное, им прожито несколько жизней, причем – в прямом смысле героических: мужских, наполненных риском, приключениями, самоотверженностью. И – трудом, вне которого любой талант растворяется в воздухе, оставляя за собой лишь пепел сожаления в нескольких близких людях.

Кто поймёт эту постоянную загадку природы: отчего польский мальчик из ссыльных дворян Теодор Коженевский, родившийся в Бердичеве, детство которого прошло в Вологде и на Украине, в семнадцать лет бросает учебу во Львове и навсегда уезжает из Польши – в Марсель, а затем в Англию, где проходит путь от матроса до капитана, а избородив моря и океаны, становится классиком английской литературы (и мировой маринистики) Джозефом Конрадом. Почему вдруг тихий мальчик Саша Гриневский из провинциальной Вятки так страстно стремится к морю, а не имея физической возможности уйти в дальние плавания, живёт и умирает возле любимой стихии, создав романтические «Алые паруса», «Блистающий мир», «Бегущую по волнам» и войдя в литературу таинственным Александром Грином?..

Вот и Константин Бадигин, родившись в сухопутнейшей Пензе в семье отца-агронома и матери-медички, после многих перипетий и работы на стройках Москвы, в 1929 году уезжает во Владивосток, чтобы устроиться матросом на корабль. Ему повезло с первым капитаном на пароходе «Индиго», который поощрял желание юноши стать штурманом. За рейс юный матрос подготовился самостоятельно и выдержал экзамен сразу на второй курс Владивостокского морского техникума. А затем совершает и вовсе небывалое: четырёхлетнюю программу изучает за полтора года и блестяще экстерном сдаёт выпускные экзамены. На различных судах он штурманом ходит в море от Владивостока до Марселя, Гамбурга и Роттердама. Пока не попал в

Архангельск, где навсегда «заболел» Севером. И в 1933 году переезжает в Архангельск, где устраивается вновь матросом на лесовозе, и только некоторое время спустя идёт на «Юшаре» третьим помощником капитана. Да, это было жизненным кредо Константина Бадигина – всего добиваться самому, узнавая и познавая новое, испытывая изменившиеся условия на собственном опыте и своими силами. И дальше идти вперёд с новыми знаниями и профессиональной уверенностью.

Настоящий звёздный час пришёл к Бадигину, когда с октября 1937 года три ледокола – «Георгий Седов», «Садко» и «Малыгин» – начали свой вынужденный дрейф на севере моря Лаптевых, а в марте 1938-го на мостике «Седова» заболевшего капитана сменил молодой штурман, бывший до этого старшим помощником на «Садко». На этом ледоколе он участвовал в походе к Земле Франца-Иосифа в научной высокоширотной экспедиции.

В конце лета, в августе, к дрейфующему каравану пробился ледокол «Ермак», которому удалось вывести из ледового плена два ледокола, оставив в океане «Седова» из-за поломки рулевого управления. Ледокол под командованием Константина Бадигина продолжил вынужденный, но оказавшийся очень ценным своими научными изысканиями дрейф и вместе со льдами пересёк весь Центральный Арктический бассейн и был вынесен в Гренландское море.

Дрейф продолжался два с половиной года. «Седов» не только повторил всемирно известный дрейф норвежца Фритьофа Нансена на «Фраме», но прошёл ещё ближе к Северному полюсу и пробыл там вдвое дольше. Надо отдать должное русскому капитану, который позже в своей книге отметил: «Книга замечательного норвежца «Во мраке ночи и во льдах» была моим руководителем и советчиком на протяжении всего дрейфа. Недаром Нансен считался у нас шестнадцатым членом экипажа...». Полученные в итоге дрейфа научные данные сыграли немалую роль в развитии арктического мореплавания. Бадигину было присвоено звание Героя Советского Союза, а Москва встречала полярников морем цветов.

А капитан Бадигин, получив несколько месяцев отпуска, начал работать над книгой «На корабле «Георгий Седов» через Ледовитый океан». Позднее в «Детгизе» вышла книга Константина Бадигина «Седовцы», которой зачитывалось не одно поколение ребятшек, а для кого-то она стала путеводителем к морю и Северу.

Несмотря на соблазны и предложения после триумфа по работе и жизни на берегу и в Москве, капитан остаётся на мостике и вновь уходит в море. Во время Отечественной войны Бадигин служит в Архангельске,

помогая проводить союзные конвои, был начальником штаба морских арктических операций Главсевморпути, руководил всеми перевозками в Арктическом бассейне. В документальной книге «На морских дорогах» Бадигин удивительно точно и ярко рассказывает не только о знаменитом дрейфе («Тетрадь первая»), но и о тех рядовых моряках-североморцах – не кадровых военных, которые совершали рейсы из Мурманска и Архангельска на Дальний Восток по Северному морскому пути («Тетрадь вторая»). И даже участвовали в настоящих сражениях, как это было с экипажами ледокольных пароходов «Сибиряков» и «Дежнев», столкнувшихся в открытом бою с немецким тяжёлым крейсером «Адмирал Шеер», прорвавшимся до острова Диксон. В конце 1943 года Бадигин командирован на Дальний Восток, где водит теплоход «Клара Цеткин» с грузами в США и обратно.

Ровно тридцать лет пробыл Константин Бадигин на капитанском мостике. И в это время он заканчивает Московский педагогический институт, а затем – аспирантуру при МГУ и в 1953 году защищает диссертацию о северных русских мореходах. Эта тема забрала его полностью и стала основной в литературном творчестве. А чтобы писать о тех мореходах, что первыми прокладывали путь среди льдов на далёкий Груммант (Шпицберген), вели промысел и зимовали порою по нескольку лет, нужно было знать не только историю и уметь работать с рукописями и летописями, необходимо было вжиться в сами условия тех далёких веков, в характеры и отношения людей, в их быт и песни. В таланте Константина Бадигина литератор счастливо соединился с географом, этнографом и историком. А честь профессионала и мыслителя не может успокоиться поверхностным любительством.

Так появляются книги, уникальные по самому миру, впервые открываемому в литературе писателем: «Путь на Грумант», «Чужие берега», «Корсары Ивана Грозного», «Кораблекрушение у острова Надежды». И самое интересное, что темы, кажущиеся порой данью читательскому интересу, – вовсе не выдумка беллетриста: и в самом деле датчанин Карстен Роде, перешедший на русскую службу («Московский адмирал») наделал большого шума на Балтике, с соизволения государя промышляя каперством, – забытая страница в истории российского флота, написанная ещё до Петра.

Знание истории и этнографии помогает автору через судьбы героев показать эпоху и нравы, быт и отношения людей между собой в условиях жёстких, порою трагичных, жизнь в тундре и Сибири, знаменитый «Мангазейский ход» («Кораблекрушение у острова Надежды»). Но ещё

ранее «Корсаров» Бадигин публикует повесть «Кольцо Великого Магистра», посвященную борьбе народов – русского, польского, украинского, литовского – с надвигающимися с запада тевтонами, стремящимися любым способом закрепиться на отвоёванных восточных землях.

И, конечно же, необходимо вспомнить одно из самых известных произведений писателя: роман «Ключи от заколдованного замка». Этим ключом считал вновь заложенную крепость на острове Ситка «лорд Аляски» Александр Андреевич Баранов, известный в истории главный правитель русских поселений в Америке. В романе дана широкая панорама исторических событий конца XVIII и начала XIX веков. Средиземноморский поход Ушакова и Альпийский – Суворова, битва при Аустерлице. В Европе идёт война, рушатся империи и создаются новые, перекраивает мир Бонапарт. Но история делается не только (и, добавим, не столько) войной. Главный герой романа, опальный морской лейтенант Курков, по формальной придирке, как это часто бывает на Руси, сослан и едет через всю страну, через глухую тогда Сибирь к Тихому океану, а потом дальше – на Аляску. То была ещё не та Аляска, которую мы знаем по рассказам Джека Лондона: время золотоискателей, авантюристов и искателей форта еще не пришло. Места были глухие и мало приспособленные для жизни. Нужен был ум Баранова, его умение разглядеть сквозь туман, скрывающий будущее, перспективу, чтобы понять необходимость освоения дикого континента и создания Русской Америки. «Образ Баранова – сложный, противоречивый, – большая удача писателя. Читатель обязательно проникнется к нему симпатией, будет с интересом следить за гибкой, стремительной мыслью «лорда Аляски», порождающей поступки смелые и неординарные, но не авантурные, – пишет рецензент. – Баранов, безусловно, был человеком, обогнавшим время... был среди тех, кто умел многое предвидеть. Его благие начинания были погублены бюрократическим аппаратом империи, разбились о стиль её (империи) жизни... И образ Баранова – несомненная удача писателя».

Быть может, о своей приверженности исторической теме и её значимости для самоидентификации человека и гражданина, как и необходимости – для писателя, лучше всего написал сам Константин Бадигин: «История – самосознание народа. Былины, сказания, легенды – что это, как не специфическая форма исторических произведений, созданных по идейным и эстетическим законам, принятым в ту пору большинством? Совершенно не терплю, когда в критических статьях излагают содержание художественных произведений, тщательно, препараторски, прослеживают те или иные линии развития сюжета...

Когда писал «Путь на Грумант», то цель была единственная – обратить внимание тех, кому книга попадёт в руки, что наши предки сталкивались с различными этическими, психологическими проблемами, не менее сложными, чем те, с которыми сталкивается сегодняшний человек. Просто сами по себе эти проблемы были немного другими, а точнее – не суть их иная, а окраска, оттенки, что ли... Кроме того, достигнутое часто кажется не то чтобы лёгким, а как бы само собой разумеющимся... Открыли новый путь в мореплавании? Ну что же? Иначе, мол, и нельзя было: не могли не открыть, раз он существовал в природе... Но ведь вопрос в том, когда (и как! кем!) это сделано.

Благосостояние, условия жизни многих народов во многом зависели от того, располагала ли та или иная страна умелыми мореходами, отважными и умеющими искать новые пути в морях и океанах... Историзм мышления, умение анализировать прошлое и настоящее необходимы каждому грамотному человеку. Без этого невозможно проследить закономерности развития общества в целом, понять не только то, откуда мы пришли, но и то, куда мы идём. Древние греки говорили, что философия – мать всех наук. Верно. Но так же верно и другое: история, знание её – основа, фундамент современного мышления».

Константин Бадигин долгие годы был председателем Комиссии по морской художественной литературе, редактировал ежегодник «Океан», возглавлял секцию маринистики в Союзе писателей. В 1960 году Константину Сергеевичу Бадигину, всё ещё не порвавшему с морем, было поручено организовать в Калининграде, где в то время уже появились литературные группы и объединения при газетах в районах и области, отделение Союза писателей, что он сделал успешно, сумев привлечь нескольких талантливых литераторов, но от секретарства отказался, предоставив это место более молодому Илье Жернакову.

Произведения К.С. Бадигина печатались в журналах, неоднократно переиздавались.

Книги Константина Бадигина переведены и изданы во многих странах: «Путь на «Грумант» выходил в Китае, Японии, КНДР, в Румынии и Венгрии, в Германии и Польше. «Седовцы» – в Англии, Болгарии и Польше, «Покорители студёных морей» и «Три зимовки во льдах Арктики» – в Чехословакии, Румынии и Польше.

В 1988 году в Москве издательство «Детская литература» выпустило четырёхтомное собрание сочинений писателя.

*Сборник «Калининград литературный», 2002 г.,
Ж-л «Параллели», 2010 г.*

И МОЯ БОЛЬ

Леонидас ЯЦИНЯВИЧЮС (1944–1995)

Земля на самом деле круглая: мы столкнулись с Леонидасом в переулке многомиллионной Москвы через год после Высших литературных курсов. Он только что купил билет в Канаду, чтобы навестить своего старшего сына, а в издательстве «Советский писатель» уже брошюровалась его большая книга романов и повестей «Помни начало» в добротных переводах. Мы просидели всю ночь на кухне моих родственников, выпили всё, что возможно, включая боржоми и крепкий кофе, перелистали в разговоре, кажется, все для нас значимые книги от Платона до Маркеса и Платонова... Был 1988 год, ещё ничего не предвещало того бессмысленного полураспада Союза, но в том, что Литва должна стать государством, мы были согласны безспорно... Мы расстались с уверенностью в новых встречах, нас разделили шесть тысяч километров, но легко соединяли телефонные звонки и газетные новости. И – память о дружбе, подарившей мне запахи жасмина под окном квартиры и смех десятилетнего его сына Миндаугаса, кафушки старого Вильнюса, озёра Тракая и музыку картин Чюрлёниса в его родном Каунасе.

Было естественно, что Леонидас, с его темпераментом боксёра и свободомыслием художника, вошёл в «Саюдис» и редактировал обновлённую «Литературную газету» в Вильнюсе. Неестественным был его трагический одинокий уход и забвение, в которое погружается та литература, что заставляет читателя думать. А Леонидас Яцинявичюс был именно таким писателем, с редким умением соединить в своей прозе психологизм и лирику, иронию и гротеск. И боль за человека, тратящего свою единственную жизнь на суету и мелкие страсти... Талант этот раскрывался не только в прозе, но и в его пьесах, киносценариях.

Он рано и сразу стал писать зрелые рассказы и повести, что для прозаика редкость. Уверен, в библиотеках стоят его книги

новелл и повестей «Город великан-малыш», «Щавелевое поле», «Меняю образ жизни», романов «Чай в пять утра» и «Помни начало», где с удивительной нежностью и тонким проникновением в психологию подростка, написана история зарождающейся любви и трагедия краха её под «благой» рассудочностью взрослого мира. Как уверен в том, что – добрая книга имеет свойство открываться новому читателю, читателю мыслящему и любящему язык своей земли.

ж-л «Параллели», № 2, 2008 г.

РОДИВШИЕСЯ В СВИТЕРАХ

Все слова, сказанные в связи с уходом Андрея Вознесенского, не в состоянии выразить боль утраты Поэта и Человека, жизнь и творчество которого останется мерилом Свободы, Достоинства и Чести...

Его стихи в 60-е не просто собирали сотни и тысячи слушателей в Политехническом и на стадионах, заучивались и звучали на кухнях во всех концах Союза, но – рождали веру в возможность переустройства бытия, осознание и необходимость собственного душевного взлёта и участия. Веру, которая подготовила и сделала возможным освобождения от собственных догм и рабства духа...

Я – ГОИЯ...

Я – ГОЛОС...

Я – ГОРЛО...

Андрей Вознесенский и был Голосом и Горлом поколения, был – Словом его и Песней...

Тяжело даётся это слово – «был». Да и не может оно быть приложимо к Художнику, который всего себя отдал, растратил, раздарил – и нам, живущим, и тем, будущим, что придут на смену. Он – ЕСТЬ: в Слове, в книгах, в музыке, в спектаклях. Есть и будет – в Памяти.

«Треугольная груша», «Антимиры», «Ахиллесово сердце», «Взгляд»... «Мастера», «Оза» – нужно только подойти к полкам... Ленкомовские «Юнона и Авось» и «Антимиры» Таганки...

Память... Мне сразу вспоминается ночь июня 1970-го, четвёртый час – ещё ночи, уже утра? – в Алма-Ате, когда раздался звонок и стук в дверь моей квартиры на пятом этаже... И приветственно-вопросительный лай моего дога Балта, потому что в дверях, всегда самооткрывающихся, стоял наш друг Олжас Сулейменов, а за ним... да-да: Андрей Вознесенский и Таня Лаврова из «Современника», театр давал гастроли в нашем городе... Не узнать их было нельзя, но

и узнавать без шока было сложно: такие они были... растерзанные, что ли, – у Андрея прямо на глазах вырастала на голове («кумпол менестрельский») огромная шишка, у Татьяны синяком заплывал глаз («мне ведь играть вечером!...»). «Там во дворе машина... помоги поставить», – говорит мне Олжас, глядя пса, бьющего хвостом. – «Водка есть?..». Водка была, слава Аллаху и случайности. А во дворе грузовик швартовал качественно помятую «Волгу», дважды проделавшую «мёртвую петлю» на пути из аэропорта, где Сулейменов встречал Вознесенского. И в республиканской газете уже набирались некрологи поэтам и артистам, сведения для которых донёс журналистам услужливый «узун кулак» («длинное ухо»).

А мы пили холодный арак, закусывая языками из бараньих голов, сваренных для Балта, и гости, преодолевая запоздавшие «Испуги, с пупырышками и в пухе», уже шутили о долгой жизни... Впрочем, об этой истории можно прочесть целую балладу, написанную Андреем Вознесенским сразу по следам «ДТП» – «В замедленном дубле. Посвящается АТЕ-37-70...» (Номер был именно такой, словно специально придуманный для символики, хотя год Олжаса – 36).

*...Враги наши купят свечку.
Враги наши купят свечку
И вставят её в зоб себе!
Мы живы, Олжас. Мы вечно
Будем в седле!*

Так и будет, ибо Слово Поэта, разбудивающего Самосознание человека и Совесть его, непреходяще.

Два года прошло с тех пор, как мы проводили поэта, коллегу и друга, вице-президента Русского ПЕН-клуба в самый далёкий путь. А его голос, который не однажды слышал Калининград, его стихи, звучащие здесь и в России уже более полувека, его книги останутся с нами и будут раскрываться молодыми читателями, познающими себя и время через поэзию Андрея Вознесенского.

*Мы дети «37-70»,
не сохнет кровь на губах,
из бешеного семени
родившиеся в свитерах...*

сайт Русского ПЕН-центра (Москва), 2010 г.

«В ГАНЗЕЙСКОЙ ГОСТИНИЦЕ «ЯКОРЬ»...

Удивительные в природе случаются совпадения, которые можно, при желании, счесть и символическими...

С 24 мая в Калининграде, на самом западе России, в библиотеках, школах города и области начались чтения и концерты Дней славянской письменности и культуры, ставшие уже традиционными. Память о просветителях Кирилле и Мефодии, которые дали нам азбуку и первые переводы библейских текстов с греческого, остаётся незабвенной. Этими письменами создана великая русская литература.

Что же касается символики, то пожалуйста: именно в этот день родились два русских Нобелевских лауреата по литературе из пяти. Михаил Шолохов и Иосиф Бродский. Великая проза и поэзия середины и конца XX века.

В этот день, 24 мая, в самом западном порту русского анклава Балтийске удивительно чистое небо и весеннее солнце подчеркивали яркость весенней зелени и геометричность вспыхнувших свечей каштанов. И добрые лица людей, что пришли и приехали в город к береговой гостинице «Золотой якорь». Над собравшимися гостями парят стихи, возможно данные природой человеку, как способ осознания себя в ней, в природе, и природы – в себе...

VII

Весна смотрит сквозь окна на себя.

И узнаёт, конечно, сразу.

И зреньем наделяет тут судьба

всё то, что недоступно глазу.

И жизнь бушует с двух сторон стены,

лишённая лица и черт гранита.

Смотрит вперёд, поскольку нет спины,

хотя теней в кустах битком набито.

Скорее всего, это первая дань последнему гению нашей поэзии XX века, изгнанному из родной страны и вернувшемуся многими томами книг. При отъезде поэт пишет генсеку Брежневу: «Мне горько уезжать из России. Я здесь родился, вырос, жил, и всем, что имею за душой, я обязан ей. Всё плохое, что выпало на мою долю, с лихвой перекрывалось хорошим, и я никогда не чувствовал себя обиженным Отечеством... Я верю, что вернусь; поэты всегда возвращаются: во плоти или на бумаге».

Сбылось.

Почему здесь, в Балтийске, в бывшей запечатанной крепости на море, на стене постоянного двора для командированных морских офицеров, появилась мемориальная доска? - С шаржированным автопортретом «Рыжего», как звала Бродского Анна Ахматова. «Рыжего» - еще и «золотого», что подчеркнуто автором скромного мемориала скульптором Фёдором Морозом, лаконичной графикой самого поэта словно отторгающего пустое славословие и возвращающего к самой сути поэзии: природной гармонии и полётности души, к доброте и здоровому скепсису (что без последнего - в России?..).

Все подробности двух командировок поэта и появления поэтического цикла, позже обозначенного как «Кёнигсбергский текст», стали известны, благодаря многолетним изысканиям флотских офицеров-журналистов Валентина Егорова, увы, не дождавшегося нынешнего праздника, Александра Корецкого и Олега Щеблыкина. Встречи с друзьями Бродского в Питере, Литве, Польше, в том числе с поэтом и критиком Томасом Венцлова и нобелевским лауреатом Чеславом Милошем, дали возможность узнать не только историю появления стихов, но и душевное состояние их творца, его человеческие отношения, горькую мудрость, несмотря на возраст, и мужскую верность друзьям и своему единственному пути.

Сама история материализации памяти в скромной мраморной доске на стене «Золотого якоря», как ведётся у нас, полна саркастического трагизма. Волна шёпотов и громких протестов «возмущённых жителей» и сочувствующих чиновников (разумеется, не читающих стихов) на три года отодвинули эту дань памяти Поэту и русской Поэзии. Хоть и деньги на мемориал шли не из бюджета - откликнулась Северо-Западная лесопромышленная компания. Хоть и само звучание имени заштатного городка вплетается этим событием в поэтический ореол рядом звучащих Питера, Венеции, Парижа...

Увы нам! Провинциальная маргинальность вкупе с нынешним

отношением к собственной культуре власти делают своё разрушительное дело. Попса и циничная реклама нивелируют мысль и духовные стремления, сея вирус потребительства, никогда не свойственного России. Испокон рубль был у нас средством, но никак – целью. И был меценат, а не «спонсор»... Для чиновников Калининграда, амбициозно мящих себя ныне «Явропой», характерно именно такое отношение к культуре – вторично-потребительское. То, что оно порождает нетерпимость иного взгляда и мысли, фанатизм, варварство и вандализм, мало кого волнует. Пока...

И вот ведь парадокс: Калининград, история которого насчитывает 750 лет и Кёнигсберга, сохранил мизерное количество памятников, хотя в памяти города, волею судьбы оказавшегося в перекрестье всех дорог, остались имена блистательные всех близлежащих стран. России, Германии, Польши, Литвы. Имена филологов, просветителей, ученых, поэтов...

Когда на заре перестройки энтузиасты решили восстановить памятник Канту, это вызвало бурю протестов «патриотов», опасавшихся «онемечивания». Ныне философ словно освящает вход в университет и принимает многочисленных туристов. У знакового для города Кафедрального собора еще в советское время создан Парк скульптур, которому были подарены работы скульпторов со всей России. Здесь можно постоять рядом с Блоком, Горьким, Есениным, поздороваться с юным Петром, не очень испугаться бронзового барса, притаившегося в кустах... Казалось бы – вот он, тихий и душевный центр города. Но парк, приписанный отдалённому историко-художественному музею (у которого нет ни сил, ни средств), оказался ненужным городу. Результат: прибежище молодых наркоманов и пьяниц, пленэр ежедневно «украшают» шприцы, пивные бутылки, презервативы; у барса отпилен хвост, у Есенина разбито лицо, а после реставрации – бюст самого русского поэта обезображен несмываемыми надписями. В Гусеве, на родине просветителя и родоначальника литовской поэзии Донелайтиса, установка памятника вызвала возмущение якобы «первопроходцев», выплеснувшееся в газеты и телевидение. В ночь перед открытием энтузиасты, чьими средствами и чаяниями был сооружен бюст, были вынуждены отмывать загаженный памятник поэту. А в том же Балтийске шпага Петра спиливалась любителями цветного металла не единожды...

Казалось бы, новым насельникам этого края должно быть предметом гордости то, что земля эта была средоточием духовности мно-

гих народов. Белорусы отметили сквер нового здания университета памятником своему первопечатнику Франциску Скорине. Поляки хотят освятить пребывание здесь Коперника и Мицкевича, литовцы – поставили памятник ректору «Альбертины», просветителю и первому систематизатору и переводчику Донелайтиса Людвикасу Резе, на который собрали деньги шесть городов. Стоп: вновь протесты «ревнителей чистоты расы» – почему памятник «какому-то литовцу», когда нет памятника... Иосифу Сталину!.. Но нет памяти о следах Гофмана, Болотова, Карамзина – таких имён множество, оставивших след в мировой культуре, истории. Добрый, гуманистический, объединяющий след пути разума. А в головы местной бюрократии не приходит ничего лучшего, как на бюджетные деньги вздыбить над морем коня-тяжеловеса с Елизаветой и питейным заведением под основанием... Была еще идея у мэра выставить в центре Калининграда бюсты елисаветинских четырёх губернаторов Кёнигсберга – это при том, что никто из них не отметился особо в русской истории (разве что Василий Суворов – рождением сына), а последний – Нащёкин – и вовсе правил здесь три месяца. Понять чиновную логику конечно можно: рядом и нынешним бы, глядишь место нашлось... Хватило благоразумия или не хватило 50 миллионов...

Откуда это – пристрастие к парадным глянцевым книгам, на которые отпущены немалые средства и которые одаренные оными «высокие лица» никогда не раскроют. Откуда это равнодушие, если не сказать больше, к вневременной творческой мысли, и лакейский пиетет к заезжим «звездам» и парадным салютам с пивными реками? Миллионные траты на юбилейные гастроли при полном небрежении собственной культуры... Речи на официальном воляпюке, оцепленные улицы. Хлеба и зрелищ.

Кроме жажды управлять толпой, а не обществом, наверное, еще и зависть: свой след бездарный чиновник, даже и самого высокого облёта, способен оставить разве что в анекдоте. Поэтому никого не удивило отсутствие на торжестве скромного мемориала нобелевского лауреата ни новоиспеченного городского «голова», ни его помощников даже по культуре. Как и областных, впрочем.

Слово поэта остаётся во времени, оно возвращается из запрета, изгнания, забвения. Мелодией космического добра и разума. Молодыми прыжками в искусстве, науке – будущего России и янтарного края.

Май, 2005 г.

АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО

Ушел Александр Ткаченко, генеральный директор Русского ПЕН-центра, футболист, поэт, писатель, правозащитник, друг. Человек. Именно благодаря ему в Калининграде появилось отделение Русского ПЕНа, и Александр первым представлял его на презентации в галерее в марте 2003-го... Время... Мы виделись с ним совсем недавно, в сентябре, вот лежит у меня на столе подписанная его последняя книга, тогда ещё – из сигнальных. «Сон крымчака»... Больная и светлая, нежная книга... Последние два года он много писал, было удивительно, когда Александр находил время и, что важнее, творческий запал, при такой наполненной чужими проблемами жизни. Но для него они не были «чужими»: неустроенность, преследование инакомыслия, даже бытовые неурядицы обращавшихся к нему людей Ткаченко воспринимал как свои. Сердцем...

Неожиданная и горькая утрата. Открытость, даже – распахнутость всему доброму и красивому, честность и неприятие любой кривды, готовность прийти на помощь ценою и собственных утрат – всё это было соединено в личности Александра Ткаченко. И темперамент. И – талант поэта и литератора, который словно торопил Александра, заставлял выплеснуться на страницы книг. Отдать, раздать себя всего, без оглядки и сожалений. Талант общения, верности дружбе. Солнечный тёплый талант крымчака, которым он, очевидно, обязан той солнечной земле, его взрастившей, им любимой... Питающей всё его творчество, давшей удивительную и безоглядную работоспособность.

Мы надеялись, что он приедет 25-го на презентацию журнала в Зеленоградск, но 28-го он представлял свою, такую значимую для него, книгу. Ещё первого декабря мы созванивались, мне сейчас лишь остается сожалеть, что не смог приехать на ежегодное со-

брание, увидеться, поговорить... Посидеть, как бывало... бывало, увы. Не месяцы теперь разделяют – вечность. И это больно.

Дом на Неглинной осиротел. Мир стал на одного талантливо-го, нежного человека беднее. Это большая утрата не только для ПЕНа, для литературы и государства, но – для друзей, которых по всему миру у Александра было не сосчитать...

Книги, книги, книги – нет, Александр Ткаченко остаётся среди нас вещно и душевно.

ж-л «Параллели», № 2, февраль 2008 г.

В ПОИСКАХ СВОЕГО ЛУКОМОРЬЯ

Леонид МАРТЫНОВ (1905–1980)

Помнится, как заморозили меня строки стихов, только услышанные, кажется поначалу, по радио. Они будили неясную тоску по неведомой стороне, по неведомой блаженной встрече... «Флейта, флейта!/ Охотно я брал тебя в руки./ Дети, севши у ног моих, делали луки...»... «...Реки, рощи, равнины, печаль побережий./ Разглядели? В тумане алеют предгорья./ Где-то там, за горами, волнуется море./ Горы, море... Но где же оно, Лукоморье?/ Где оно, Лукоморье, твоё Лукоморье?»

В памяти на долгие годы словно запечаталось начало:

Замечали –

По городу ходит прохожий?

.....

Опускает он гривенник в щель автомата,

Крутит пальцем он шаткий кружок циферблата

И всегда об одном затевает беседу:

– Успокойтесь, утешьтесь – я скоро уеду!..

Один из самых философичных поэтов советского периода, Леонид Николаевич Мартынов родился в Омске, здесь учился в классической гимназии. Уже в 1920 году вошёл в группу омских футуристов, через год появились первые публикации его стихов. Позже, работая корреспондентом разных газет, в постоянном движении и поиске новых впечатлений, характеров, конфликтов, сам поэт вспоминал, что репортажи у него сначала писались стихами, а затем переписывались прозой. В предисловии к сборнику ранних стихов «Река тишина», выпущенному уже после смерти поэта, Сергей Залыгин писал: «Но всё дело в том, что Мартынов родился поэтом, и вот создаётся такое ощущение, что, если бы он умел говорить в младенчестве, он говорил бы только стихами. Конечно, Мартынов ранний, зрелый и поздний – это разная поэзия, но это

всегда поэзия и всегда поэт, причем один и тот же – тот же голос, то же дыхание, те же слух и зрение, хотя всё это, вся поэтическая природа его изменяется, но никогда не изменяет самой себе. Как в 15–16 лет Мартынов начал вести свои разговоры не только с людьми, но и со всеми окружающими его предметами мира, так и продолжал его до конца дней своих».

И никогда поэт не писал од и гимнов строю или власти, зато замечал (уже в 14 лет!): *«Суббота бегала на босу ногу,/ Чтоб не топтать воскресных каблучков...»*. Свобода во всём: в мышлении, в поступке, в жизни. Но – ответственная свобода, прежде всего перед самим собой: *«Ты этой книгой никого не спас,/ Писатель слов и сочинитель фраз...»*. С этим нелегко жить художнику, более всего в жизни не приемлющему любую ложь, ибо именно она, ложь в самых завуалированных видах, уродует жизнь и – души: *«Крупицы лжи щекочут, колют жгут,/ слеза всё пуще застилает око./ Ведь нам лгуны для этого и лгут,/ чтоб видеть не умели мы далёко...»*.

В 1928 году Леонид Мартынов едет в Москву, поступает в Литературный институт. Спустя два года выходит книга очерков «Грубый корм, или осеннее путешествие по Иртышу». Но в 1932 году ОГПУ сфабриковало дело «сибирской бригады», в которую объединили А. Анова, П. Васильева, Е. Забелина, С. Макова, Л. Мартынова и Л. Черноморцева. «Мне предъявили разные обвинения в антисоветской деятельности вплоть до пропаганды идей... завоевания Индии для присоединения к СССР». Судьба и случай порой берегут художника, чтобы он смог осуществить своё предназначение: через три месяца Мартынов из Москвы был отправлен в ссылку в Вологду: *«Сколько жизней захоронила ты,/ Сколько жизней и сохранила ты – / Много зёрен здесь перемолото/ Так-то, Вологда...»*. Вернувшись через три года в Омск, он нашёл свой город другим, переставшим быть центром художественной и литературной жизни Сибири. Родина становилась островком СИБЛАГА: *«Веет зимней глубочайшей грустью/ Снежный ветер, заметая след...»*.

Он выпускает здесь несколько очерковых и поэтических книг. Его поэтическое мышление объединяет в себе и отражает космос истории, природы, быта и сокровенных чувств человека, его, человека, кочевое сознание, ищущее рая, Китежа, своего Лукоморья... Один из сборников так и называется – «Лукоморье». И вовсе не-

понятен (но и – ясен до неминувости в виду свободы мысли и формы поэзии Мартынова) остракизм, которому была подвергнута книга «Эрцинский лес» в 1944 году.

*...Я звал вас много раз
И на степной простор,
Где никогда не гас
Пастушеский костёр.*

.....

*Делить всё, чем богат,
Я был бы с вами рад!
Но посылали вы
Сюда лишь только тех,
Кто с ног до головы
Укутан в тёмный грех...*

Статьи в газетах типа «В кривом зеркале», «В дебрях Эрцинского леса», «...Словесные выкрутасы Л.М.» надолго перекрыли дорогу в печать. Лишь уже в 60-е выходят книги «Первородство», «Голос природы», «Людские имена», «Лукоморье», «Во-первых, вторых и в-третьих» и др. К читателю приходит наконец поэт для серьёзного разговора, для осмысления мира и себя – в нём... Талант поэта и трепетная чуткость к слову позволяют ему к русскому читателю привести созвучные ему стихи английских, венгерских, литовских (Э. Межелайтис), польских, французских поэтов.

Слово не умирает, умирает душа человека, который не умеет слышать Слово – любви и сопричастности самой жизни...

ж-л «Параллели», № 1, 2007 г.

ЕГО САРКАЗМ БЫЛ ТИХИМ И ОПАСНЫМ...

Лев ЩЕГЛОВ (1932–1996)

Мы прилетели в город Шевченко на Мангышлаке. Я из Алматы, Лев Щеглов – из Москвы. Было такое учреждение при Союзе писателей – Бюро пропаганды – по путёвкам которого литераторы (в основном, члены СП) выезжали на встречи с читателями на заводы, стройки, буровые, в совхозы и прочие трамвайно-троллейбусные парки по городам и весям необъятной родины «победившего социализма». Конечно, в итоге он победил сам себя, так и не наступив до сих пор.

Но тогда был 1978-й год, десять лет прошло, как в Праге успешно защитили танками этот самый социализм, тунейдцев и прочих отщепенцев рассортировывали кого за сотый километр от столицы, кого в ссылку под Архангельск или вовсе за рубеж всеобщего счастья, а кого и в Мордовию на лесоповалы – «широка страна моя родная» и деленок для рабов не счесть...

И всё же власть, как всегда бывало и будет, дряхлая, а человек обретал достоинство и понимание невозможности «светлого будущего» во лжи и дозированной мысли. Мысли, а с ними и сомнение в этом самом грядущем благоденствии, растекались по кухням в анекдотах, звучали в песнях Высоцкого, Галича, Окуджавы, Висбора, наполняли кислородом души чистотой поэзии Беллы Ахмадулиной, Новеллы Матвеевой, горечью стихов поэтов-фронтовиков, заставляли взглянуть на жизнь глазами писателей-«деревенщиков» Фёдора Абрамова, Виктора Астафьева, Валентина Распутина... многих, чьё слово, совесть и талант прорывали усталую плотину цензуры. И был читатель. Или – слушатель. Уже отзывчивый на боль, уже внимательный к собственной жизни. Его, читателя-слушателя, алкающего талантливого и честного слова, было тогда значительно больше, нежели писателей. И читатель этот умел слышать между строк, умел проецировать боль и надежду – на себя...

Вот в это время на Мангышлаке, в заполненном почти тысячеместном зале Дворца нефтяников мы встретились с поэтом Львом Щегловым. У меня только что вышла книга «Вожаки», но говорил я не о ней, а о значимости слова, о месте человека в природе и его самоубийственном варварстве. А Лев, уже издавший несколько книг, печатавшийся на 16-й полосе «Литературки» («12 стульев») был маститым поэтом, да и выглядел, как истый поэт: большой, широкоплечий, с огромным лбом и дремучей бородой, у него и голос слышался набатным даже без микрофона. И читал он без выпендрёжа, просто и точно, открывая залу стихи и смысл, а не себя. Потому, естественно, у зала, заполненного геологами, нефтяниками, строителями, монтажниками, придерживалось дыхание, когда он читал:

*Нажимай на педали,
Жми в бескрайнюю даль –
Там тебя, в этой дали,
Ожидает медаль.
Если ноги устали,
Лбом педали бодай.
Остальное – детали,
Остальное – педаль!*

Позже – встречи в подвальчике «Дна» ЦДЛа на Герцена (теперь Б. Никитская), где Льва, как и многих хороших и безденежных писателей можно было увидеть в любое время дня от «захода до заката». Здесь, на фоне исписано-изрисованной автографами живых и ушедших знаменитостей стены, встречались, спорили, дрались и мирились московские и наезжие литераторы. Здесь всегда кто-то кому-то наливал, а у доброй и всех знающей Люси в буфете можно было взять в долг графин водки, под запись, и продолжить слушать стихи. Именитые приходили в сопровождении только что открытого длинноногого таланта, студенты литинститута потихоньку обихаживали мэтров и редакторов, никого не смущал ни дым, ни споры, ни жёсткие строки стихов, ни «абсцентная» лексика... «Когда б вы знали из какого сора...»

*Это часто слышится,
Видно, правда в этом:
«Пишется, как дышится
На земле поэтам!».*

Множество услышится
Истин в этой фразе.
Пишется – как дышится!
Но в противогазе.

Лев приезжал в Алма-Ату, жил подолгу, переводил очень много местных классиков и просто хороших поэтов. Мы с ним сблизились от кратковременной его вражды до душевной дружбы: в разное время мы любили одну женщину, с которой мы остаёмся друзьями посейчас. А когда он понял, что у него была ревность к тени, все барьеры на дружеском пути отпали. И мне было радостно и больно получить посмертный сборник его поэзии «Стихи из чемодана», который издала-таки его жена Людмила. Стихи и в самом деле явились в печать из многопудового чемодана, Львом набитый «под завязку» рукописями, скопившимися за жизнь. Уже больным и сознающим короткость оставшегося дыхания, он вручил чемодан Людмиле, чтобы увезти из Москвы, где они пропали бы в одинокой квартире... А стихи Льва Щеглова вызывали не только смех, но колыхали разум и будили самосознание и необходимость перемен. Его поэзия, конфликтная, лиричная и гротескная, вновь пульсирует энергией бунта и любви. Он, как и все мы ещё живущие и помнящие, дождался их, перемен жизни и даже самого социума. Но – каких?.. Увы, как бы не пришлось сызнова доставать тот противогаз...

Альм. «Параллели», 2012 г.

«ТОСТ БЕЗМОЛВНЫЙ»...

Валентин ЗОРИН (1930–2003)

Судьба любого человека, а художника – тем более, всегда сложна, жизнь же Валентина Зорина, родившегося в Ленинграде, была изначально осложнена, словно испытывая талант на выживание: его отец, работавший в Смольном, был репрессирован в 1934 году - «без права переписки». Мальчишка пережил блокаду, был вывезен из истощённого города и вылечен от дистрофии в Ставропольском крае. А в пятнадцать лет поступил в школу юнг Черноморского флота, по окончании которой работал на кораблях ЧФ матросом, машинистом, мотористом, позже служил в ВВС механиком. По сложившимся изначально обстоятельствам (причастности к репрессированному) получить систематического образования он не смог, однако его природной памяти, любознательности и начитанности могли бы позавидовать многие интеллектуалы... При том, что «баловнем судьбы» он не был до самого конца, жизненные обстоятельства постоянно ставили барьеры, которые нужно было преодолеть. Утрата матери, потеря жилья и библиотеки во время абхазского конфликта, долголетняя болезнь жены, размолвки с сыном. Страх и желание одиночества. Молча и без жалоб. Преодолеть... Не только, чтобы выжить, но – творить. И – раздавать себя: без оглядки, наотмашь...

Зорин стал репортёром городского радио в Сочи, затем 20 лет работал корреспондентом городской газеты и краевой. С 1952 года в газетах стали появляться рассказы Зорина. Затем – первая повесть «Голубое утро», вскоре перепечатанная столичным издательством «Молодая гвардия». Моряк в юности, молодой писатель и рассказывал о море, это было понятно. «Зюйд-Вест», «Слоны Брамапутры», «Юнги», «Матросы» – все эти повести, выходящие отдельными книгами, как и рассказы, публиковались в популярных сборниках, журналах и альманахах: «На суше и на море», «Популярный круг», «Уральский следопыт», «Кубань». И первая повесть,

изданная в Калининграде (Зорин переехал сюда в 1977 году), «Повелитель случайностей», рассказывала о «морском» периоде жизни Александра Грина, хотя это была уже скорее историческая книга, что и отметили «Вопросы литературы» в 79 году.

Всех, кто знал Валентина Зорина, всегда удивлял, если не сказать – поражал, круг его знаний и интересов: повести приключенческие и детские («Долгие каникулы», «Всадник с золотой трубой»), роман «Заложники», детектив «Усмешка Будды», романтизированные биографии поэта-декабриста А. Одоевского, художника И. Айвазовского, пьеса «Особый объект «Z»... Впрочем, «всеядность» Валентина, за которую его порой упрекали критики, была лишь следствием отпущенного природой таланта, основным признаком которого была неуспокоенность и вечный поиск. Поиск истины, поиск себя в истине, поиск красоты в человеке и его предназначения в этой жизни. Его неуёмная фантазия, пришпоренная энергией истинного «трудоголика», заставляла Валентина пробовать себя в самых неожиданных жанрах и делах: стихи и скетчи для эстрады, ТВ-новеллы и мини пьесы, в которых сам порою выступал и как актёр, куклы в исторических и сказочных одеяниях, которые он раздаривал, коллажи и рисунки для собственных и чужих книг... А еженедельным (!) детективным рассказам «Виктории Катран» на полосах «Стража Балтики», которых за несколько лет наберётся на добротную книгу, позавидовал бы сам Жорж Сименон!

И вот калининградские читатели получают историко-приключенческие романы в серии «Янтарного сказа» «Тайны старого города»: «Корона отступника» и «Телохранитель королевы». Позднее Средневековье, Реформация Мартина Лютера и последний великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт; период Наполеоновских войн, Кёнигсберг времени королевы Марии-Луизы. Столь же удачными случились и три последние книги Валентина Зорина: «Альбрехт I Прусский» (дублированная здесь же на немецком языке), «Паруса судьбы» – о жизни и творчестве прославленного русского живописца Ивана Айвазовского, и «Сага о Сигурде» – сказочная повесть по мотивам раннесредневекового германского эпоса, Все они касаются разных времён и разных народов, но объединяет их одно: стремление автора воссоздать мир, в котором живут и действуют герои произведений.

Умение быть разножанровым – в «Саге о Сигурде» проза сменяется стихами с внутренней мелодикой легенд, как их пели скаль-

ды давней эпохи, – и это придаёт увлекательному повествованию дополнительные краски. Необходимо отметить, что это не шаблонный язык квазилитературы, наводнившей книжный рынок, но тщательная работа со словом, заставляющая читателя вспомнить и научиться уважать родной язык. Оставаясь верным себе, Валентин Зорин неизменно продолжает писать и для прессы; уже написана новая повесть-фантазия для «Запада России», пишется роман о Э.-Т.А. Гофмане...

Писатель находился на творческом взлёте, его вклад в культурную и общественную жизнь Калининграда замечен и неоспорим.

А в портфеле издательства уже набранный роман «Печать Великого магистра», который станет своеобразным подарком 750-летию нашего Города...

Он словно торопился успеть что-то досказать, доделать, довершить. Участвовал в редакции «Молодых голосов» и альбома «Из России – в Россию». Его рассказы, рецензии, шуточные стихи под многочисленными, им самым забываемыми, псевдонимами печатались во многих газетах, его появление в редакциях и писательской организации всегда приносило добрую улыбку, а порою и совет, подкреплённый энциклопедической памятью, не изменившей Валентину до конца. И это при том, что жизнь далеко не баловала его, поочерёдно испытывая его на верность, на дружбу, даже на здоровье. Он и при тяжелой операции находил силы шутить над собой, словно раздавая своё жизнелюбие.

Казалось бы, можно успокоиться – 26 книг сами говорят о востребованности писателя и осуществлённости отпущенного Богом таланта. Но... кто теперь напишет «Досужие мысли» в «Страже Балтики» или «Записки долгожителя» – в «Калининградке», замолчит «Боцман Дудка» и лихой водитель «Бардачков»... Кто расскажет о путешествиях и самых неожиданных встречах, кто за ночь создаст очерк или переведет с немецкого или польского, а то и с румынского, ошеломив в переводе и собственной фантазией!..

Ещё накануне Нового года, словно предвидя свой уход, Валентин присылает «к столу» коллег-писателей шуточные стихи, за которыми ощутимы все его мудрость, интеллект и – доброта. Грустно это, хотя и неизбежно. И остаётся поучиться мужеству писателя, сумевшему прожить с достоинством, и уйти – не отягощая мир причитаниями. Читая эти строки сейчас, с ещё большей отчетливостью понимаешь, что мы потеряли доброго друга и советчика, а культура

– фантазийного художника, материализовавшего Слово. Впрочем, счастье художника в том, что он оставляет после себя людям – книги, картины, музыку. А значит – живёт. В нас и – с нами.

И мне хочется, чтобы эти последние строки Валентина Зорина остались хотя бы здесь, в этой книге. И – в памяти...

Новогоднее послание к столу!

О, братья славные по цеху!
Вам – эти честные слова:
не станет в этом вам помехой
в хмельном круженье голова!

Вы все на годик старше стали,
но, это, верю, не предел.
А я – в бесхмелье и в астрале,
и, как в СИЗО, надолго сел!

Под звездами ничто не ново.
И вот, свершив круговорот,
судьба Василя Кочнова
меня, вполне возможно, ждет!

Алмазы требуют огранки-
уменья надобно и сил...
смешно признаться:

лишь по пьянке
я все ошибки совершил!

Спасла, наверное, натура,
и в горе не неся вреда -
единственно, литературе
не изменял я никогда!

И самый верный в жизни тезис:
конечно, водка не вода...
желаю: пейте, сколько влезет,
но не спивайтесь, господа!

Я – не мудрее, хоть и старше,
люблю погреться у огня,

но праздник,
ставший общим нашим
чего-то холодит меня...

и сходимся-то в кои веки,
и то в расчете на бакшиш...
но динозавр на дискотеке
не запоёт: «Шумел камыш»!

Бог видит: мне сейчас неловко,
но стисну душу в кулаке-
я ж помню: Снегов на тусовках
сидел тихонько в уголке...

мы только собственные роли
играем: он, и ты, и я, –
мне кажется, что за застольем
сидят все прежние друзья...

За окнами январский ветер,
а утром будут сниться сны...
и нет ни зависти, ни сплетен,
и все по сути мы равны!

У каждого талант огромный,
и в каждом собственная статья...
так вот: за это тост безмолвный
Я с вами рюмку рад поднять!

29.12.2002

(16 января 2003 г.

Валентин Зорин ушёл в самое
далёкое, вечное плавание).

«Калининградская правда», январь, 2003 г.

КУПИТЕ ФИАЛКИ...

Конрад ЛОРЕНЦ (1903–1989)

В своё время, служа егерем в горах Тянь-Шаня, пришлось мне столкнуться с проявлением человеческой жестокости, диктуемой алчностью и полным отрицанием морали... Да, да – той самой морали, как внутренней гармонии человека с окружающим его миром и – с самим собой.

Было такое: за голову убитого волка платилась премия в сто рублей. Добыть матёрого хищника задача вовсе не простая, многие знают по картинам и по рассказам о загонных охотах на хищника, красных флажках (хотя род пёсжих – дальтоники, а флажки служат лишь знаком присутствия человека и ощутимой угрозой), улюлюканье загонщиков под истеричный лай своры собак. Но вот браконьер, или такой же алчный егерь-лесник, находит логово волчицы, где копошатся четыре-шесть сосунков, из которых, конечно же, спустя полгода-год вырастут всё те же хищники. Но за голову волчонка премия не сто, а двадцать пять рублей.

Что делает *Homo sapiens*, на всякий случай оглянувшись? Нет, он не опасается ни волчицы, ни матёрого, ни прибылых волков, участвующих в воспитании щенков. Они не будут защищать или просто отвлекать от логова своего заклятого врага, в отличие от малой птицы, что изобразит хромоту или бескрылость, «вызывая огонь на себя». Тысячелетнее противостояние человеку выработало у волка инстинкт «понимания» – взрослые надёжней продолжают свой род...

И не на себя нарушитель лесной тишины оглядывается – хотя и знает оценку предстоящему деянию. Так, на всякий случай – нет ли свидетелей. Затем по одному вытаскивает пищущих щенков из норы и методично... перебивает им лапы. Швыряет назад, в скулящую кучу. Всё. Он придёт за ними через полгода, зная, что мать-волчица перенесёт всех подранков в новое укрытие, что вся волчья семья будет выкармливать инвалидов сколько угодно времени. Он придёт, чтобы взять «взрослые» головы и получить...

считайте сами – сколько!.. Попутно он спокойно и метко уложит гиганта-оленья с набухшими пантами, и бросит ненужную грудку мяса, вырубив только молодые рога. И не усомнится – выстрелит – если на его пути встанет «моралист» с попыткой помешать деянию этого «венца природы»...

Возможно, на мой уход в егеря повлияла встреча с будущим лауреатом Нобелевской премии Конрадом Лоренцем. Пишу «с будущим», потому что премию он получил в 1973 году, а «встреча» (разумеется, заочная, через его рассказы) произошла с автором книг «Кольцо царя Соломона» и «Человек находит друга» за несколько лет до знакового признания ученого Конрада М. Лоренца Нобелевским комитетом. Это позже я узнал, что премия была присуждена в номинации «по физиологии и медицине» - «За открытия, связанные с созданием и установлением моделей индивидуального и группового поведения животных». Но я вовсе не удивился бы, коли эту премию автор многих книг получил бы за свой литературный талант, за Слово сострадания и тревоги о самой жизни на этой нашей планете, угрозе которой – и, прежде всего, жизни собственного вида – предстаёт «самое совершенное создание природы». Человек. Мы с вами, так стремительно и самонадеянно вырвавшиеся из этой самой Природы...

Видимо, не без влияния опять же К. Лоренца появился подзаголовок одной из моих книг – «О людях и других животных», – вызывавший яростный протест досужих критиков, обиженных подобным «сближением». Как, впрочем, влияния ещё целого ряда писателей, не замутнённых амбицией «хозяина», «владыки» или даже «преобразователя», начиная с Д. Лондона и Л. Толстого (вспомним «Холстомера») и заканчивая Ф. Моуэтом («Не кричи «Волки!») и Дарреллом, К. Паустовским и Ю. Казаковым.

Конрад З. Лоренц жил и работал в австрийском городке Альтенберг, ставшем известным многим читателям его произведений. Впрочем, деятельность биолога и учёного, пристально вглядывающегося в природу, ищущего открытия тайных связей в природе и законов жизни созданных ею организмов, очень часто звала его в дорогу. Он работал во многих странах Европы и Америки, а в 1940 году стал профессором психофизиологии «Альбертины», Кёнигсбергского университета. В конце 1941 года, увы, Лоренц был мобилизован вермахтом и служил в тыловом госпитале в Позна-

ни младшим врачом. Миновать действующего фронта ему не пришлось: «провоевав» во фронтовом госпитале несколько месяцев, в 1944 году под Витебском он был взят в плен, репатриирован из России в 1947 году. Когда ему, уже популярному писателю и учёному (в СССР вышли огромными тиражами книги «Кольцо царя Соломона», «Человек находит друга», «Год серого гуся») кто-то из русских учёных-коллег предложил приехать на конгресс биологов в Москву, суля фурор появления столь популярного автора, Лоренц «с грустной улыбкой отказался, сказав, что он «уже бывал в России» (В. Соколов, Л. Баскин, «Природа» № 7, июль 1992 г.). Но если судить по его дальнейшим трудам, отрицательный опыт войны, выживания в самых «нечеловеческих» условиях вражды и лишений дал ученому новый стимул познания глубинных законов природы. И достучаться – при всей нашей самонадеянной «особости» – до разума людского и осознания нами множественной зависимости поведения человека от этих законов, гармонизирующих существование всех живых организмов на планете. И самого его, Homo sapiens'a, выживания, как вида...

Литературные произведения Конрада Лоренца, его талант рассказчика и внимательный взгляд биолога-натуралиста, миллионам (без преувеличений) читателей не просто открывали увлекательный мир внутривидовых отношений и даже характеров животных, но многих людей – особенно живущих в городах – неожиданно вводили в мир неизведанный, будили чувства непонятной ностальгии по чему-то утраченному. А у кого-то порой вызывали и агрессивное неприятие, оскорбляясь «излишним очеловечиванием», вольным или невольным экстраполированием моделей поведения животных на человеческую особь. А по сути – внутренним раздражающим ощущением вины и страхом перед последствиями своего разрыва с природой.

Вот в этом и проявился гений ученого и писателя Конрада Лоренца, вставшего у истоков этологии – науки о поведении животных и человека, модели которого вырабатывались условиями природы путём обучения с последующим генетическим закреплением в инстинктах. Открытия, благодаря которому оказалось возможным многое объяснить и даже предсказать в поведении не только человеческого индивидуума, но и всего сообщества, его общественной организации.

Здесь уместно привести цитату из очерка К. Лоренца «Агрессия»:

«...В символе Древа Познания заключена глубокая истина.

Знание, выросшее из абстрактного мышления, изгнало человека из рая, в котором он, бездумно следуя своим инстинктам, мог делать всё, чего ему хотелось. Происходящее из этого мышления вопрошающее экспериментирование с окружающим миром подарило человеку его первые орудия: огонь и камень, зажатый в руке. И он сразу же употребил их для того, чтобы убивать и жарить своих собратьев. Это доказывают находки на стоянках синантропа: возле самых первых следов использования огня лежат раздробленные и отчетливо обожжённые человеческие кости. Абстрактное мышление дало человеку господство над всем вневидовым окружением и тем самым спустило с цепи внутривидовой отбор... В «послужной список» такого отбора нужно, наверно, занести и ту гипертрофированную агрессивность, от которой мы страдаем и сегодня. Дав человеку словесный язык, абстрактное мышление одарило его возможностью передачи над-индивидуального опыта, возможностью культурного развития; но это повлекло за собой настолько резкие изменения в условиях его жизни, что приспособительная способность его инстинктов потерпела крах.

Можно подумать, что каждый дар, достаемый человеку от его мышления, в принципе должен быть оплачен какой-то опасной бедой, которая неизбежно идёт следом.

На наше счастье, это не так, потому что из абстрактного мышления вырастает и та *разумная ответственность человека* (*курсив мой – В.К.*), на которой только и основана надежда управиться с постоянно растущими опасностями».

Какими же опасностями чревато человечество?

Если бы вам, городскому жителю, пришлось как-то забрести в затерянную в горах юрту чабана, или в таёжное зимовье промысловика, да хоть в избу отдалённой от городской суеты деревни, наверное удивила бы та открытость и вполне искреннее радушие, с которым вас накормят и напоят чаем, с интересом и сочувствием расспросят о родственниках и детях, поведают свои заботы и радости, при необходимости и ночевать оставят. Лишь бы ты вошёл с раскрытой ладонью.

Разумеется, такое внимание удивит и может вызвать недоверие

в искренности человека, который почти не знает, да и не очень хочет знать, своих соседей в многонаселённом доме. В автобусе, в метро, даже в концертных залах в этих мелькающих и стирающихся лицах мы уже не в состоянии разглядеть и ощутить близость и общность. В этой скученности скорее появляется желание закрыться, абстрагироваться, не реагировать на раздражения. И чем сильнее это скопление людей, тем большее равнодушие и ощущение угрозы оседает в душе. Вовсе не случайно, что именно в такой сутолоке среди бела дня происходят грабежи, насилие, убийства под упрятанные глаза и торопливую побегку прохожих, чуждых друг другу.

Ещё в 1968 году ученые, писатели, общественные деятели, интеллектуалы многих стран объединились в «Римский клуб», озабоченные всё более глобальным отрывом человека от природы, безоглядной её, природы, эксплуатацией в угоду всё растущим потребностям «прогресса». Убеждение, что «природа неисчерпаема», что лишь человек может регулировать, «покорять» природу и использовать её, не считаясь с законами её развития и гармонией взаимозависимости её жизни.

Вспоминается безумная идея «поворота северных рек», пока еще не осуществлённая, но несомненно способная по осуществлению вызвать катастрофу уже не отдельного региона. Как это произошло с озером-морем Аралом, некогда богатым промысловой рыбой, оживлявшем бескрайние степи вокруг, а ныне – обмелевшая лужа, догнивающие среди песчаных барханов рыболовные суда, целые селения, брошенные жителями, пустыня...

Но быть может самая необратимая потеря в этом отрыве человека от природы – это утрата, атрофия эстетических и этических чувств, для которых необходима подпитка души естественной красотой окружающее среды, как и красотой созданной человеком культуры.

И эта разрушительная душевная слепота к прекрасному усугубляется всё растущим безоглядным потреблением, на алтарь которого бросаются все силы – физические и духовные – теперь уже человечества.

Лоренц удивительным образом отмечает, как изменяется со всё более изощрённой современной «цивилизацией» само отношение человека к жизни; его желание с помощью современных технологий избежать любых «неудовольствий», современный «комфорт»

становится настолько всеобъемлющ, что мы уже не замечаем, насколько мы от него зависим.

В своей работе «Восемь смертных грехов человечества» Конрад Лоренц рисует почти апокалипсическую картину гибели, пути к которой мы сами старательно прокладываем собственной безответственностью по отношению к будущему, разрушая связи не только с природой, но и с созданной тысячелетиями культурой, вмещающей в себе коллективный опыт проб-ошибок-удач...

И хотя Гегель в своё время уже констатировал, что «уроки истории учат нас, что народы и правительства ничему не учатся у истории и не извлекают из неё никаких уроков», однако обращение к разуму, а может быть – к чувству самосохранения и страха, заложенным ведь природой в человеке, оставляют надежду. Но основой этой надежды становится накопленная культура и та энергия мысли, что даёт возможность самосознания и последствий поведения. А ещё человек обрёл такой важный душевный орган, как *совесть*, данный ему небом во спасение самоистребления... Увы, этот аппарат так часто и старательно подвергается атрофии, что так и не стал инстинктом безусловным...

В этой связи, мне хочется вспомнить проект, который я года уже несколько лет назад подавал в Шведский институт: отдельное издание (для начала – на русском языке) «нобелевских» речей лауреатов по литературе. Приобщение мыслям, тревогам и убеждениям великих людей планеты, выделенных Нобелевской премией, самого широкого круга читателей могло бы стать еще одним аргументом в защиту и подтверждение разумности «Венца природы».

И не лишним будет вновь процитировать Нобелевского лауреата Конрада Лоренца в «Резюме», которым он заканчивает работу «Восемь смертных...»:

«Мы рассмотрели восемь различных, но тесно связанных причинными отношениями процессов, угрожающих гибелью не только нашей нынешней культуре, но и всему человечеству как виду.

Это следующие процессы:

1. *Перенаселение Земли*, вынуждающее каждого из нас защищаться от избыточных социальных контактов, отгораживаясь от некоторых в сущности «не человеческим» способом, и, сверх того непосредственно возбуждающее агрессивность вследствие скученности множества индивидов в тесном пространстве.

2. *Опустошение естественного пространства*, не только разрушающее внешнюю природную среду, в которой мы живём, но убивающие и в самом человеке всякое благоговение перед красотой и величием открытого ему творения.

3. *Бег человечества наперегонки с самим собой*, подстёгивающий гибельное, всё ускоряющееся развитие техники, делает людей слепыми ко всем подлинным ценностям и не оставляет им времени для подлинно человеческой деятельности – размышления.

4. *Исчезновение всех сильных чувств и аффектов вследствие изнеженности*. Развитие техники фармакологии порождает возрастающую нетерпимость ко всему, что вызывает малейшее неудовольствие. Тем самым исчезает способность человека переживать ту радость, которая даётся лишь ценой тяжких усилий при преодолении препятствий. Приливы страданий и радости, сменяющие друг друга по воле природы, спадают, превращаясь в мелкую зыбь невыразимой скуки.

5. *Генетическое вырождение*. В современной цивилизации нет никаких факторов, кроме «естественного правового чувства» и некоторых унаследованных правовых традиций, которые могли бы производить селекционное давление в пользу развития и сохранения норм общественного поведения, хотя с ростом общества такие нормы всё более нужны...

6. *Разрыв с традицией*. Он наступает, когда достигается критическая точка, за которой младшему поколению больше не удаётся достичь взаимопонимания со старшим, не говоря уже о культурном отождествлении с ним. Поэтому молодёжь общается со старшими как с чужой этнической группой, выражая им свою национальную ненависть. Это нарушение отождествления происходит прежде всего от недостаточного контакта между родителями и детьми, вызывающего патологические последствия уже у грудных младенцев.

7. *Возрастающая индокринируемость человечества*. Увеличение числа людей, принадлежащих одной и той же культурной группе, вместе с усовершенствованием технических средств воздействия на общественное мнение приводит к такой унификации взглядов, какой до сих пор не знала история. Сверх того, внушающее действие доктрины возрастает с массой твёрдо убеждённых в ней последователей... даже в геометрической прогрессии... Эфффекты, уничтожающие индивидуальность, приветствуются всеми,

кто хочет манипулировать большими массами людей. Зондирование общественного мнения, рекламная техника и искусно направленная мода (даёт рычаги) капиталу и чиновникам... держать массы в своей власти.

8. *Ядерное оружие* навлекает на человечество опасность, но её легче избежать, чем опасностей от описанных выше семи других процессов.

Явлениям обесчеловечения, рассмотренным в первых семи главах, содействует псевдодемократическая доктрина, согласно которой общественное и моральное поведение человека вообще не определяется устройством его нервной системы и органов чувств, выработанным историей вида, но складывается исключительно под действием «кондиционирования» человека в течение его онтогенеза той или иной культурной средой».

В заключение, вспоминая историю с волчатами в начале эссе, пришла на память притча, произошедшая в Спарте и ставшая прецедентом права.

Десятилетний мальчишка, сын известного человека, подбил ворону, поймал её. Потом деловито выколол птице глаза и «отпустил на волю». Когда сорванца застали на этом «деянии», собрался совет старейшин и приговорил виновного сбросить со скалы в пропасть при полном собрании народа. *«Если бы убил, охотясь, это нормально. Но, выколыв птице глаза, он стал опасен обществу»* – звучал приговор.

*«Нобелевский день в Калининграде»,
Сборник эссе, 2010*

ЛЕС СОСТОИТ ИЗ ДЕРЕВЬЕВ...

Истина, даже становясь привычкой, истиной быть не перестает: лес – это наше здоровье, это кислород, дыхание Земли. Сколько бы ни говорили о пользе древесины, о том неоглядном количестве производных, что получает и хочет получать от дерева человек, – это уже потом, это вторично. Первое и основное — кислород, чистый воздух и чистая вода, отсутствие пыли, тишина.

Жизнь... Это главное, что дает лес планете Земля.

Туманно-морозный день прижимает к асфальту испарения города. Прохожие торопятся домой с работы в тепло квартир. А плечистый красивый парень не торопился, и это было естественно: перед ним стояла девушка. Парень же будто парил в воздухе, он отбросился всем телом на обынделевую березку и раскачивался вместе с деревом, и говорил, и смеялся. Раскачивался, пока не хрустнул замороженный ствол деревца. Хрустнул выстрелом, криком – парень оказался на земле вместе с тонким стволом. И – хохотал парень безмятежно, и отряхивался с хохотом от снега, и уходил, отбросив ногой ствол деревца с дороги, уходил с девушкой – всё так же хохоча и не оглядываясь. Береза была всего на десять лет младше его. И она могла бы жить вместе с ним. Но она погибла, и смерть её никого не остановила...

Не с такой ли легкостью перешагиваем мы порой через истину, забывая причины, делающие эту истину – аксиомой? Но оттого, что она становится повседневной, привычной и расхожей, значимости истина не утрачивает... Лишь мы теряем, освобождая себя от чувства удивления, от внимания и сострадания, стирая обыденностью – чудо. Утрачиваем собственные связи и корни, собственное дыхание, собственную – жизнь...

Детские впечатления – самые яркие, самые устойчивые и памятные. Быть может, розовощеким пацаном этот хохочущий над поломанной березой парень смотрел на бульдозер, деловито расчищающий сад под строительную площадку. Смотрел на убийство деревьев глазами бульдозериста, прораба и других взрослых «дя-

дей», как на дело естественное, ничего не значащее... Быть может, те «дяди» и не задумывались над дальними и неосвязаемыми последствиями равнодушного хода гусениц, подминающих под себя дерево, не задумывались, что, строя что-то важное сегодня, нельзя разрушать свои главные, вечные связи. Что на месте загубленного дерева, сада, леса, даже не желая того, идет иной посев: зла и равнодушия к жизни. И этот посев взрастает рано или поздно. Скажи сейчас тому парню, что не глядя переступил через сломанную березу, скажи ему: вот так – походя – убив дерево, он убил часть себя – не поймет, еще покрутит пальцем у виска.

А ведь одна автомашина, проходя тысячу километров, берет у природы столько кислорода, сколько требуется одному человеку в год. И тому водителю, что раздавил под колёсами несколько деревьев и придумал себе при этом оправдание «моё дело маленькое – мне приказали, я исполнил», между прочим, тоже необходим кислород... А при сжигании тонны угля потребляется кислорода столько, сколько необходимо на год десяти человекам.

Все это возместить и восстановить призвано дерево. Каждое отдельное – любое! – дерево, которое представляет собой сложный организм, миллионами лет эволюции совершенствующийся, многими десятками, а порой и сотнями лет вырастающий. С телом, подобно нашему, из клеток состоящим; с телом, что рождается, живет, дышит, питается, размножается, болеет, растет и умирает.

Живёт. Живёт, чтобы дать жизнь всему живому вокруг себя. И умирает, помогая жить другим. Человеку, без которого оно, дерево, тоже не может существовать. Оленю, волку, дрозду, муравью – всем живущим, бегающим-плавающим-летающим-ползающим, для которых и благодаря которым дерево – живет... Понимание и сбережение этой жизни, как и любой другой, веками составляло моральное здоровье человека. И, быть может, самая важная сейчас для нас задача – вернуть себе удивление и радость перед этим чудом и этой единостью жизни.

...Как-то, готовя телепередачу, в седьмом классе одной школы мне пришлось провести своеобразный конкурс. Был поставлен вопрос: «Какого зверя или птицу ты хотел бы иметь у себя?» Иметь – по желанию, безо всяких ограничений: если бы разрешила мама, соседи, учитель, не было бы никаких препятствий, позволяли бы размеры квартиры, двора...

Ответы, как и ожидалось, были очень разные, причудливые и возбуждённые: слона и лошадь, пантеру, медведя и дикобраза, беркута и удава... И – как ожидалось! – никто из ребят не назвал животных, что доступны, всегда рядом, жизнь которых не менее интересна и наблюдение за которыми помогает порой сделать открытие, не обнаруженное и в дальнем путешествии. За примерами подобных – пусть не всегда больших, но всегда обогащающих новым знанием или новым чувствованием – открытий далеко и ходить не надо: они только что прошли перед нами в прочитанной книге, во внимательном взгляде во двор из окна.

В тот же раз не услышали мы ни желания иметь скворца, что может привязываться к хозяину и отвечать ему нежной преданностью, подобно собаке (во Франции есть даже выражение – «скворец – собака бедняка»); ни ежа или черепахи, воробья, рыбок, даже жаб, о красоте концертов и мелодичности хоров которых дети не подозревали, хотя весенним вечером услышать их можно даже в городе. И полезность которых (как мы любим оправдывать чьё-то право на жизнь этой самой «полезностью»!) никак не соотносится с той суеверной брезгливостью, воспитуемой взрослыми в собственных детях, порой возводимой до мнимого и опасного права – уничтожать...

Даже извечная мечта мальчишек – «учёная овчарка» – почему-то поблекла перед предоставленным неограниченным выбором. Лишь одна девочка упрямо, преодолевая стеснение перед буйной фантазией одноклассников, бормотала: «Кошку... Никого, кроме Муськи, мне не надо». Было очевидно, что даже столь рядовое имя своему, по каким-то причинам неявленному другу девочка придумала давно. И добавила: «Я ухаживала бы за ней, жалела...»

Вот что радостно было услышать, вот самое ценное, самое естественно-человеческое: жалеть и ухаживать... Чувство это не может прийти от страха и неуверенности своей в природе, чувство это рождается силой и добротой, которую возвысила природа человека в себе — до хозяина и заботливого друга.

Наверное, это очень легко: увидеть по телевизору гибель носорога, услышать жалобу больного льва — и пожалеть их. Тем более, что твоего личного участия в судьбе этих далёких зверей не требуется, а на экране всё так красиво и необычно, хотя на самом деле и там жизнь наполнена борьбой, страданием, противоречиями. Но ребенок непричастен к этим страданиям, мы даже оберегаем его

от них, а значит – и от сострадания: «не бери лягушку – от нее бородавки; ах, эта кошка не чистая, собака может укусить, и в кусты не лезь – наколешься, вдруг там змея!»... Вот перед телевизором – все необычно и стерильно. Настолько далеко и отвлечённо, что уже и забывает человек – откуда же он родом.

Просто и легко – остаться непричастным, пожалуй мимоходом, без усилия. И, нимало не задумываясь, выстрелить из рогатки по синице, которая привычна, но которую (ах, знать бы!) орнитологи привезли издалека. И тревожились — приживется ли, и радовались — живет, поёт не хуже скворца, личинок всяких вредных в несколько раз больше уничтожает! То, далекое, на экране — оно не болит собственной болью, оно не жалуется под дверью на свою беспомощность в большом мире: запросто можно избавиться от доуки и выбросить на улицу щенка или котенка, в котором ещё несколько дней назад души не чаял: надоел... Тем более, что мама не против: грязи в квартире меньше и беспокойства.

А что вместе со щенком скулящим утратил ребенок крупницу доброты и ответственности за чью-то жизнь, утратил токи бескорыстия и дружбы, крупницу уважения к жизни вокруг, что эти утраты раз за разом всё более невосстановимы, что несут они через годы ущербность и в человеческих отношениях — об этом мама ещё вспомнит не однажды, и всплакнёт, удивляясь невниманию великовозрастного дитяти. А все мы — часто ли задумываемся?..

Утренний молочный туман поднимается над лесом, еще не очнувшимся ото сна. Влажные лапы елей гасят первые утренние шорохи и первый солнечный луч. А тропа уводит всё выше, выныривает из тёмно-зеленого сумрака на высокогорную луговину, уже распахнутую солнцу, уже звенящую первым жужжанием и стрекотом, уже задышающуюся обилием воздуха и света. И речка пузырится бело-голубым стремительным потоком — вниз по округлённым камням. И сходятся к ее замедленным излучинам тропы и тропинки водопоев: всех принимает, всем утоляет жажду чистая вода... Вниз, вниз, вниз – там тоже нужны ее чистота и свежесть. Но и здесь, где еще дрожит розовый воздух, принимая в себя травяные выдохи, всё реже – следы копыт, когтей, подушечек, крыльев, всё чаще – шрамы бутылочные, бумажные, объедошные. Шрамы пожелтевшие, съезжившиеся, оплетенные травой: природа, будто стыдясь, пытается закрыть наш срам. И вовсе свежие руб-

цы – кострище, свернувшиеся побурелые листья подлеска, истекающий бесполезными соками пенек, вот свалка полиэтиленовой дряни рядом с развороченным муравейником...

Вот большой и донельзя исковерканный плакат, которым лесники напоминают гостям о той искре, что способна обратить эту доверчивую лесную гармонию в чёрную пустыню. Исковерканный плакат: бессмысленно и тупо свернут, изрезанное (стеклом, ножом, топором?) лицо человеческое (нарисованное, но ведь - человеческое же!) продырявлено дробью - чью душевную темень, чей страх он принял на себя, этот плакат? Эта втоптанная трава, эти бессильные, вянущие под деревом ветки с недозрелыми плодами-семенами? И взламывает голову мысль: «Сейчас – плакат с человеческим лицом и добрыми словами, позже...» Когда же, в чём утрачиваем мы ощущение единства с природой, куда ведет недоброе наше противостояние с ней, неумение услышать тихие жалобы её? – Природы, что не делится и не делит детей своих на «полезных и вредных», что составляет человеку «окружающую среду» – и здесь, и там, и на Тянь-Шане, и в Сахаре, и в Кордильерах, и на Балтике, отравляемой отходами человеческой глупости и мерзости, – складывается из частных жизней и смертей, из отдельных выдохов и вдохов, из единственных болей и радостей...

И вспоминается, как бывалый таёжник, потомственный промысловик прибинтовал надломленную ветку к стволу: это в тайге-то! Он мог неделями ночевать у костра, десятками километров скрадывать след, но выпускал из ловушки «прибылую» самку соболя, потому что знал: жизнь не должна прерываться. Он знал лес, жил его законами, и тайга принимала его, давала ему всё для жизни, как и поколениям прежде. Куда уходят добрые законы наших кочевых предков, осознававших свою неразрывную связь с природой, своё место в ней: уходишь с зимовья, оставь запас дров, соль и спички; встретил путника – накорми ужином, быть может ты видишь его в последний раз; встретить гостя открытой ладонью – завтра ты также можешь остаться один: не плюй в воду – ниже по течению также испытывают жажду?.. Эту извечную мудрость поэт назвал в ЮНЕСКО «планетарным мышлением», и это бы осознание прежде всего прививать в школах мира – вот единственный путь от угрозы терроризма, довлеющего над XXI веком.

Всё больший отрыв от корней природы, незнание и полужнание её законов и связей человека с ней, ограждение и стерилиза-

ция даже тех минимальных контактов, что даёт ребёнку общение с домашними животными, с деревьями, птицами, цветами несёт с собой неуверенность и знание утилитарное, потребительское. Нет понимания – нет сочувствия и сострадания, не привиты, не внушены они – рано или поздно оборачивается эта неуверенность бессилием, которому сопротивляется как единственный аргумент, единственный способ самоутверждения – враждебность и злоба. Слепая, тёмная, ущербная – мстящая. Вот только месть та оборачивается – себе...

...А речка несет свои бурлящие воды вниз. Туда, где вливается она в городское искусственное озеро, где над озером поднимается раннее хрустальное утро, где ещё тихо и безлюдно, где песок весело брызжет из-под босых ног девочки-восьмиклассницы и лап её четвероногого друга-пуделя. И речка журчит приветливо – всех принимает, всех примиряет чистая вода её, пусть уже и не такая чистая, как там, наверху, до протекания по человеческим задворкам... Примиряет? Журчание реки не в силах перекрыть крик двух, только что подошедших, солидных дяди и тёти, что не видят ни поднимающегося розовеющего солнца, ни сонной, чуть колеблемой вливающимся течением воды озера. Страх за своё удобство, за своё место, на которое никто и не претендовал, давно закрыл от них и спокойствие и красоту окружающего. Они скрипуче и грубо выговаривали девочке насчет того, что «давно пора всю эту дрянь лохматую перевести на бойню, чтоб не засоряли белый свет». И меркло утро в глазах девчушки, и пропадало журчанье реки, и вопросительно-непонимающе заглядывал в глаза маленькой хозяйке пес. А рядом валяются битые бутылки, промасленная бумага, кружатся окурки и всякий мусор «цивилизации»...

И мне припомнились другие «радетели»: они не тратили слов, они просто врывались во дворы села и на глазах у детей стреляли собак. И считали себя правыми... И было семь часов раннего сельского утра. И кто-то из детей, плача, собой прикрывал своего лохматого Шарика, уже не слыша ничего насчет «поразводили здесь...». Вот за этих детей можно было бы быть спокойными. Но взрослые не всегда могут понять и принять урока, который несёт в себе естественная доброта детства.

Как часто забывается, что воспитание – процесс двусторонний. Что лишь тогда он может быть действенным, если, воспитывая, научая, мы сами учимся видеть мир глазами восторженными

и сочувственными. Если и для себя принимаем вопросы, лишённые практицизма. Если и в себе растим и поддерживаем ту доброту, без которой мир невозможен, мир враждебен и сер. Если мы доверяем и доверяемся.

Я открываю дверь, за которой звенит предупреждающий свист ручного сурка. Как узнаёт он сразу – знакомого? Подкатывается к ногам, сжимает лапки в кулачки, заглядывает в глаза, зовёт куда-то, что и сам забыл – где. Но ему еще предстоит это всё вспомнить и познать, его дети ещё будут выглядывать опасность с бутана, хотя это уже другая история...

*Мы здесь пробудем
до утра,
И мой сурок со мною,
А завтра снова
в путь пора,
И мой сурок со мною...*

Эта старая песенка бродячих савояров, артистов и ярмарочных предсказателей судьбы, у которых сурок вытаскивал желаемым билетика «на счастье», и нас может позвать в дорогу: в увлекательное путешествие по своей земле, к встречам и открытиям, за которыми не всегда нужно ехать за тридевять земель. Надо только уметь взглянуться в эту жизнь вокруг, взглянуться, удивиться и – понять.

Кто-то выходит утром и смотрит на розовеющее в небе облако. И видит в том облаке летящего лебедя, или пенную морскую волну, или паруса манящие – неважно что. Каждый своё видит, но тот, кому открылся этот мир, непременно захочет отдать его. Отдать, подарить в улыбке встречному, соседу по автобусу, сослуживцу.

А кто-то вообще не смотрит в небо и листьев шелестящих не слышит, и настроение попутчика ему неприятно и подозрительно... Душевная глухота – неважно, на кого она распространяется: на жизнь дерева или собаки, птицы, цветка или кошки, незнакомого ли прохожего, – глухотой к ближнему своему проявится. И пройдет такой душевно глухой человек по жизни, так и не осознав, что жизнью он земле обязан и благодарным должен быть ей, как матери. Пройдет потребителем, сломав посаженное кем-то дерево, не оглядываясь, оставив шрам на земле и в чьей-то душе, подорвав чью-то веру в доброту и отзывчивость человеческую. Потребите-

лем чьих-то усилий, чьей-то радости, чьего-то – да, да – кислорода... Пройдет без благодарности и умения удивляться, проживет – не живя.

«Пустяк – ветку сломал...» Пустяк – походя разворошил муравейник, ерунда – костерок развёл. И рядом – «подумаешь, нежности!»: угловато в душу ближнего наступил. И не помнится уже, а может, и не зналось, что жизнь – целостное космическое явление, что в современных масштабах собственное произвольное «хочу» и «могу», произнесенное где-то в Южной Америке при превращении девственных джунглей в пахотные земли, катастрофически влияет на климат и окружающую среду... Северной Америки, которая уже сейчас дышит за счет «чужого» кислорода. Собственное «хочу» и «могу», даже прикрытое позой или сиюминутной выгодой, какой-то «спасительной» необходимостью, неминуемо откликнется самому человеку: недостатком ли кислорода, нервами, ответным ли безмолвием природы, чёрствостью ли ближнего. И «пустяк» оборачивается трагедией, не человека – людей. Где-то в интересах «сегодня» – срубили лес, и не смогла больше удерживаться, покатила вниз вода, унося с собой камни, хлынула лавина, запрудила реку, преградив путь мигрирующей рыбе, которую утратили рыбацкие птицы, — цепная реакция начальной глухоты потребителя. Цепная реакция, которая несёт изменение миру, людям... Очередной, пусть и медленно-тихий Чернобыль.

И эти изменения – следствие той глухоты и душевной сытости, что ничего не родит, кроме пустоты и равнодушия. Подросток, обокраденный чьим-то выстрелом по птице, обойдённый вниманием и состраданием, теряет уважение к самому великому чуду - жизни, – тот парнишка, нимало не задумываясь, повзрослев, выльет добытую нефть, как еще бывает – «за нехваткой резервуара», в наспех вырытую яму или просто на землю рядом с посадками, иссеченными песчаной бурей, но уже зеленеющими на небогатой воде, и убьёт эти деревца в оживлённой людьми пустыне, а заодно и саму пустыню, а заодно и воду, уходящую в море, а там и – море. Как страшно было видеть снимки обугленных чаек, когда затонул танкер в Ламанше! Но это было несчастье, на которое откликнулся весь мир. А один килограмм нефтепродуктов способен отравить миллионы (!) литров воды. И – отравляет. Потому что бесплодна глухота души... Есть удивительно мудрая восточная пословица: «Куча песка не станет камнем, толпа рабов не станет народом». Так

кто же мы, «покорители» и «властители», живущие днём и удовольствием единым?..

И всё же хочется верить – несть меры добру человеческому! Оно не имеет границ и восходит добром: зеленеют деревья там, где ветер нёс один песок, бегут тысячные стада животных, которые недавно исчезали с лица Земли, берутся под охрану растения, звери, птицы и рыбы, которым нелегко устоять перед меняющимися условиями. Всё больше людей вновь вглядываются в природу, узнавая своё родство с ней, осознавая свою ответственность за нее.

Вглядывается человек – и всё больше понимает, что жизнь – любая жизнь! - вне зависимости от кажущейся «пользы» или «бесполезности» имеет своё место и назначение в целостной природной системе, создаваемой миллионы лет. И он, человек, лишь часть этой взаимозависимой системы, самая разумная, самая деятельная, но – часть. И потому, обладая разумом, человек несет в себе и ответственность за все живое. И прежде чем вмешиваться в мир, создавший человека и его окружающий, прежде чем изменять его и преобразовывать, необходимо – познать. Чтобы, беря в одном месте, знать – как же отзовется это на всей цепи многочисленных и гармонических связей.

Рубя дерево, помнить, что из таких – отдельных и разных – состоит лес. Впрочем, это касается и самих людей: человечество в состоянии выжить, лишь осознав самоценность каждой – единственной! – личности.

*«Есть ли Будущее к настоящему»
(Сборник статей), Москва, 2010*

ОТ СВЕДЕНБОРГА И СТРИНДБЕРГА – К БЕРГМАНУ...

«И к тому же я выбрал... мотив, который в общем-то далёк от современных политических конфликтов, хотя и тема социального восхождения или падения, конфликт высокого или низкого, лучшего или худшего, конфликт между мужчиной и женщиной были, суть и будут представлять неизменный интерес... Мои герои современны, они живут в переходное время, время эклектичное, истерическое... поэтому персонажи охвачены сомнением, расколоты, в них черты старого и нового...»

А. Стриндберг, «Предисловие к «Фрёкен Жюли»

Удивительно, однако о своём ближайшем соседе на северо-западе мы знаем до обидного мало. Зачастую достаточно свободно ориентируясь в культуре (и даже жизни) Франции, Англии, Италии или современной Америки, почему-то именно близкая Скандинавия остаётся таинственным «белым пятном», удивляющим порой несоответствием малых возможностей, определённых месторасположенностью, и больших достижений в самом укладе жизненном, в разумной естественности бытия. Подобный феномен сходен с нашим удивлённым взглядом на Японию. Её, Швецию, кстати, порой и называют «северной Японией»...

Возможно, эта обособленность продиктована почти островной географией и своеобразием шведского характера, в немалой степени обусловленного суровостью природы и многовековым упорством в борьбе – не за покорение, нет – за равноправное сотрудничество с нею... Отсюда и гордость своей независимостью, проявленной в самодостаточности, отсюда и выбор именно лютеранской церкви и морали, диктующей простоту и скромность, демократичность и жёсткий нейтралитет в поли-

тике, отсюда и внешняя замкнутость, легко открывающаяся сочувствию и доброте...

Есть ещё одно немаловажное обстоятельство, на мой взгляд, которое дало возможность шведам сделать своё государство таким, каким мы его видим (и которым, видимо, грезим ещё со времени «зова варягов на княжение»). Что же это за обстоятельство, которое, видимо, точнее назвать чертой, если угодно – характером нации? Мне кажется, природа и история (которые далеко не всегда милостивы) определили опыт, воспитуемый и осознанный почти каждой личностью. Обладать достоинством, но не агрессивным; преуспевать в экономике, но и не навязывать себя в качестве эталона; быть терпимым и гостеприимным, но при этом бережно сохранять свой уклад и традиции; относиться внимательно к личности, но и чтить порядок. И главное обстоятельство, которое способствует такому «набору условий», это – память. Умение сохранять память не просто как ностальгический атрибут, но как носитель опыта, вне осмысления которого будущее – лишь набор новых ошибок. О памяти в культуре нам ещё придется говорить.

Возможно, именно близость к природе заложила в каждом шведе неослабеваемый интерес к самым малым изменениям в ней. Сами условия жизни сделали их внимательными созерцателями и настойчивыми путешественниками: во многих шведах живёт Линней и Тур-Хейердал, как заметил один внимательный писатель «швед, в отличие, например, от русского, француза или итальянца почти наверняка в свободное время предпочтёт полевой бинокль театральному, чтобы понаблюдать за более интересной балетной премьерой – свадебным танцем журавлей»...

И на этом благодном «ровном» фоне порой вдруг вспыхивает молния личности, посверк которой способен озарить мир. Словно народ накапливает в себе энергию, чтобы затем выплеснуть в мир эту энергию – гением. Подобная северному лету – эта явленность гения бурная, долгосветлая, обильная – дальше эпитетов можно нанизывать согласно фантазии, но это всегда отдача, раздача себя всего без остатка, до самозабвения, до самозабвения... И что тоже не менее удивительно – все деятели такого уровня удивляют многообразием самовыражения и широтой интересов: если это не наука, то музыка или искусство.

Великого шведского писателя-мистика **Эмануэля Сведенборга** (1688–1772 гг.) Борхес назвал визионером. А Хорхе Луис Борхес,

просеявший через себя тысячи лучших книг, знает, что говорит. «Этот одинокий и незаурядный человек был многими людьми. Он не пренебрегал ремёслами, ещё юношей он выучился на переплётчика, столяра, часовщика, наладил изготовление линз и научного инструментария. Ещё он рисовал карты для глобусов. А кроме того, не надо забывать, он занимался разными естественными науками, алгеброй и новой астрономией Ньютона... Он предвосхитил небулярную гипотезу Канта-Лапласа, спроектировал летательный аппарат и подводный, предназначенный для военных нужд. Ему мы обязаны способом измерения долгот и трактатом о диаметре луны. Около 1716 года он затеял издавать в Уппсале научный журнал, который красиво назвал «Daedalus hyperboreus» («Дедал гиперборейский») и издавал его двадцать лет». Во время дерзких войн Карла XII он служил военным инженером, а от предложенной королём кафедры астрономии он отказался из-за отвращения к занятиям чисто умозрительным...

Сведенборг интересовался химией, алгеброй, физикой, работая в Департаменте горнорудной промышленности, издал три тома «Сочинений философских и минера логических», заседал в Сенате. Когда ему было уже пятьдесят семь лет, в Лондоне, апрельской ночью с ним произошло то, что сам Сведенборг назвал откровением. И оставшиеся почти тридцать лет жизни земной он жил тем «глаголом», что был ему ниспослан этой апрельской ночью: дух его, ведомый явившимся к нему Богом, побывал в раю и аду, говорил с демонами, ангелами и мёртвыми. На него была возложена миссия вернуть людям утраченную Иисусову веру. И все оставшиеся годы Сведенборг добросовестно протоколировал данные ему провидческие откровения. Он не стремился обрести приверженцев, издавая большую часть своих теософских трудов анонимно (например двенадцать(!) томов «Небесных тайн»), избегая полемики, метафор и силлогизмов – «достаточно сказать правду».

В своём основном и самом читаемом сочинении «О небесах, о мире духов и об аде» он излагает учение о Новом Иерусалиме, как стала называться церковь Сведенборга.

Небо и Ад у него не местоположение, которое виделось Данте девятью кругами в каждом, хотя души мёртвых населяют некое пространство и отчасти его же и создают. Вход в Рай никому не воспрещён, как никого не отправляют в Ад насильно. Удел перемещения предопределяет прошлая жизнь. Те, кто умер, не знают, что

они мертвы, им ещё некоторое время (40 дней?!) кажется, что они живут, как прежде – в той же обстановке и среди тех же людей. Затем постепенно появляются незнакомые люди. Если покойник был злодеем – ему налаживают отношения с демонами: власть и ненависть всех ко всем составляет их счастье, они живут заговорами, враньём и насилием, Сведенборг рассказывает, как однажды луч небесного света проник в адские глубины, но грешники ощутили только зловоние, узрели лишь мрак, язвы и струпья. Праведнику же дьявольские пределы предстают болотами, пещерами, развалинами, горящими лачугами, мерзкими кабаками... Ад – другой лик, обратная сторона Небес. Господь там правит, как и на небесах, а равновесие потребно, чтобы оставался свободный выбор. Между добром Неба и злом Ада. Каждый день, миг человек сам созидает себе спасение или вечную погибель. Мы станем тем, что мы есть. При этом испуг, предсмертная тоска, последнее раскаяние мало чего стоят. Но богатство, роскошь, счастье в жизни мирской вовсе не становятся преградой пути на Небо, как и быть бедным или неудачником – вовсе не добродетель. Как Будда, Сведенборг не одобряет аскетизма, иссушающего и способного человека уничтожить: в одном из небесных пределов он увидел отшельника, издавна домогавшегося Рая и в земной жизни жаждавшего затворничества и аскезы, но достигнув цели, простак открывает, что неспособен принять участие в беседах ангелов, ни разобраться в тонкостях отношений и устройства райской жизни. Ему позволили в итоге вообразить вокруг себя пустыню, в которой он и поныне, как на земле, молится и умерщвляет плоть... Ибо человек вовсе не напрасно наделён разумом и должен осмыслить за жизнь свою мир вокруг и себя в мире.

И это очень важно, ибо в учении о соответствиях, главном у Сведенборга, Ад и Небо – в самом человеке, который включает в себя планеты, горы, моря, минералы, деревья, травы, цветы, животных, рептилий, птиц, рыб, червей и насекомых, инструменты, города, дома, запахи и звуки – всё-всё, на чем может задержаться глаз и мысль, что существует «в подлунном мире»: всё это знаки – зашифрованные образы иного мира, узнав которые можно понять и даже увидеть этот высший мир. Если все вещи в Боге, то они и в человеке, который есть его земное отражение (а не наоборот – т.е. «создание по образу и подобию» не означает, что у Бога человеческий облик). Так Сведеборг приходит к понятию микрокосма или

к пониманию человека как зеркала и компендиума (средоточие, «сумма суммариус») вселенной. От каждого зависит – всё... И каждый – единственен в своём воплощении и своём выборе. Отчасти здесь можно увидеть переключку с мыслями древнего грека Ксенофана, можно ощутить и языческие корни, но это учение позитивно, ибо определяет достоинство личности и её право выбора.

Вильям Блейк, поэт и в своей поэзии философ-провидец, младший современник и протагонист Сведенборга афоризмом как бы суммирует: «Глупец не войдёт в Царство Небесное», «отриньте святость и обратитесь к уму», но при этом ещё и добавляет, что и ума, и праведности тоже недостаточно, и чтобы спастись – надо быть художником: Иисус Христос им был, ибо наставляя – не теоретизировал, а пользовался художественными приемами, метафорами, параболами, притчами...

Нравственный посыл Сведенборга и, если так можно сказать, самоответственность выбора сказался в последующем в творчестве многих художников. Идея соответствий, столь основательно осмысленная шведским философом, нашла своё отражение у немецких романтиков (Шеллинг, Гофман), у французских писателей – Бальзака, Гюго, Готье, вдохновила Бодлера на знаменитый одноименный сонет «Соответствия»:

*Природа – тёмный храм, где строй столпов живых
Роняет иногда невнятные реченья;
В ней лесом символов, исполненных значенья,
Мы бродим, на себе не видя их.*

*Как дальних отгулов прерывистая хрия
Нам предстоит порой в единстве звуковом,
Так в соответствии находятся прямом
Все краски, голоса и запахи земные.*

*Меж ароматами есть свежие, как плоть
Младенца, нежные, как музыка гобоя,
Зелёные, как луг. Другие – расколоть*

*Хотят сознание, и чувства беспокоя
Порочной роскошью и гордостью слепой,
Нас манят фимиам и мускус, и бензой.*

(Перевод Б. Лифшица)

Невольно вспоминаются не менее хрестоматийные (и покорёженные цензурой) стихи Фёдора Тютчева: *«Не то, что мните вы, природа:/Не слепок, не бездушный лик...»*

Не чуждыми этому влиянию остались и многие русские поэты-символисты и художники Серебряного века русской культуры – русского Ренессанса на переломе веков, уже предчувствующие катаклизмы человеческого сознания XX века (Брюсов, Сологуб, Хлебников, Бакст, Филонов и др.).

Знали они и ещё одного великого шведа – **Августа Стриндберга** (1849–1912 гг.).

Мир произведений Стриндберга обширен, разнообразен, порою странен и фантастичен, но всегда внутренне правдив той неумолимой, подчас жестокой правдой жизни, которую умеет показать большой художник. То самое великое в малом, космос, явленный в сознании самого незаметного человека, которые мы находим в трактатах Сведенборга, открывается в произведениях шведского классика.

Трагизм и боль многих героев Стриндберга – результат того Зла, что дано в искушение человеку. И он – вместе с автором, собственной жизнью поверяющим противоречия бытия личностного и общественного – мечется в поисках истины и опоры своего существования в этом мире.

Как бы ни благополучна была страна – в данном случае Швеция – её также не минуют проблемы, которые присущи всякому человеческому сообществу: от государственного подавления или нивелировки личности до крушения идеалов, устремлений и нравственных устоев в замкнутом пространстве семьи. Стихии несчастий, разлада с природой, отзвуки войн, социальная несправедливость и собственная инертность – всё оказывается на чаше весов человеческой судьбы в его романах, рассказах, пьесах, рисунках. Все его творения настолько пронизаны личностным чувствованием автора, что сама жизнь Стриндберга ещё при жизни мифологизировалась, в восприятии его произведений преувеличивался автобиографизм его творчества, как и преувеличивалась неуравновешенность его психики. Легенды о его декадентстве, оккультизме, женоненавистничестве сопутствовали всему его творческому пути, куда добавлялись и реальная неустроенность, неудачи личного плана, склонность к вину. Но всё это оставалось

за бортом его обширной творческой, общественной деятельности, точно и нелюбимой оценивающей действительность, полное неприятие мещанского благополучия и внешней «порядочности», за которыми скрывается бездуховность и равнодушие.

Романы «Красная комната», «Жители острова Хемсё», «Одинокий», «Слово безумца в свою защиту» поставили Стриндберга в число ведущих писателей рубежа XIX и XX веков. Социальность романов, в которых герой зачастую – пришелец, чужой устоявшемуся обществу мещан и филистёров, словно грозовой ветер врывающийся в застойную жизнь местечка и несущий взрывные идеи вовсе не обязательно разрушительного свойства, но и делового прогресса - обладает активным, пусть и противоречивым, характером, способным переломить или, по крайней мере, расшевелить и дать толчок к осмыслению болота сонного благополучия, в котором тонет всё лучшее, данное человеку богами. Автобиографизм «Слова безумца в свою защиту» не уменьшает значимости его как художественного произведения, скорее наоборот - активное вторжение в окружающую жизнь под маской безумца или шута даёт герою право жёсткой оценки лицемерия, «психологического убийства» таланта, неприятия обществом ничего выдающегося за установленные рамки ханжеского «благоразумия», за которым скрывается подлость и разврат. «Нет ничего страшнее войны посредственности с талантом» - эти слова Бальзака вполне могли бы стать эпиграфом романа. Но это ещё и роман о любви: о любви трудной и равноправной, где женщина предстаёт во всей красоте своего тела и духа. О любви трагической.

«Он стоял перед явлениями жизни, точно полководец, и ничто не ускользало от его орлиного взгляда, всё касалось его сердца, всё исторгало из души его созвучный отзвук или гордый крик протеста» – слова Горького показывают не одну значимость Стриндберга как художника, но и то влияние, что оказали его работы на творчество многих, в том числе и русских писателей.

И в этом же плане – драматургия Стриндберга, его новации в подходе к драме и театральному действию.

От ранней исторической драмы «Местер Улоф», где действие происходит в период Реформации, а главный герой - несмотря на разрываемые его противоречия, остаётся личностью непреклонной и верной принципам вопреки обстоятельствам и противодействию - способен продиктовать собственное развитие собы-

тий именно благодаря своим убеждённости и характеру, - от этой «шекспировской» трагедии Стриндберг приходит к социально-психологическим и «бытовым» драмам.

В драмах «Товарищи», «Отец», «Фрёкен Жюли», «Кредиторы» Стриндберг последовательно и точно даёт сколок разных сторон не только общества, семейных отношений, причинных связей их конфликтов и краха, но и пристально рассматривает индивидуальные черты личности, тайные «подкорковые» пружины, движущие поступками персонажей. Здесь нет возможности подробно рассматривать обширное драматическое наследие гения, остаётся отослать читателя к его произведениям, благо теперь они стали издаваться и вновь явились на сцену в России.

Интерес вызывает ещё и само отношение Стриндберга к театру, его новаторские взгляды на само сценическое искусство, оказавшееся к тому времени в тупике сложившихся традиций и устоявшихся мещанских вкусов. В этом, не правда ли, просматривается достаточно заметная аналогия с современным положением театра. В статьях «Натуралистическая драма» («Предисловие к «Фрёкен Жюли») и «О современной драме и современном театре» он выступает новым теоретиком. Он категоричен, избавляясь от персонажей-схем, где предугадывается «смешная» реплика или заведомая банальность, которой уже заранее радуется зритель. И даёт им возможность высказываться, спорить, перебивая и не слушая, «как это бывает в жизни... избегая всякой симметрии, математичности, свойственной диалогу, сконструированному на французский момент» – диалог в пьесе Стриндберга подвижен, порой взрывное развитие получает то, что лишь промельком скользит ранее – «похож на тему музыкальной композиции». Сразу вспоминается чеховское «ружьё висящее», да и сама структура чеховских драм с её неторопливым развитием и напряжённостью не композиционной или «событийной», но – нутряной, на тонком уровне почти мимической психики, явились русской сцене не без отсветов поисков Стриндберга.

Создание выпестованной в мыслях экспериментальной сцены в открытом в Стокгольме Интимном театре подвигло Стриндберга на программу новой перспективы преобразования сценического искусства, которое должно органически сочетать традиции классики, психологизм и новаторство художников. Что, возможно, не произошло бы без влияния дружбы и творчества с таким ярким

художником, как Густав Климт. Идея «камерной сцены», личного соучастия зрителя в действии, отсутствие в игре актёра «доминирующего значительного мотива», априори подавляющего или предвосхищающего действие, намеренных эффектов и акцентов, разрывающих интимное действие на сцене хлопанием кресел и ладошей, стремление, при необходимости, упразднения антракта, отвлекающего от потока сценического сознания – вот основа новой театральной эстетики. «Сердечная тайна» не может сообщаться «во всё горло»! В своих изысканиях Стриндберг предвосхитил поэтику экспрессионистского театра, наметив пути возможного синтеза художественных средств на сцене. Его поздние пьесы «Пляски смерти», «Игра грёз», «Соната призраков», в которых ещё острее высвечены конфликты между внешней видимостью и внутренней сущностью людей и явлений жизни, в которых убийственный сарказм по отношению к ловким биржевикам и всё тому же самоуспокоенному мещанству сменяется сочувствием к человеку ищущему и раздающему себя, как и болью в предчувствии грозных конфликтов, покушающихся на основополагающие нравственные принципы – любви, добра, познания и сопротивления их реализации – эта драматургия Стриндберга находит и сегодня отклик в людях мыслящих. И вновь востребована, как всё гениальное, сложенное человеческим разумом в копилку мировой, земной культуры. Как писал Александр Блок, у Августа Стриндберга «не может быть никаких наследников, кроме человечества». Многие из выдающихся художников разных стран в той или иной степени ощутили его творческое воздействие, преломляя его через свою художественную индивидуальность, интерпретируя и развивая: Пиранделло и О’Нил, Томас Манн и Кафка, Мунк, Ануи, Сартр и Олби, Брехт, Дюрренматт и Ингмар Бергман – и сегодня «играют Стриндберга»...

И – Ингмар Бергман (р. 1918 г.).

Как видится теперь, XX век – весь оказался «переходным» – с его небывалыми открытиями и столь же небывалыми войнами, с миллионными жертвами, принесёнными в жертву негодьям и пустым иллюзиям, с болезнями и угрозой самого уничтожения жизни, с оскорбительно-откровенной нивелировкой сознания квазикультурой, с публичной ложью и нравственной проституцией, с растлевающим соблазном вещей и искусственным раем наркоти-

ков. Переходным... Куда? К чему?.. Во всяком случае, столько испытаний человеческого Духа, столько соблазнов и угроз не ведало в подобных масштабах ни одно время существования человека с момента исхода Адама из райских куш.

И всему этому шабашу по-прежнему противостоит человек в единственном числе. А вся борьба, прежде всего, происходит внутри его самого – в его сознании, в его душе. «И только художник может спасти мир» – пророчески сформулировал, или перефразировал Блейка, художник Сергей Калмыков ещё в 20-е годы. Да – тот художник, что находится внутри каждого, как отражение Божественной сути.

Ибсен, Стриндберг, Кьеркегор (не знаменательно ли, что все они – с той самой «неведомой» нам суровой земли Скандинавии) провидчески ощутили зыбкость нравственных и духовных опор общества, в котором доминантой выступает мотив потребления. Бергман не просто осознал это, он сделал духовное отчуждение, разобщённость, утрату или нежелание взаимопонимания, душевную глухоту и конечное одиночество человека – главным «негативным героем» своих произведений. Сценариев, пьес, фильмов, театральных спектаклей. По большому счёту – его творчество предстаёт единой книгой, наполненной всеми земными страстями человеческими: от социальной униженности («Вечер шутов») и нравственного самоискупления, вынужденного фиглярства («Лицо»), взыскующего истины сознания («Причастие»), эмоциональной импотенции («Шепоты и крик»), ужасных метаний по нарождающемуся земному аду («Змеиное яйцо»), мук совести («Осенняя соната») и любимый ад семьи («Сцены из супружеской жизни»). Сам объём названных (и неназванных) работ Бергмана способен потрясти – это лишь в кино, а есть ведь ещё радио, телевидение, театр... И всё это смотрится и читается так, словно человек искоса заглядывает в зеркало.

И мысленно пролистывая знакомое и виденное, понимаешь, что главное достояние художника (кроме таланта, разумеется, который – Дар) – память. Память – как связующее звено между прошлым и настоящим, как материал – для будущего. У Ингмара Бергмана, к нашему счастью, нет, видимо, самого инструмента забвения: мифы и реальность, события и сомнения, конфликты и радости – всё вновь и вновь возникает, задавая всё новые вопросы и помогая нам задавать их себе.

Когда попадаешь на остров Форё (Готланд), где последние годы живёт Бергман, где его киностудия и архив, и откуда он ездит теперь разве что на постановки в Королевском театре, – словно попадаешь в какой-нибудь его фильм. Со скупыми, неброскими декорациями, с низким предгрозовым небом, со скромными фиолетовыми ягодами стелющегося можжевельника, с каменистой дорогой, уводящей в скалы, словно созданные для тишины и сосредоточения. А человеку есть много о чем подумать, пока не подошел тот час, когда думать уже будет поздно. Закончить эти, увы, довольно беглые и неспособные охватить даже мыслью «космос личности творца», заметки хочется словами другого художника, пожалуй, самого близкого Бергману по ощущению мира, по стилистике и воплощению таланта, к сожалению, так рано ушедшего Андрея Тарковского: «Искусство несёт в себе тоску по идеалу, Оно должно поселять в человеке надежду и веру. Даже если мир, о котором рассказывает художник, не оставляет места для упований».

Вспомним Сведенборга: уповать человек обязан на себя. На божественное в себе. На его поиск, осознание и – выбор. Природы в себе, себя – в природе.

«Запад России», №2 (23), 2000 г.;

Э/библиотека «Шведская Пальма», 2002 г.;

э/ж-л «Русская жизнь», 2003 г.

«ПОРТРЕТЫ, ЧИСЛА, ИМЕНА...»

Рисунки Пушкина

Удивительно, насколько бывает щедро природа по отношению к гению своего создания! Будто явленностью отдельных, штучных своих творений человеческих намечает и показывает путь к совершенству самого мира и человека – в нём. И словно через гениев своих осмысливает природа самоё себя, тяжко награждая их свободой и жаждой созидания... Чаще – вопреки времени земному и заземлённому бытованию сынов Адама. Потому и сгорают эти единственные в плотной атмосфере, подобно метеориту, но ведь и освещают, и след оставляют, и мысли не дают остановиться!

Акварели Лермонтова и Волошина, искусства Гюго и размашистость кисти Маяковского, или чёткость мысли и лёгкость слова в письмах Ван-Гога, глубина научного проникновения Гёте и так далее – оставили бы самостоятельный след в сопредельных занятиях, если бы не созидали в предназначенных сферах творчества.

И конечно же – Пушкин! Веселый Пушкин, влюбленный Пушкин, трогательный Пушкин, усталый и язвительный Пушкин – чарующий Александр Пушкин! Гениальный график, что предвосхитил линией своего рисунка, единым росчерком пера художников века будущего. Но и словно соединив пространственной живоворящей нитью наскальные знаки первых ловцов мгновения с трагедийной выразительностью и лаконичной самоотреченностью – грядущих...

Когда-то меня остановила полная движения и безоглядности фигура всадника в шляпе и бурке с пикой наперевес. Простой рисунок, за которым встает столько действия, страсти, знания. Это потом узналось, что Пушкин никогда не рисовал с натуры, что и этот, так сразу узнаваемый автопортрет с достойной долей самоиронии поэт обронил в альбоме Елизаветы Ушаковой уже по возвращении из Арзрума. А в тот момент мне просто хотелось узнать

– куда же так безоглядно скачет тот, чьи стихи я заучивал ещё с до-школы? «То ли бури завываньем ты, мой друг, утомлена...»

«Лагерная жизнь очень мне нравилась. Пушка подымала нас на заре. Сон в палатке удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским, застывшим в снегах Таврийских.» («Путешествие в Арзрум»)

«Еще не кончили мы обеда у Раевского с Пушкиным, его братом Львом и Семичевым, как пришли сказать, что неприятель показался у аванпостов. Все мы бросились к лошадям, с утра оседланным...

Не успел я выехать, как уже попал в схватку казаков с наездниками турецкими, и тут же встречаю Семичева, который спрашивает меня, не видал ли я Пушкина? Вместе с ним мы поскакали его искать и нашли отделившегося от фланкирующих драгун, скачущего, с саблею наголо, против турок, на него летящих. Приближение наше, а за ними улан с Юзефовичем, скакавшим нас выручать, заставило турок в этом пункте удалиться, и Пушкину не удалось попробовать своей сабли над турецкою башкою, и он, хотя с неудовольствием, но нас более не покидал...» (М.И. Пущин. «Встреча с Пушкиным за Кавказом»)

«Перестрелка 14 июня 1829 г. замечательна потому, что в ней участвовал славный наш поэт А.С. Пушкин... Когда войска, совершив трудный переход, отдыхали в долине Инжа-Су, неприятель внезапно атаковал передовую цепь нашу. Поэт, в первый раз услышав около себя столь близкие звуки войны, не мог уступить чувству энтузиазма. В поэтическом порыве он тотчас выскочил из ставки, сел на лошадь и мгновенно очутился на аванпостах. Опытный майор Семичев, посланный генералом Раевским вслед за поэтом, едва настигнул его и вывел насильно из передовой цепи казаков в ту минуту, когда Пушкин, одушевленный отвагою, столь свойственной новобранцу-воину, схватив пику после одного из убитых казаков, устремился против неприятельских всадников. Можно поверить, что донцы наши были чрезвычайно изумлены, увидев перед собою незнакомого героя в круглой шляпе и бурке...» (Н.И. Ушаков. «История военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 гг.»)

«Пушкин носил и у нас щегольской черный сюртук, с блестящим цилиндром на голове, а потому солдаты, не зная, кто он такой, и видя его постоянно при Нижегородском драгунском полку...

принимали его за полкового священника и звали драгунским батюшкой. Он был чрезвычайно добр и сердечен.» (М.З. Юзефович. «Воспоминания о Пушкине»)

«В лощине собрано было человек 500 пленных. Несколько раненых турков подзывало меня знаками, вероятно принимая меня за лекаря и требуя помощи, которую я не мог им подать. Из лесу вышел турок, зажимая свою рану окровавленной тряпкою. Солдаты подошли к нему с намерением его приколоть, может быть из человеколюбия.

Но это слишком меня возмутило: я заступился за бедного турку и насилиу привел его, изнеможенного и истекающего кровью, к кучке его товарищей. При них был полковник Анреп. Он курил дружелюбно из их трубок, несмотря на то, что были слухи о чуме, будто бы открывшейся в турецком лагере. Пленные сидели, спокойно разговаривая между собой... Отдохнув, пустились мы далее». («Путешествие в Арзрум»)

«От В.Д. Вальховского я узнал некоторые подробности о ссоре Паскевича с Пушкиным. Мне передавали, что когда А.С. прибыл в армию, Паскевич принял его очень радушно и даже велел поставить ему палатку возле своей ставки. Разумеется, Пушкина более влекла к себе задушевная беседа с Вальховским и Раевским... До того он рыскал по лагерю, что иногда посланные от главнокомандующего звать Пушкина к обеду не находили его. При всякой же перестрелке с неприятелем, во время движения войск вперед, Пушкина видели всегда впереди скачущих казаков или драгун прямо под выстрелы. Паскевич неоднократно предупреждал Пушкина, что ему опасно зарываться так далеко... Это всегда возмущало пылкость характера и нетерпение Пушкина – стоять сложа руки и бездействовать. Он, как будто нарочно, дразнил главнокомандующего и, не слушая его советов, при первой возможности, скрывался от него и являлся где-нибудь впереди в самой свалке сражения. После всего этого секретом еще то, что одной из главных причин неудовольствия главнокомандующего было нередкое свидание Пушкина с некоторыми из декабристов, находившимися в армии рядовыми. Говорили потом, что некоторые личности шпионили за поведением Пушкина и передавали свои наблюдения Паскевичу, разумеется, с прибавлениями, желая тем самым выслушаться». (Н.Б. Потокский. «Рус. Стар.»).

«19 июля пришел я проститься с графом Паскевичем. Он пред-

лагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий; но я спешил в Россию... Граф подарил мне на память турецкую саблю. В тот же день я оставил Арзрум». («Путешествие в Арзрум»)

«Государь император, узнав, по публичным известиям, что вы, милостивый государь, странствовали за Кавказом и посещали Арзрум, высочайше повелеть мне изволил спросить вас, по чьему позволению предприняли вы сие путешествие.» (А.Х. Бенкендорф – Пушкину)

В «ушаковском» альбоме, где поэт изобразил себя скачущим в бой, он набросал и вид восточного города с плоскими крышами и иглами минаретов. Улыбка в подписи к рисунку относилась и к всаднику: «Арзрум, взятый помощью божией и молитвами Екатерины Николаевны 27 июня 1829 г. от Р.Х.». Женская рука, скорее всего той же Екатерины, острым умом которой поэт восхищался, вставила в подпись после «взятый» – «мною – А.Л.».

Но – всмотримся в публиковавшиеся страницы рукописей и рисунки поэта на них, сразу останавливающих взгляд лёгкостью и точностью штриха, свободой линии, подкупающей и завораживающей пластикой очерка лица, точностью и единственностью взгляда, состояния изображаемого лица и осязаемого отношения к нему автора.

Т.Г. Цявловская, исследовавшая творчество и рисунки Пушкина и много сделавшая для идентификации изображенных персон, очень точно написала: «Рисовать было живейшей потребностью Пушкина. И хотя эта область искусства была для него любительством, но любитель этот был гений.»

Николай Алексеевич Раевский («Портреты заговорили», «Друг Пушкина П.В. Нащокин» и др.), не однажды рассказывал нам, насколько неизгладимое впечатление произвели на него рисунки Пушкина, когда он сумел их увидеть, возвратясь после более чем десятилетней минусинской «отсидки» в начале 60-х годов после реабилитации. Казалось, знакомые по портретам и литературе лица оживали под взглядом, продолжали жить тою своей жизнью, теми обстоятельствами и тем состоянием, в которых их застал безошибочный штрих под движением руки портретиста – поэта.

Лица, лица, лица – современники великого поэта, друзья, по которым тосковал в ссылках, и друзья, которые отбывали каторгу; женщины, которых любил и в которых влюблялся мимолётно; деятели и игроки, товарищи по пирушкам в «Аглицком клобе» и

чиновные соглядатаи, сплетники и мудрецы... И каждое лицо индивидуально, каждому присущ не только собственный характер, манера поведения, особенности взгляда, но еще и прочитываются мысли и отношение самого Пушкина в тот момент, когда рука непроизвольно воссоздает облик человека, возникшего в памяти. Сотни лиц современников, такого количества «людей этой эпохи не изобразил ни один художник, ни любитель, ни профессионал» – пишет Т. Цявловская.

А люди эти составили целую эпоху – от няни Арины Родионовны до Пестеля и Николая I... От изящной женской ножки, вставленной в стремя, до виселицы с пятью повешенными декабристами – «и я бы мог...»

И конечно же – неистощимый предмет для познания, самый необижающийся персонаж, над которым можно пошутить, шарж на которого можно даже, несколько бравируя утвердившейся некрасивостью, можно вписать в дружеский альбом, и с которым наедине можно затосковать и отметить следы уходящего времени и тяжелящих плечи и душу невзгод. Автопортрет. Кипренскому после написания известного портрета: «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит»...

Сам себе поэт не льстил никогда. Он знал себя разным: и веселым, проказливым лицеистом «обезьяном», и тоскующим от одиночества в деревне, и «невыносимо скучным», по характеристике брата Льва, «если ему были неинтересны собеседники» среди бала, и неотразимо блистающим словом и взглядом, когда влюблён, – и измученным, как-то внезапно даже и постаревшим – в конце жизни, что уже ощутимо в наброске под денежными подсчётами. Тщательно смоделированные, искусно растушёванные, безукоризненно, до живописности растушёванные, или – задорно-вызывающе усмешливое лицо щёголя под надвинутым на лоб кепи, а позже – точно переданная печаль во взгляде на карандашном наброске – всё это он, наш Пушкин.

Наверное, как ничьё из даже великих художников, не всегда и осознается то влияние на последующие изображения героев его произведений и иллюстраций его книг, которое оказал на последующих графиков в России Пушкин-художник. Именно своим гениальным лаконизмом и тем неуловимым естественным мастерством, которое дано лишь гению. Ибо даже там, где наиболее точно его рисунки поддаются определению иллюстраций, он изображает

не тип, а – состояние, экспрессию, порой не само даже действие, но – ожидание его, его предчувствие, его предвосхищенность.

Вот его Татьяна на постели сидит, подперев голову рукой, поджав под себя ноги, а волосы спадают на лицо, однако каждый волен представить себе свою Татьяну Ларину. Вот в ожидании темноты дон Гуан под деревом, укрытая плащом половина лица, а шляпа прикрывает брови. И церковные шпили, и городская стена в отдалении словно тоже ждут настороженно. Мечтательно сидящий у жаровни бес с едва намеченным видением прекрасной женщины («Влюбленный бес»). Абсолютно совершенная композиция похоронной процессии – с катафалком и возницей, священником и толпой провожающих так мастерски передает печальное движение, что другого себе уже трудно и представить... А это удивительное изящество коней!..

И это влияние, дающее, впрочем, настоящий ключ к графическому изображению состояния минимальными средствами и в них – обретение власти над линией, сказывается у всех, прикоснувшихся к поэту художников: от Бенуа и Кузьмина до Павла Бунина, Виталия Горяева, рано ушедшей Нади Рушевой.

*Быть может, в Лете же потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть может (лестная надежда!),
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!..*

«Запад России», № 1(21), 1999 г.

ЭРОС ФРАНСА ФОН БАЙРОСА

(1866–1924 гг.)

*«Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная,
твоею миловидностью!
Этот стан твой похож – на пальму,
и груди твои на виноградные кисти.
Подумал я: влез бы я на пальму.
Ухватился за ветви ее;
и груди твои были бы вместо кистей винограда,
и запах от ноздрей твоих, как от яблоков;
уста твои – как отличное вино»...*

Это – Песни песней Ветхого Завета, каждая строка которых проникнута страстью и благоговением перед красотой и естеством жизни. Впрочем, бог любви, тот самый греческий Эрос, властвовал и управлял человеческими сердцами и до прекрасной Суламифи с её возлюбленным. Могло ли быть иначе? – вне этого лукавого баловника разве могла продлиться жизнь, вне наслаждения и стремления разделить его разве явились бы шедевры духа и устремления разума?!

На Востоке значение Эроса и любовных игр его знали издревле. И понимали необходимость культуры, культ красоты, очищенной от ханжества и пошлости тайного вожделения. Индусские, иранские, китайские мудрецы одухотворяли тело человеческое, воспевали Любовь и её игры, зная, что загнанная в тёмные подвалы условностей страсть превращается в механический блуд. «Камасутра», «Ананга-ранга», «Душистый сад» – книги любви и доверительных отношений, учебники страсти и одухотворенного слияния воедино.

Искусства, как и жизни, не бывает вне эротики, вне уважения человека во всей совокупности его взлётов и падений, святости и греховности, вне стремления к гармонии тела и духа, мечты и дея-

ния, вне осознания себя частью природы и её законов. В том числе: зачатия, жизни, смерти...

Книги писателей и поэтов разных времен и народов, как и картины художников, великих и не очень, посвященные «запретной» теме, хранятся в запасниках библиотек и музеев мира, отторгаемые и вновь востребованные. И несмотря на остракизм и даже угрозы судебных процессов и наказаний, вечная тема плоти и страсти влечет к себе художников. От неизвестных авторов наскальных рисунков, от вечного Пигмалиона - до Леонардо и Рафаэля, Мантеньи, Гойи и Мане, Дега, Гогена и Сомова...

Графика английского гения конца прошлого века Обри Бёрдслея стала стержнем и одновременно лаконичным символом «последнего великого стиля» в искусстве – Модерна. Всякая эпоха несет человечеству свои «цветы добра» и «цветы зла». Модерн – изощренный, удушливо прекрасный и восторженно порочный – синтетический стиль, вобравший в себя и преломивший в себе опыт культуры и поиска творцов самых разных времен и частей света: от древних Египта и Греции, Японии и Суматры, до туманностей французского импрессионизма и немецкого романтического сентиментализма. Человечество вступило в сферу тотального влияния, искусство попыталось выстроить жизнь по своему плану и образам... Именно Бёрдслей, с его лаконичной линией, с его контрастами чёрного и белого цветов, с его самоиронией и сарказмом, сплетенных с чувственной нежностью, обнажённой жаждой обладания, повлиял на дальнейшее искусство, предвосхитил всю гамму противоречий и катастроф, нравственного поиска и душного изящества порока, красоты и безобразия, гнездящихся в самом человеке. Дал зеркало, в которое боялся и жаждал заглянуть человек. За свои метеорные двадцать пять лет жизни этот художник успел в своем искусстве всмотреться в чёрную бездну зла, подобно Фаусту, и -поднять глаза к свету космическому...

В России влияние Бёрдслея, преломлённое через славянскую ментальность, сказалось на творчестве таких художников, как Бакст и даже Врубель, Бенуа и Борисов-Мусатов, и конечно же - Константин Сомов с его капризными маркизами и сладострастными арлекинами, вожделяющими ласк, сгорающими в собственном воображении, воспаряющими в чувственности и хохочущими над порожденной ими похотью.

Самым, пожалуй, ярким последователем и приверженцем

Бёрдслея в Германии стал скандальный художник и иллюстратор Франс фон Байрос. Невольно возникают стихи Уильяма Блейка при взгляде на некоторые работы Байроса:

*Пора любви! Пора любви! И дева юная,
Томимая желаньем, в тиши своих покоев
Тайно предаётся наслажденьям;
И отрок, жарких ласк лишённый
В безмолвьи ночи, на подушке смятой,
Отчаянно мечтает о любви.*

Талантливый художник почти исключительно работал над эротическими темами (оформление того же «Декамерона» давало простор пылкой любовной фантазии не одного художника). Чопорная Европа – вспомним, даже Париж был в свое время шокирован и предавал анафеме «Завтрак на траве» Э.Мане – трудно воспринимала открытость рисунка фон Байроса шаловливому богу с предательской стрелой. Эрот немецкого художника порой довольно зло смеялся над условностями, в которых пошлость укрывалась показным морализаторством, втайне вождедея к изощрённому пороку.

Художник уже в начале XX века был вынужден всё время переезжать из одной европейской столицы в другую, ибо каждое его новое творение вызывало возмущение публики и запрещалось властями. Здесь уместно вспомнить Оскара Уайльда, осужденного на тюремное заточение за свою книгу в Англии; запрещение Джойсовского «Улисса» и Набоковской «Лолиты»; «Тропика рака» Г.Миллера в Америке и др.

Но присущая каждому крупному художнику доля иронии зачастую со временем смывает плотины, выстроенные меж запретным и желанным. Графика в её чёрно-белом воплощении имеет тайное свойство поощрять фантазию зрителя, способного не только воспринимать произведение, но будто и добавлять своего творчества к изыскам мастера. Хороший художник оставляет своему зрителю иллюзию сотворчества, со-зидания мира, в который творец вводит или поселяет обывателя.

Франс фон Байрос очень часто обращается к тому возрасту, в котором чувственность ещё только начинает вызревать. Что руководит этими первыми ростками страсти? Кто явится наставником и поводырем на этом восхитительном и опасном пути?.. Тонкое

изящество, даже изошрённость линии, едва намеченный абрис, в котором так ощутим уже учащённый пульс, вольные и невольные свидетели эротического укола – всё можно найти в творении Бай-роса, всё можно вообразить себе. Нужно только не забывать о лукавой усмешке Эрота и сарказме самого художника...

Коллекция работ из девяти эротических сценок Ф. фон Бай-роса является для нас редким собранием; уникальные и штучные копии рисунков немецкого художника конца XIX – начала XX в.в., выполненные в технике линогравюры художником Е.Гусляровым (1991 г.), собраны и воспроизведены по собраниям рисунков и иллюстраций, хранящихся в библиотеках Германии, Австрии (Вена).

1987 г.

ПРОИГРАННАЯ БИТВА НОМО LUDENS?

Необходимо поблагодарить за осуществление проекта и сегодняшнюю встречу Шведский институт и консулат королевства Швеции.

Картины художника Бу Альстрёма дают нам возможность не только знакомства с интересным живописцем, но и обращения к тем вопросам, которые он поставил перед собой. И которые ставит человеческое сообщество перед личностью, наверное, с самого начала своего существования. Перед каждым из живущих, из нас. И – перед будущим.

Проблемы войны и мира, как вечные вопросы жизни и смерти, неминуемо возникали камнем преткновения художников и философов от Гомера и Платона до Гегеля, Ницше, Толстого и современных мыслителей и историков Йохана Хейзинги и недавно ушедшего Александра Зиновьева. Человек созидающий – *Nomo faber* – за свою историю, уже и обозримую в современности, многое изменил на планете, вырвался за её пределы. Цивилизация уже обеспечила себе весьма удобное существование. Казалось бы, теперь представляется возможным заняться самым главным, зачем, видимо, и явился *Nomo sapiens*: созиданием духа, во имя которого природа (или – Бог) допустила наше появление. Чтобы через человека осмыслить самоё себя...

В своё время нидерландский философ, возможно по следам эллинов и Ницше, обосновал еще одну мысль о человеке: «если проанализировать любую человеческую деятельность до самых пределов нашего познания, она покажется не более чем игрой». *Nomo ludens* – человек играющий. Танцы, мистерии, соревнования, наконец – военные парады, как демонстрация силы и мужества – всё это ликование, экстаз и экзальтация, становится своеобразным двигателем нового деяния. К этой черте человека мы еще вернёмся. Не оттуда ли берут свои истоки соревновательность и конкуренция? Отмечу только, что и война с древности поэтизиро-

валась и обставлялась достаточно карнавально. Разрабатывались костюмы и ритуальные правила, отголоском которых может служить даже уличный закон «лежачего не бьют». И в исторических картинах ранних битв Бу Альстрёма мы легко различим элементы этой карнавальности и героики.

Но... время поэтизации «рыцарской» и «справедливой» войны, утверждения её «рациональности» как движителя прогресса и цивилизации кончилось в XX веке с явлением изощренной эквилибристики ума – глобальным оружием самоуничтожения: газовым, бактериальным, атомно-водородным... Окончательное восклицание может поставить термоядер.

Уже в искусстве Гойи (офорты «Бедствия войны»), Делакруа, Верещагина («Апофеоз войны») развенчивается любая романтика войны: холмы из черепов, под которыми билась живая мысль, и земля, усталая остывающими телами, – что этим жертвам, насильем вычеркнутым из жизни, до философских рассуждений и аргументов... И есть ещё «Герника» – как апокалипсис этой цивилизации. Есть «Предчувствие гражданской войны» Сальвадора Дали, где человек и общество раздирает самоё себя на части безоглядно и со сладострастием.

Камо грядеши? И что остановит? – «страх Адама», как надежда на всеобщее благое умиротворение? Но войны развязывают не философы, не художники и не землепашцы. «Властители» и политики разных сортов и окрасов. Нельзя не помнить, что каждая неумелая или неумная, или корыстная власть начинает своё утверждение с поиска врагов – внешних ли, внутренних. Особенно власть временщиков. Ещё в «Государе» Маккиавели учил – если нет врагов, создай их. Чтобы подвигнуть человека на войну с себе подобными необходим большой обман и внушение уверенности в окончательной победе. Разумеется, «ради справедливой цели». И каждая война объявляется единственной дорогой к вечному миру. Наш историк Ключевский говорил ещё в 70-е годы XIX века о «патриотах», готовых и свою жизнь положить «ради всеобщего счастья»: «Чтобы согреть Россию, они готовы сжечь её». Что стало итогом этого пожара, и не только в России, теперь известно. Только вот те и сами шли на костры, ныне же «руко-водители» разного толка и уровня посылают в огонь чужих детей...

В живописных полотнах Бу Альстрёма интересно проследить цветовую доминанту каждой «битвы», согласно послыу Георга

Дюби, должной стать завершением войны, и счастливым переходом к «вечному» миру. Впрочем, невредно вспомнить остроумный и, увы, горько-подтверждаемый парадокс Л. Джорджа в конце первой Мировой: «Эта война положит конец войнам. И следующая – тоже...». И Бу Альстрём в изображении ранних битв («Актиум, 31 г. до н.э.; «Агинкурт, 1415» и «Хастингс, 1066», даже «Бородино», где уже входит тревожащий серый) еще допускает присутствие голубого тона, как знака мира и надежды. И пусть красный врывается доминантой гнева, ярости и восторга победы, а померанцевый подчеркивает смелость и «правоту» каждой из сторон, еще остаётся умиротворяющая синева неба. Ибо и битва порой заканчивалась (пусть в легендах) сражением двух противоборствующих предводителей или богатырей. Или – богов. Действо почти театральное. То есть – существовала некая этика ведения войны, которая ограждала мирный люд от её пожара. Даже жестокий Тимур-Тамерлан запрещал под страхом смерти своим воинам трогать мирных селян. Пусть просто из соображений «кормления».

Но вот уже в «Марне, 1918» красный подавляется тягостным серо-тёмносиним, пронизанным отвращением и безысходностью, здесь в отчаянно раскрытых ртах солдат ощутим запах газа и рвущихся лёгких. И вожаки этого окопного мяса решают судьбы «последней битвы» вдаль, в безопасности и чистоте мундиров. И уже, как никогда прежде, набатно звучат слова Льва Толстого: «Война есть убийство. И сколько бы людей ни собирались вместе, чтобы совершить убийство, и как бы они себя ни называли, убийство всё же самый худший грех...». Апофеозом этого убийства, в которое ввергнуты уже массы и мирного населения становится картина «Сталинград, 1943»: жёсткие мазки, где все цвета смешиваются, проявляя почти черный, – страх; страх и белые выплески небытия. Какими цветами предупреждения написать последующую вскоре «окончательную битву» и гриб над Хиросимой и Нагасаки?..

Страх ли убержёт человечество от самоубийства глобальной (и ведь – уже тотальной) войны Четвёртой Мировой?

Да, именно 4-й, ибо третья мировая уже идёт или прошла – война за информационное пространство, в котором можно глобализировать одну идею и снивелировать под неё человека в «единую человеческую массу». Какова же эта идея?.. Ещё Сократ произнёс и отметил два пути развития человека: «Я ем, чтобы жить, но многие из вас живут, чтобы есть». К сожалению приходится констатиро-

вать, что жажда потребительства в этом глобальном информационном пространстве насаждается целево и становится всеобъемлющей доминантой жизни. Нельзя не заметить в последние полвека всеобщую бюрократизацию и разрушение слова и языка, почти намеренное разрушение образа, дискредитацию и вульгаризацию истории в угоду временной конъюнктуры. Это несёт неминуемо опустошение и примитивизацию духа, опустошение души, словно приуготовляемой к всеобщему удобно-туалетному рабству. Это – уже симптомы общей болезни, ведущей к самоуничтожению, и война может стать лишь закономерным эпилогом.

С начала своего общественного состояния человечество стремилось выработать идеал, благодаря которому возможно достижение жизненной гармонии. Философия, культура, религия искали этот путь совершенства и счастья человеческого бытования. Поиск этот состоял прежде всего в установлении моральных законов, способных создать условия этой всеобщей гармонии. И, казалось бы, эта связь между идеалом и моралью не должна являть противоречия между ними. Вся наша история показывает, что это далеко не так. Нарушению заповеди «поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой» искони сопутствовали хитроумные уловки в виде рецептов «всеобщего счастья», путь к которому знает только «вождь» или «партия», или «моя страна». И за это «счастливое будущее для всех» на жертвенный алтарь необходимо (и, якобы, – оправданно) положить сотни, тысячи, а затем и миллионы человеческих жизней. Арифметическая эквилибристика «вынужденными жертвами» ради правоты идеала отправляла в крестовые походы, зажигала костры инквизиции ради «спасения язычников», «расширяла жизненное пространство избранной нации» и т.д. Нельзя забывать, что каждый народ вырабатывает в ходе эволюции свой идеал жизни, порой исключаящий все иные. Угроза этому идеалу, насилие над ним неминуемо воспринимается как угроза самому смыслу существования приверженцев этого идеала. Вспомним чудовищную жестокость религиозных войн. Великий мыслящий поэт Шиллер описал одну из таких кровавых оргий, которую католическая армия маршала Тили устроила в XVII веке во время Тридцатилетней войны при взятии Магденбурга: «Жён насилуют в объятиях их мужей, дочерей – у ног их умирающих отцов. Пятьдесят трёх молодых девушек обезглавливают в церкви, куда они успели скрыться; кроаты бросают в пламя

маленьких детей и покатываются со смеху, видя, как несчастные простирают к ним с мольбой руки...». Нельзя без боли и смятения читать письма протопопа Аввакума и узнавать, как именем «бога православного» в то же самое время и на Руси сжигали сотни старообрядцев «со женами и чадами». «Против глупости бессильны даже Боги» – заключает Шиллер. Но только ли глупость? Ведь фанатизм подпитывается вполне целеустремлённо и не без выгоды для идеологов. Наверное, это самое страшное нравственное преступление – разрешённость, идеологическая оправданность и безнаказанность убийства.

Далеко ли ушло человечество от того времени? И вот теперь наконец – «торжество демократии», к благам которой несогласных, конечно же – ради их благоденствия, необходимо привести силой. Ради этого можно «на время» нарушить главную заповедь, поставив каинову печать под криком «убей неверного», «поручь идолов и им поклоняющихся» или «уничтожь диктатуру». А дальше? – каждый против всех, и все – против каждого? Мечь – оправдание раба, неспособного обрести свободу – в себе.

Увы, память человеческая коротка: благополучно забыты ковровые авиабомбёжки и их «справедливая» мечь гражданскому населению разрушением Дрездена, Кёнигсберга, взрывы Варшавы и Минска... Сегодняшняя тенденция глобализации и прокламация какой-либо стороной «единственной истины» или «защиты всеобщей демократии», во имя которых взрываются дома и бомбятся города неминуемо ведёт к новым конфликтам. Ибо кроме страха поражение несёт в себе такую силу обиды и угнетённости, на которых очередные «вожди народов» строят свою власть, чтобы восстановить «справедливость», а в беде, страданиях и унижении легче всего объединить нацию. Тем более нацию, соединяющую в себе личности сnivelированные, ведь нынешний «социальный прогресс» требует той стандартизации людей, которую называют равенством.

Страх? В своё время Маринетти прельщал молодежь войной, обращаясь не к патриотизму, не к защите очагов и даже не к личному мужеству, но – как к разновидности спорта, охоты и игры, в которой единственно можно проверить мужчину. Это обращение к силе и потреблению, которым сегодня пронизана атмосфера экрана, поп-шоу и «бестселлеров», обесценивают саму жизнь.

У страха тоже есть пределы. В этой связи не худо напомнить

восточную притчу о деревне, в которую хан посылал воинов отбирать дань. «Что они делают? – спрашивал он грабителей по возвращении. – Пытались сопротивляться, пришлось нескольким головы отрубить. – Идите, еще не всё взяли... – А теперь что? – Проклинают, рыдают, рвут волосы. – Идите вновь! – О, всемилостивый хан, они теперь пляшут, хохочут, играют в кости и любят... – Вот теперь у них нечего взять!».

Вечный спор об изначальности зла и добра в природе человека. Но внутри вида в природе животного мира каннибализм редок и исключителен. Особенно среди тех, кто оснащен смертельным оружием: хищник редко убивает себе подобных даже в борьбе за самку. (Конрад Лоренц). Существует табу – слабый имеет право подставить «яремную жилу» и уйти.

Нельзя забывать, что у человеческой войны совсем другие, не присущие природе, установки: и прежде всего это – власть и корысть (мотивированная «экономической целесообразностью»), в каких бы формах они ни выражались. Власть сегодня, а не благо и будущее – завтра. И, скорее всего, современный человек, вырастающий в обществе глобального потребления, ни в малой степени не ощущает себя жертвой. Картинками насилия и мишурой «благ цивилизации», за которые можно и жизнь отдать, почти микшируется инстинкт самосохранения. Зато семена Каиновой зависти и жажды власти падают на всё более удобренную почву. Исторический опыт показывает, как ни абсурдно это может звучать, в «последней битве» выигрывает... проигравшая сторона, ибо у победителя – больше потерь. Именно героических, жертвенных, интеллектуальных и возрастных сил. Потенциально – воспроизводящих новую жизнь. И каждая война несёт деграцию нации, какими бы фанфарами и эпитетами победа не раскрашивалась. Ибо погибают – лучшие и молодые...

Так страх или Разум, одухотворённый сознанием единственности и самоценности любой жизни – спасение рода?..

В самом начале XVI века Иероним Босх написал свой триптих «Сад наслаждений». Уже на левой створке триптиха показано, что даже в самом раю таятся первые зародыши мирового зла, в центре же – человеческое грехопадение, разгул всех семи греховных страстей, включая властолюбие, гордыню и сладострастие. В третьей – каскад адских мук, «где дьявол терзает людей за проступки, которые он же и спровоцировал». Тот самый конфликт между иде-

алом и моралью, следствием которого неминуемо явление мирового зла, подтвержденного каиновой печатью. Только дети Каина должны бы помнить, что им не выжить без детей Авеля, и что все они – смертны...

Невольно вспоминается, как человечество ожидало приход нового века и новой эры, сулящих, якобы, всеобщее благоденствие, понимание и мир... Увы нам! Столь ожидаемое единение человечество на глазах оборачивается глобализацией потребительства, почти прогнозируемым разрушением культуры и подменой её квазиискусством того же потребления. Массированный поток «бытовой» информации, картин насилия и весьма спорного успокоения теорией «локальных» войн, призванных урегулировать конфликты и «справедливым возмездием» не допустить новой, теперь уже поистине самоубийственной войны, станут очередным мифом, если не будут озарены тем идеалом Красоты, о которых говорили Шиллер и Достоевский. Имеется в виду «абсолютная красота, предполагающая создание абсолютно гармоничного общества, как абсолютного художественного произведения» (В. Бранский). Никто не может спорить, что прежде чем решить духовные проблемы (нравственные, эстетические, мировоззренческие) необходимо решить проблемы утилитарные – элементарного выживания. Но наша цивилизация это спокойно в состоянии бы разрешить, если бы не ставила во главу угла эту гонку потребления – ради потребления. Гонку, неминуемо ведущую в пропасть, уготованную ей философией чистого рационализма, если угодно - утилитаризма. Но абсолютная красота, «которая спасет мир», не приходит со стороны, а «оказывается продуктом развития, или самоорганизации, самого мира». Только в разумном соотношении духовного и утилитарного прогресса возможен реальный выход человека из тупика. Как остроумно отметил автор «Искусства и философии» В. Бранский, «красоте незачем спасать мир, ибо нет спасения от красоты» – той самой, что зовётся Жизнью...

Именно поэтому важно место художника (в самом расширенном значении этого понятия) в общественной жизни каждой страны. Его внимание к своему Дару (как – к подарку, который еще предстоит осмыслить и осуществить) и, если угодно, ответственной жертвенности за этот дар. Его – художника – обращение к душе и совести, которая, по выражению Фёдора Достоевского, «есть единственное отражение Бога на земле»... А художник и есть

– боль совести человеческой. Обращение и сохранение единственности культуры и традиций каждого, самого «малого» народа. Раскрытие красоты самой жизни и творческого поиска прежде всего каждого – никогда и ни в какой иной жизни неповторимого (эту единственность и неповторимость каждой жизни – от травинки и черепахи до человека внушал еще в V веке до н.э. грек Ксенофан) в своей уникальности! – индивида по имени Homo sapiens...

Иначе мы эту игру и битву проиграем. Мы – как осмысленная часть Природы. Но – именно часть!

И шведский художник Бу Альстрём свою озабоченность судьбой цивилизации талантливо и выстраданно выплескивает на холст, будя в зрителе, которого он находит в разных странах, созвучную тревогу.

ж-л «Параллели», № 1, 2007 г.

И ХЛЕБ НЕ ВЫРАСТЕТ...

*Открытое письмо
Администрации и Думе*

Меня вынуждает выступить очень тревожный факт, что, впрочем, давно стало явлением нашей жизни. Вот уже которая выборная кампания на разных уровнях государства российского проходит, все кандидаты много и даже азартно говорят об экономике, о решении социальных, дорожно-транспортных и прочих энергетических проблем, но никто – никто! – всерьёз не говорит, и уж точно всерьёз не думает о культуре.

Смею заявить, а кто знает историю страны хотя бы за последние сто лет, вряд ли оспорит, что никакой самой «экономной экономики» при экономии на культуре, образовании и науке никогда не построить. И сколько ни будут ещё повторять деятели всех структур власти, что «народу надо сначала дать хлеб, а потом думать о культуре» – никакого хлеба не будет. Ибо культура, искусство – не развлечение и не отдых, но путь к самопознанию человека и познания им, человеком, своего места и назначения в мироздании.

Эту истину хорошо поняли ещё в прошлом веке деловые люди и крупнейшие купцы России. Мамонтовы, Морозовы, Третьяковы, Чижовы, Рябушинские – фамилиями можно исписать не одну страницу. Они на свои средства строили школы, покупали в Европе и у себя дома картины и создавали галереи, содержали театры, издавали книги, поддерживали бедные таланты и вкладывали деньги в науку. Не «спонсировали», стремясь выкопать картошку сразу после посадки. Меценатствовали. Ибо хотели, чтобы их дети и внуки жили в этой стране и завтра. И знали, что свободный и грамотный работник производительнее невежественного раба, как последнего ни развлекай фестивалями и заезжими дивами. И ещё знали, что интуицию учёному развивает высокое искусство – музыка, живопись, литература, которые не делаются по заказу и моде («спрос-предложение»), и не регулируются «рынком» под

цвет обоев... Так являлись миру Врубель и Шаляпин, Рахманинов и Менделеев, Вернадский и Блок – здесь тоже можно перечислять звёздное небо. А Россия выходила в первые страны по вывозу хлеба и мануфактуры, и золотой рубль не уступал никакому доллару, а неизвестный Петров-Водкин на велосипеде и с собранными на благотворительных концертах деньгами ехал через всю Германию – в Италию, учиться...

Вроде бы – к чему нам это знание? Увы, забвение собственной истории, как и забвение культуры собственной и даже языка неминуемо ведёт к временничеству и разрухе, в душах человеческих – прежде всего. Соблазн потребления развращает даже нищих, вергая их в отчаяние и безделье.

Слава Богу, что заряд энтузиазма (или его инерция?) еще позволяет подвижникам учить детей, устраивать выставки (пополняя музеи и галереи опять же за счет полуголодных безсеребренников), ставить красивые и умные спектакли, играть музыку души, а не живота, писать книги, с которыми можно спорить и познавать себя, а не следить за погонями и мордобоем. Но вот отчего-то всё меньше сосредоточенных зрителей, грамотных читателей, воспаряющих слушателей... И – всё более смакуются (ибо – равнодушных уже не пугает) происшествия, потребляются наркотики и девушки, болеют «чумой XX века» всё более юные, которым – скучно жить на этом свете. Вне витринно-теле-торговой мишуры. А дальше? На задворки истории?..

В «свободе предпринимательства», в эйфории заявленной известным деятелем (Чубайс?) свободы с разрешением «всем богатеть, кто не ленив и умён», таится ловкая ловушка, когда взамен старых насаждаются новые стереотипы, способные не только сnivelировать самую уникальную личность, но и подменить в этой нивелировке понятия добра и зла, спровоцировать появление ядовитых цветов соблазна и предательства: «Это он!» И уже почти умиляет зрителей «чёрный пиар», а богатые, конечно же, тоже плачут, но трагедия повседневного выживания от этого не становится меньше, разве что рождается бездейственно-завистливое успокоение, да полное равнодушие к страданию ближнего, рядом, не на экране.

Газетно-телевизионная же вульгарность проникает в язык и в кровь. И вот уже вновь (в который раз за последние 70 лет!) идут разговоры об «упрощении языка» – как слышится самому неграмотному. И действительно – зачем бы народу трудиться над сво-

ей душой-словом тысячелетие?.. И вот уже эстрадная поп-дива с апломбом заявляет в газете, что «самый скучный канал – Культура» (возможно потому, что на этом, единственно достойном канале нет рекламы её «самого за себя говорящего» способа «похудения»).

«Таланту надо помогать, бездарности пробьются сами» – какой страдалец о будущем это высказал... А французский гений сказал ещё точнее и горше: «Нет ничего страшнее (подлее?) борьбы бездарности с талантом» (Бальзак).

Так вот. В Региональной общественной организации писателей Калининградской области, которой уже скоро полвека, сейчас двадцать шесть человек. Именно наша писательская организация сохраняет творческие и духовные традиции в отношении культуры, заложенные в них такими известными здесь литераторами, как И. Строганов, С. Снегов, В. Ерашов, Р. Жакмьен, Ю. Иванов – их немало, уже ушедших и так надеявшихся на лучшее будущее. А будущее – юные.

Известно, насколько активно организация работает с молодым поколением литераторов издавна: из литобъединения «Родник», которому более четверти века, вышло немало поэтов и прозаиков, ставших профессиональными художниками слова. Я намеренно не стану называть имена, есть книги, а у нас не всегда умеют радоваться чужим успехам (тоже черта полуграмотности), хотя в настоящем искусстве нет конкуренции.

Под эгидой нашей организации и журнала уже не в первый раз проводится конкурс «Молодые голоса», сейчас вновь подготовлен сборник победителей, в который вошло тридцать три автора, и есть даже серьёзные критические статьи. Увы, сборник зависает – если для нас это значимая работа, то для финансирующих – лишь «пиар»...

С 1991 года наш Союз выпускает художественно-публицистический журнал «Запад России», который не только стал заметной вехой в культуре области, но и явился единственным регулярным изданием, что даёт возможность публикаций произведений литераторов области и способствует непрерывности литературного процесса вопреки всем «подводным камням». За это время в журнале появилось более семидесяти авторов. Журнал был номинантом премии Букера (1993 г.), удостоен «Признания» (1996 г.). Страницы журнала открыты для авторов любых направлений, лишь бы это была литература, а не политическая агитка. По нормальной

логике, его и надо бы поддержать. Но вот выдвигаются проекты по организации новых изданий, и уже новая администрация «пробивает» в Думе для них запредельную субсидию в несколько миллионов, игнорируя нашу просьбу о поддержке, предусматривающей лишь десятую часть.

Отсутствие Закона о творческих организациях открыло ещё один порочный путь нивелировки, распыления профессионального труда писателя. Ныне три автора «самиздата» (который теперь легко осуществить, имея деньги) вправе создать новый «Союз писателей» – «свободных» или даже «независимых» (а каким ещё может быть настоящий художник?), что успешно сделано в Калининграде. Свободных... разве что от таланта. В итоге, ничтоже сумняшеся, чиновник спокойно игнорирует нужды профессионального творчества, открывая дорогу к читателю полуграмотности и графомании.

Наша организация и журнал имеют устойчивые культурные связи с соседями по Балтике. Осуществлено ряд совместных проектов с литовскими, немецкими, польскими, шведскими писателями, в результате которых выпущена антология «Лики родной земли», совместные издания журнала с Шведским Институтом, постоянные взаимопубликации в альманахах «Боруссия» (Ольштын, Польша), «Балтия» (Клайпеда, Литва). И это – не имея ни современной техники, ни выхода в Интернет, ни, теперь с лета «Европейского литкурьера», даже телефона, радостно обрезанного властью за неуплату – всё на голом энтузиазме... А ведь есть и постоянные читатели за рубежом и в России. И с прошлого года мы получили права издательства и уже выпустили ряд книг местных авторов, в том числе несколько дебютов молодых поэтов и прозаиков.

Нет нужды, видимо, отмечать, что данные книги, как и номера журналов не приносят прибыли, ибо изначально цель - не коммерческая, и в них – не развлекательное чтиво, заполонившее книжный рынок. Видимо, потому наше издательство, имеющее, кстати, значительную творчески-редакторскую потенцию, ни разу не получило централизованной дотации. И вся работа здесь – сплошная самораздача, увы, сегодня не кормящая. Но мы-то не забываем, что книга должна жить, ибо литература, чтение – акт, при котором человек познаёт и поверяет себя. Именно культура, пожалуй, одна она, даёт уровень планки образования, именно искусство, повторяю, дарит крылья научной мысли. Русская культура, вопреки

всему, это исполняла всегда. Банальные, но так старательно забываемые (или неудобные?) истины...

С 91-го года профессиональная писательская организация не финансируется централизованно, что, конечно же, никак не стимулирует творческую работу. Если цель управления ведомствами и хозяйством в стране – до конца снивелировать мышление, превратить граждан в роботов, проживающих «сладкую» жизнь в сериалах у телевизора, в размывании и забвении собственных достижений культуры, то эта цель успешно достигается.

Видимо, это поняли и с этим не согласились руководители Мурманска, Кемерово, Владимира, Орла, Красноярска, где писательские организации (любых, кстати, направлений, но – профессиональные) патронируются администрацией и местными думами.

Если у нас в области, к тому же отделённой от России и корней, в крае, где особенно важно развитие русской культуры и языка, сохранится положение, при котором писатели брошены на произвол судьбы и случайное выживание, это неминуемо скажется на развитии литературы и на рейтинге региона, и – в конечном и главном счёте – нанесёт невосполнимый урон той самой духовности, о которой столь пекутся на словах политики.

Да, время от времени помощь журналу приходила и мы имели возможность изредка выходить, будучи приуроченными к событию, которое нельзя не заметить в стране (Пушкинский юбилей, Литэкспресс Европы), но чаще даже благое намерение Головы по отношению к нашей региональной писательской организации, «вытоптанное» писателями у Главного подъезда, затеривалось в чиновничьих суете и столах. Как говорится «милует царь, да не жалуется псарь»... В итоге – без телефона, свет отключается на месяцы, а литобъединение собирается вечерами. Но работа-то будет продолжаться – в основном на чувстве долга и случайных пожертвованиях. Однако энтузиасты умирают неожиданно и быстро, не всегда успевая подготовить себе замену – это касается и передачи нравственного критерия при смене поколений...

Фёдор Михайлович Достоевский очень ёмко и точно определил: «Совість – есть отражение Божьего бытия в человеке». Вот так-то – не самодовольный отблеск свечи в глазах за дележом пирога. Вот, кажется, и всё пока.

Творческой нам с вами работы!

2003 г.

А СУДЬИ – КТО?..

Открытое письмо Калининградского ПЕН-центра

Мы прежде всего обращаемся к коллегам – журналистам, писателям, правозащитникам: мы, конечно, здесь экс(ан)клав и почти «Явропа», но то, что происходит в этой части России не должно оставлять в равнодушии, ибо чиновничество у нас одно и эхо его деяний отзывается в любом углу этого государства...

Постановлением районного судьи Пскова (!) посажены в СИЗО Калининграда депутат Областной думы и редактор газеты «Новые колеса» Игорь Рудников и журналист этой же оппозиционной газеты Олег Березовский. Обвинение с одной стороны (служащих бывших и настоящих) стандартное – «клевета и оскорбление чести и достоинства». С другой еще серьезнее и абсурднее: избитие 22-х калининградских сотрудников милиции (1.02.2006 года «пострадали» 8 офицеров УВД, 8-го же марта того же года – «нанесены побои» еще четырнадцать вооруженным милиционерам). Вопрос невольно возникает у любого обывателя: так что же это за охранители, которых, как тот портняжка «одним махом семерых побивахом».

Нелишне вспомнить, что именно в том марте – накануне выборов в Облдуму – на литовской границе был задержан тираж газеты «Новые колеса», печатать которую отказалась (видимо, «по щучьему велению») местная типография. Газете до сих пор правдами и неправдами воспрепятствовано распространение в розницу. В отличие, например, от многоцветного издания мэрии «Гражданин», находимого в каждом почтовом ящике и старательно поющего дифирамбы одному человеку (разумеется, за счет бюджета, а не предмета обожания газеты). Нелишне вспомнить, как в другой газете (также накануне выборов) шесть или семь оппозиционных кандидатов партий (не принадлежащих к «правящей») были облиты самой площадной грязью и названы «предателями родины». Реакции прокурорско-судебных органов, разумеется, не последо-

вало. Впрочем, тогда последовала реакция избирателей: несмотря на сносимые бульдозером щиты «Народной партии», ее лидер И. Рудников (как и другой «изменник» – из РНДС) намного опередил самого руководителя местного ЕДРА и стал депутатом.

Как бы ни относиться к не всегда адекватному характеру журналиста Рудникова, нужно признать, что его газета, как и его депутатское служение, пожалуй, один из немногих примеров серьёзного отстаивания интересов своих избирателей. (Военные пенсионеры должны бы помнить о возвращённых льготах, как и о многих конфликтных ситуациях с честными служивыми в той же милиции). И от чего больше всего «Новые колеса» стали костью в горле чиновничьей корпоративности – газета оказалась единственным зеркалом, в котором отражена в лицах коррупционность самой системы отношений чиновников и «прочего народа». В этой ситуации реакция «пострадавшей» стороны не удивительна и предсказуема. Журналисты затронули «неприкасаемых»: судейство, прокуратуру, «силовиков», даже «верхних» военных и властителей города разного ранга. Да – и «властителей», вообразивших себя единственными хозяевами города, в силу безвкусицы и алчности уже обезличивших «любимый Город RU». Даже если некоторые из «обиженных и оскорбленных» теперь вроде и бывшие, но ведь у нас как? – бывшие в должности, а не в профессии. И мечь их подогреваема пропорционально утрате, корпорация (или уже – класс?) себя защищает бешено и средства, естественно, не выбирает.

В свое время Федор Михайлович Достоевский говорил, что совесть есть отражение Бога в человеке. Боюсь, что эта каста (бюрократии), поменяв обращение «товарищи» на «господа», с крестом на груди комсомольской всерьез ощутили себя таковыми (господами то бишь), не обретя того ниспосланного органа, о котором говорил наш классик (и не очень-то утруждая себя чтением). Они как-то не вспоминают, рассуждая перед желанными выборами о демократии, что власть им делегирована для того, чтобы представлять народ, а – не подставлять его...

Очень хотелось бы быть оптимистом и надеяться, что всё обрзается и правда восторжествует, а «обиженные» коррупционеры и их клеветы (пусть и зависимые, и невольные) поменяются местами с нынешними сидельцами. Ну не могут же везде засесть одни «оскорбленные» да еще и богатые чиновники, о немалом весе

которых обеспокоился и президент! Разумеется, без бюрократии ни одно общество не может быть скоординировано. Но не того самодостаточного чиновничьего легиона, который все эти годы сокращается... размножением. Хочется надеяться, что есть ещё (или подрастают!) трудовые служители, для которых правда, честь и будущее страны – неразделимы. И которые именно служат, а не выслуживают(ся) себе доходы.

Образуются ли? Уже по многим параметрам ощутим сквозняк предстоящих «больших» выборов. И подобные «зачистки» оппозиции вовсе не новость, скорее угрожают стать правилом. Народ, разумеется, безмолвствует (во всяком случае – если судить по ангажированным СМИ и теле), он даже рад безмолвствовать подзаконно, поскольку теперь и ходить не очень обязательно – партия власти побеспокоилась, чтобы голоса с испорченных бюллетеней или «против всех» плюсовались лидерам голосования... Делается всё, чтобы этот народ подменял культуру «попсой», а достоинство, обретенное в 80-е годы благодаря в том числе и литературе, - чиновничьим почитанием, завистью и грёзами о золотой халяве.

Но больше всего нас удивляет отсутствие в ситуации с журналистами реакции (или – молчание) местных общественных институтов: Союза журналистов, Общественной палаты (хоть и «ручной», но ведь в явной ситуации беспредела и подлога – одни 22 «избитых» силовиков что значат!), уполномоченного по правам человека, наконец. И конечно – «правящая партия», прокламирующая «демократические принципы» и «необходимость оппозиции» (прикормленной?), и допускающая абсурд даже в отношении коллег по Думе. Разве что – неудобных? Сейчас, когда объявлен вдруг «год русского языка» (а надо бы объявить «жизнь родного языка»), надо бы понять, что в родном языке к слову «правящий» скорее уместен вопрос «куда», а не – «кем».

Когда-то журналистская корпорация объявила себя «четвертой властью». Не затем ли, чтобы принять на себя нелёгкую ношу и ответственность, и стать связью между тем самым народом, без которого чиновничество готово обойтись, и народа этого «избранниками». Не задумывались ли, господа журналисты, отчего в последние годы зачастую нет никакой реакции даже на дельные и критические (были бы!) выступления прессы? Да кто же из «господ» считается с мнением «слуг» и прочего, власть «обслуживающего персонала». Как же «слово ваше отзовется» и во что транс-

формируется у ваших учеников, у – читателей?.. Да вот как – на громадной рекламе ограды вырастающего на убитой площади у к./т «России» очередного монстра начертано: «Новый друг лучше старых двух». А рядом – «Дон Кихот – Игровые автоматы»! О какой уж нравственности здесь рассуждать...

По поводу же судебного беспредела и ареста журналистов И. Рудникова и О. Березовского мы оставляем за собой право обратиться к нашим коллегам по ПЕН-клубу – Всемирной ассоциации писателей.

«Тридевятый регион»

ПУСТАЯ ДУША ЗАПОЛНЯЕТСЯ АДОМ

У нас культура издавна (и в советские времена, и сейчас) остаётся «остаточным» явлением: она беззащитна и бедна. Но при коммунистах, когда существовал мощный идеологический диктат, было и огромное внимание к её качеству. Сейчас, если речь вести о художественном уровне, бал правит попса, порой самого непрезентабельного толка. А финансирование в лучших традициях оных времён – остаточное. То и дело слышно: надо помочь банкам, крупным компаниям. А у культуры отнимается последнее, как будто на ней даже с чисто прагматической точки зрения можно серьёзно сэкономить. Ну, сократим средства на содержание музеев, ну, урежем ставки артистам и библиотекарям, заберём у художников мастерские, а у детей – возможность заниматься в различных студиях. Какая мощная антикризисная борьба! Да кризису плевать на нашу культуру, что, в общем, понятно. Но нам-то самим почему плевать?

Некогда купец и промышленник Савва Мамонтов на недоумение Сергея Витте – (Зачем, мол, вы, голубчик, серьёзный человек, тратитесь на художников да театр? Сначала надо народ накормить, а уж потом окультуривать) – отвечал: «Так ведь не будет культуры, не будет и хлеба, чем тогда кормить-то?»

И это справедливо. Безкультурный человек – хам. Ему нет нужды честно и продуктивно работать, ему и удобней, и понятней, и естественней сесть кому-либо на шею и свесить ножки. «Кто, если не я?» – это не для него. Для него – «Кто угодно, но только не я». Отсюда — наше не пойми что с землёй и на земле (запущенность, пьянство, нищета), страх простого человека перед посещением чиновничьего присутствия (обхамят, да ещё в два счёта докажут: ты – не человек, а козявка). Отсюда – огромное количество социальных и этнических конфликтов. Значительная часть населения огромной, чрезвычайно пёстрой по этническому составу страны заражено бациллой ксенофобии, не понимает, что такое толерант-

ность и зачем она нужна. Отсюда – низкий уровень бытовой культуры, злоупотребление служебным положением, развал института семьи, наплевательское и насмешливое отношение к тем, кто законопослушен...

Между тем это только на первых порах быдлом управлять легче, чем просвещённым народом. Толпа, в конце концов, найдёт своего Пугачёва или Разина, Ленина наконец, или они найдут и организуют толпу новыми посылами. И – пожалуйста, если не будем учиться на собственных исторических ошибках, получим русский бунт, «бессмысленный и беспощадный»...

Спросите у нынешних молодых (я спрашивал на выступлениях перед школьниками), кто такой Багратион? Из всего класса лишь один юноша поведал, что это – герой СССР, воевавший с Гитлером. А если поинтересоваться Дон Кихотом или, скажем, Наполеоном? Не окажется ли первый рабом «одноруких бандитов» (по ассоциации с игровым клубом), а второй – тортом или коньяком?

Культуру заменили на маскультуру, сплошь и рядом забывая о душе. Никогда в России рубль не стоял во главе угла, не был целью. Средством – да, но не целью жизненной. А сейчас реклама объясняет очень доходчиво: цель – необузданное потребление. Выпей колу, купи новый мобильник, и будет тебе счастье. Вместо собственно культуры — «культура» соблазна. Но потребление – процесс неостановимый и при этом не удовлетворяющий «подсевшего» на него. Личность теряется в шопинговом забеге, пустеет. А пустоты души заполняются адом, часто – наркотиком, часто – преступлением...

Понимается ли, что молодому человеку, наблюдающему картинку «красивой» жизни, призываемому рекламой к владению шикарных машин, модных интерьеров квартир и костюмов очень хочется всё это иметь... Как? – На стройке, на заводе, в море?.. Нет, конечно. «Проще» – ограбить банк, вступив в ОПГ (примеров достаточно, в газетах, кино, на телеэкране), «на крайняк» -- пробить в таможенники или в ГАИ... Спросите: многие ли мечтают стать геологами, физиками, инженерами, учителями, лётчиками-моряками? Все идут в экономисты, юристы, «менеджеры», опять же, образовываясь поверхностно.

Можно, конечно (и нужно), привлекать чиновников или силовиков за хамство и мздоимство, наказывать «бытовых» дебоширов, матерей-кукушек, иных нарушителей гражданского или

уголовного законодательства. Но это – лечение симптомов, а не болезни. Болезнь - бескультурие. Недаром ведь в одном из самых «бюрократических» государств, в Китае, ещё во времена Конфуция введён гуманитарный экзамен для чиновников, там понимают: общая культура учит мыслить и решать все вопросы — с наибольшей пользой. Никогда некультурному человеку не стать хорошим специалистом – ни в чём.

Будем третировать культуру – потеряем (ведь были же уже прецеденты) большую науку, её нет вне культуры, в том числе без хорошего образования. При этом для закрытия школ, больниц, всевозможных училищ, техникумов и проч. почему-то нужны всё новые и новые чиновничьи структуры, ничего не производящие, кроме сомнительных, зачастую, распоряжений, требующие больших расходов на своё содержание...

А ещё – люблю англицизмами на вывесках. Я всю Европу объездил, нигде такого холуйства не видал. Плюс – искорёженный русский язык на телевидении. Герои телесериалов говорят: «Сожгём. Какой образ жизни она ведёт? Позво-ним. Я скажу тебе такую мысль». В общем: «Заключил договор, звонит шоферу, берёт портфель, ложит в него документы...». И так далее. О слоганах уже вовсе молчу. Иной раз просто не веришь своим ушам. Но утрата языка, Слова ведёт к гибели нации, это не понимается. Интеллигентность вновь становится сомнительным и даже малопривлекательным понятием. Культура сразу превращается в мишень, что ни случись с экономикой ли, с политикой ли. Система меценатства, некогда такая мощная в России, утрачена. Ведь меценат – это человек, желающий оказать бескорыстную помощь. Точнее – думающий о будущем страны, в которой должны жить и его дети. У нас же он – ушлый инвестор, рассчитывающий на непрременную и скорую прибыль. Никто из нынешних «спонсоров» не мыслит масштабно, по-граждански – о поддержании и укреплении имиджа страны, о сохранении души и нравственного стержня нации, а не только собственных бизнес-успехов.

Мы продолжаем (не без оснований, конечно) рассчитывать на энтузиастов. Они, к счастью, готовы работать день и ночь, за гроши, лишь бы дело не пропало, не переводятся... пока. Однако эта порода, увы, быстро вымирает. Но – что же дальше-то?

Для газеты «Калининградская правда», № 62, 2009 г.

НАС ЖДЕТ ОДИЧАНИЕ

*Интервью с Вячеславом КАРПЕНКО, писателем,
председателем Калининградского Пен-центра*

Как Вы оцениваете состояние дел в культуре сегодня? Насколько изменилось все за прошедшие годы? Говорят, что сейчас утрачен интерес к книгам. При этом много вспоминают о «советском прошлом», о цензуре... Вас тоже, насколько известно, тоже преследовали, не давали печататься. Можно ли сравнить ситуацию в СССР и в нынешней России?

Тогда была цензура, которую можно было обходить. И писатели могли писать эзоповым языком, и читатели понимали этот язык. И именно такие писатели как Валентин Распутин, Виктор Астафьев, Василь Быков, и ещё многих мог бы называть, смогли благодаря своему слову дать возможность задуматься о человеческом достоинстве в этом обществе, о той жизни, которая не подходит победителям. А они почти все прошли войну. Тот же Виктор Некрасов, книга которого «В окопах Сталинграда» сперва была принята весьма тепло, даже премией отмечена, но затем уже ее объявили очернением действительности. Когда вышел роман Георгия Владимова «Три минуты молчания» – даже в море проводились собрания, чтобы его осудить, и ставился вопрос об исключении автора из Союза. Были и «выдирки» – у меня самого повесть «Вечер встречи» выдирали из сброшюрованной уже книги – и это в Алма-Ате, где цензура была менее бдительна.

Но – главное в том, что тогда люди читали книги. И была значимость журналов. Для России это особенно характерно – журнальная традиция шла от Пушкина, Некрасова. «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Юность», «Иностранная литература»... Доступные, кстати, журналы, тиражи их порой поднимались до сотен тысяч, а то и миллиона. Могла не выйти книга, но в журналах выходило – и люди читали, передавали друг другу: вспомните, как

потрясла всех повесть «Один день Ивана Денисовича», опубликованного Твардовским, как ждали январского номера 966 года журнала «Москва» с продолжением «Мастера и Маргариты»... Поэты: Вознесенский, Окуджава, Евтушенко, Ахмадулина, Рождественский – собирали стадионы. И уверяю – это была никакая не «элита» – читатели.

Может, разница была в читателях?

А откуда берется эта разница? Давайте говорить серьёзно. И начать надо, видимо, с того, что такое Слово, Книга... Не те «книжки и книжечки», что заполнили полки магазинов и киосков. Вот, кстати, характерный пример отсутствия чувствования собственного родного языка, ибо сам смысл подобного словоупотребления уничижителен. Серьёзный читатель есть, если угодно, со-автор, со-творец писателя поэта, как зритель – живописца, драматурга, слушатель – композитора... Так почему возникла эта «разница» между тем и нынешним читателем? - В первую очередь – образование, школа.

Советская школа, хотите вы того или нет, была наследницей русской школы. Она давала гармоничное развитие; образование давало мощный гуманитарный фундамент, знание культуры и истории через книгу, открывало возможность мыслить космически и развивать научную мысль. Поэтому и население у нас было внутренне более свободным, в отличие от западных стран. И второе, представьте в себе – ещё бытовала такая традиция, как чтение книг в семье: поначалу сказок, позже – и серьёзной литературы. И ещё: на радио известными актёрами, опытными дикторами читались произведения, шли радиоспектакли, также и по телевидению. И это была правильная литературная речь, никто не мог себе позволить сказать, подобно политикам, «дОговор», «звОнить», «шОфер», «поднять тост» (сейчас его, тост, «поднимают» даже по телевидению верхние чиновники) и т.д. Кстати, и во всех газетах существовал отдел культуры, печатались рецензии на книги, спектакли, стихи и рассказы, а не постельные тайны «звёзд» и гламурные сплетни о банкетах нуворишей.

Но уровень литературы зависел не только от этого. Существовала система творческих союзов. При всех ее недостатках – она работала. Вступить было непросто, но они давали возможность работать: были дома творчества, доступные по ценам, шел

творческий стаж для пенсии; даже при выделении жилплощади положено было 20 метров сверх норматива на кабинет. Был Литинститут имени Горького, который образовывал писателей, поэтов, переводчиков. Были Высшие литературные курсы, на которые попадали члены Союза писателей, даже Виктор Петрович Астафьев проходил их. К языку было внимание... И разумеется, раньше не выходила книга без рецензии и вне редактора, вне корректора. Ни один уважающий себя писатель не видел другого пути. Ведь ему тоже нужен взгляд со стороны на себя, любимого. А сейчас – творческие союзы упразднены. Они существуют как общественные организации. То есть три человека могут создать очередной Союз свободных, вольных или независимых писателей. В результате у нас в области сейчас чуть ли не с десятков писательских организаций. Вот только толку от них мало. Издание книг за свой счет подрывает сам язык. И было Бюро пропаганды литературы – писатели бригадами ездили по предприятиям, деревням, школам, шёл серьёзный разговор и не только о литературе. Что говорить – слово серьёзного литератора имело вес и авторитет... Вспоминаю встречи с читателями на Мангышлаке, полный зал на восемьсот человек – геологи, нефтяники, монтажники ЛЭП. Не только слушают стихи, даже прозу, но – задают вопросы, идёт разговор о человеческом достоинстве, о семье и земле, за которую в ответе...

Всё это к сожалению рухнуло. К сожалению – потому что цензурную удавку мы преодолели, но получили вместо нее удавку экономическую. Тиражи журналов стали падать. Сейчас тираж «Нового мира» – меньше 8 тысяч, «Юности», тиражи которой зашкаливали за два миллиона, и там не было «завлекалок», сплетен и гламура, но печатался Аксёнов, сейчас – меньше 12 тысяч... Региональные журналы задыхаются всё в той же удавке и закрываются, или переходят на «литературу спроса». Так кто же влияет на «спрос» – издатель или «потребитель» (язык не поворачивается назвать его читателем)? А где, как не в журналах печататься молодым писателям, которые еще не на слуху?

То есть, получается, что в этом виновато государство?

Меня умилило, когда услышал, что «народ ещё не созрел для демократии». Вспоминаются годы конца 80-х, референдум, ГКЧП и митинги... Он и не «созреет» при такой чудовищной армии т.н. «силовых структур», клана чиновников, «сокращаю-

щегося» размножением, порядковой разнице зарплат народа и «власти», насилия попсы и квазикультуры на экранах, «укрупнения» школ с закрытием сельских... И т.д. Вы не обратили внимание, что в последние годы даже офицеры не отдают «честь» друг другу? А вот для работников ГАИ это даже узаконено недавно – мол, жезл мешает. А может – нечего теперь уже отдавать? – как пел Владимир Высоцкий, «и слово Честь забыто»... Я саркастически отношусь к этому государству. Оно забыло, что государство – это инструмент, и инструмент нанятый – соединения, а не разъединения людей.

Однако нужно разделять страну и чиновников, которые в нашем случае пытаются из себя государство изобразить. И беда в том, что чиновники у нас не то, что безграмотные, а не желающие учиться. Сейчас культивируется безграмотность. Послушайте чиновников, почитайте, что они пишут. В Китае со времен Конфуция чиновников заставляли подтверждать общий культурный уровень. А сейчас... выступает госпожа Шерри, и говорит, как хороша «модификация». Но ведь нельзя улучшить систему образования, уничтожая школы и калеча программу. Вместо модификации получается профанация. И к сожалению она получается слишком во многих сферах. Плюс к этому – идет чудовищная подмена смыслов, во многом – из-за хлынувшей псевдокультуры. Например – благодаря той же рекламе: «Стань монстром общения»... это же французское слово значит «чудовище, урод». Задаёмся недоуменным вопросом – откуда столько случаев вандализма... Вы ждали «монстров общения», господа хорошие – «они идут к вам»!.. Недавно узнал – сожгли дом Юрия Казакова в Абрамцево, который он строил по бревну собственными руками. С рукописями, картинами. И не ведали, что это был лучший стилист советской литературы, наследник бунинской школы языка...

Сама-то русская культура не пропадет. Она есть, но она не доходит до народа. И вовсе не потому, что «не тот народ» достался этому государству или власти. Преступление – ставить любой народ на грань выживания.

Такие взгляды – не подтверждение ли, случайно, известного тезиса о противостоянии художника и власти?

Художник всегда будет в оппозиции к власти. Но не потому, что он ее не любит или он против нее борется. Художник – не

политик. Да и не должен художник «решать вопросы». Он – есть боль, сострадание, достоинство личности и её грехи, откровение сокровенного дара. Просто он изначально внутренне свободен, и потому сама власть будет создавать эту оппозицию – в тем большей степени, чем сильнее боится она свободных людей, точнее – свободной мысли. На самом деле – чиновникам просто легче иметь дело с безграмотными, и значит – с нивелированными людьми. Поэтому объявляют, что когда целый народ поставлен на грань выживания – то якобы не до искусства, не до литературы. И «пока не готов к демократии». А он и не будет «готов» - вне культуры, вне уважения собственного языка, сжимающегося до языка Элочки-людоедочки. Что будет – уже есть: взгляните на запущенные поля, на разваленное производство, абсолютно не конкурентноспособное. Исключи импорт – с голоду вымерем!..

Но ведь сейчас так много говорится о патриотизме, о необходимости сотрудничества в общих интересах как раз художников и власти...

У нас кампаниями все борются – за язык, за культуру, за «доступное жильё» и «здоровье нации» с многодетными семьями... И патриотизм тоже, к сожалению, сейчас с оттенком кампанейщины. Не от души, а по приказу. И часто по принципу: «мы – хорошие, они – плохие». А он ведь не в противостоянии, не в противопоставлении.

И не надо подменять любовь к земле, к отчизне, к родове – «любовью» к государству, чего так жаждет любая власть, забывающая, кто ей эту власть делегировал. Многие так называемые «патриоты» хают Запад, не понимая, что там такие же проблемы, как здесь. Разве что начались они раньше. И там давно Сартр, Камю, Римский клуб говорили и писали об этой гонке потребления, которая все больше оттесняет культуру и разум на задворки. Ресурсы планеты далеко не бесконечны, да и человек пришел в этот мир вовсе не для того, чтобы есть, пить и развлекаться. «Познай себя» – этому постулату не одно тысячелетие. Бродский в Нобелевской речи отметил, что нечтение ведет к деградации нации и государства.

А что происходит здесь... вот один пример. Приезжал Степашин этой весной. Спустя 20 лет после Перестройки власти вдруг спохватились, что Россия, как читающая страна, с ведущих мест в мире скатилась на сороковые... И вот приехали, собра-

ли всех – речь шла об организации Книжного союза, который будет вести новую политику в книгоиздании. И вот собранным библиотекарям, учителям словесникам внушает господин из «Вестера», поскольку у него магазины «Книги и книжечки», какая «литература» всем сейчас необходима. Мало, мол, патриотизма, и нужно писателям, которые «наиболее востребованы» – а именно Марининой и Донцовой – заказать романы на патриотическую тему, и все бросятся читать. Я спросил – а что, Бунин, Чехов, Булгаков, Платонов, Казаков, Астафьев – разве не патриотические писатели? Паустовский, Пришвин – несть числа, уж не говорю о русской классике девятнадцатого века... Профанация ведет к подмене понятий... Оглянитесь на стены «новоделов», вслушайтесь в абракадабру рекламы... «Увидел «Кальве» и вдохновение (!! охватило меня!»...

Однако ведь должен же быть даже сейчас какой-то выход из этой ситуации?

Недавно был на исполкоме Русского ПЕН-центра – отмечаем 20-тилетие этого международного клуба литераторов в России. А вскоре после исполкома премьер-министр встретился с ведущими писателями. Они высказывали проблемы и с бытом, и с нищетой, т.к. даже значимые писатели сегодня опущены, тиражи минимальны, а о гонорах могут говорить лишь некоторые. Там были Битов, Поляков... и там говорилось о журналах, которые в России всегда были важны, всегда читались. Путин пообещал обратить внимание на журнальную политику и поддержать журналы, в том числе региональные. Не знаю, что с этим будет. А если и будут обещанные внимание и поддержка, то коснётся, разумеется, Москвы и Питера. И вряд ли что изменится в регионах, которые и есть – Россия.

Но это – в Москве... а как дело обстоит у нас, в Калининграде?

Не так давно мы получили программу, по которой печатались книги – Снегов, Гильманов, Иванов, Глушкин... Из поэтов Белов, Тозик, Василевский были по ней изданы. Это была областная правительственная программа, по которой до этого года издавались для библиотек книги местных авторов. В этом году с экивоком на кризис на нее не были выделены деньги. Но и здесь не обходится без абсурда: тираж (минимальный) рассчитан только на библиотеки, в магазины вовсе не поступает, так что и автор не может

купить свою книгу. Я уж не говорю об отсутствии гонорара – писателю, художнику есть не обязательно, пусть благодарит за издание, это ведь его, якобы, «хобби», занятие письмом, живописью, музыкой... «Не слушайте наш смех, услышьте нашу боль», – восклицал Блок. А искусство, литература – это прежде всего боль и сострадание, это – вопросы.

То, что секвестрируется в первую очередь культура, сокращают музеи, театры, библиотеки, что культура вообще субсидируется по остаточному принципу – это плохо. Но, наверное, проблема все же не только в деньгах. Кризис преодолевать нужно прежде всего в умах. Проблема всегда в людях. И меня удивляет, что руководитель региона ни разу не встречался с творческой интеллигенцией. Я уж не говорю о городских властях. Вот мы получили по гранту ЕС программу «Балтославия». Я пытался заинтересовать этой программой Ярошука. И имея готовую программу, в рамках которой шли семинары, встречи в школах, библиотеках Калининграда и Клайпеды, шло узнавание друг друга молодыми авторами из России и Литвы, делался журнал «Параллели» – не смогли мы заинтересовать ни город, ни минкульт. Да о чём говорить, если ликвидирован чиновниками (ни разу театр не посетившими) оригинальный «Другой театр» «по нерентабельности». Скажите мне, что такое рентабельность культуры, образования? Какими деньгами можно определить пробуждение души и мысли? Сейчас проходили в 7-й раз Дни литературы. Это необходимо, эти встречи нужны, но все это ведётся на голом энтузиазме. Энтузиазм – это хорошо, однако энтузиасты быстро вымирают. Кому это выгодно – ищите... Читайте Маккиавели.

Что же нас ждет в таком случае?

Какие перспективы? Я только одно могу сказать: ни одно государство не может существовать без поддержки культуры. Развалить легко. А чтобы вернуть утраченное требуется не одно десятилетие. Поколения... Что нас ждет с таким отношением к культуре? К образованию, к науке? К собственному языку, вне которого нет нации? Одичание. Есть, разумеется, надежда на ту молодёжь, в которой ещё остаются ростки тяги к культуре, к собственному языку, к знанию. Надежда на «третье поколение». Но невольно приходит некрасовское «*Но жить в эту пору прекрасную / Уж не придёт ни мне, ни тебе...*»

Вообще-то говоря, разговор этот серьёзен, скороговорка здесь неуместна. И нужно, быть может, продолжение разговора, ибо есть много аспектов моральных и нравственных, о которых необходимо говорить громко и нелицеприятно. Вера и неверие, нетерпимость и толерантность, страх, раболепие и чванство. Совесть, наконец, которая, по слову Достоевского, «есть отражение божьего в человеке». Но для этого опять нужен – Читатель.

Для «Нового Каравана», ноябрь 2009 г.

«НУЖНО ЛИ БЫЛО КАСАТЬСЯ ТОГО...? НУЖНО ЛИ БЫЛО? А, ГОС-СПОДА?...»

«Отравленную тунику «Николая Гумилёва артисты играли при 7° на сцене (плюс семи, разумеется, так что обморожений не было!..). Пар от дыхания слизывал свет софитов, синеву губ укрывал грим, одеревенелость мышц преодолевали воля и любовь, и профессиональная ответственность, которыми и жив «Другой театр» Аллы Татариковой-Карпенко уже третий сезон. Гостям-зрителям легче: они забыли о двенадцатиградусном морозе на улице, увлечены борением тайных и явных страстей византийского двора, жаркими развевающимися костюмами, пластикой тел и движений героев, сверкающей каруселью, которая втягивает персонажи драмы в интриги разлагающего сплетения власти, желаний, самопредательства и самооправдания, – втягивает и выбрасывает прочь, уготавливая общий нравственный крах и духовную опустошённость, самообречённость лучшим порывам влюблённости или боли за землю отцов. Накал страстей разогревает полнокровная музыка, которая непременно, наряду с пластикой и словом, и линией костюма и света, становится в «Другом театре» самостоятельным персонажем действия, сплавленного воедино загадкой и вопросом внутренней сути человека, путей его противоборства с самим собой, последствий этого сплетения тайных побуждений и явных обстоятельств... Вечных вопросов, раздумывать и отвечать на которые предоставляется искусством вечному зрителю – каждому! – самому себе...

Театр и его актеры предлагают обстоятельства иной жизни, проецируемой во времени и пространстве. Предлагают и проживают ту яркую сценическую жизнь, преодолевая холод и хроническую простуженность, под слабым дуновением калорифера разминая за кулисами сведённые мышцы... Зрителю не предлагают одного – снять шубы и пальто в театре, сама эстетика которого

предполагает вечерние туалеты дам и смокинги... Господ? «Дамам и господам» есть полная возможность расслабиться и на время спектакля отойти от ежедневных забот и сумятицы быта, еще в фойе насладиться (и соответственно настроиться) классическими аккордами гитары и напевами флейты, предлагаемыми замечательным музыкантом театра, скользнуть (или – углубиться!) взглядом по работам интересного художника... А в зале (поскольку одеты по сезону, а порхающая легкость и свет на сцене увлекают далеко) можно расслабиться – вести себя соответственно собственной воспитанности и собственного удобства: встать, когда хочется, хлопнув сиденьем, убедительно ставя импортные ботинки (или туфли, господа, конечно же – туфли на модных каблуках!), или вот еще – хочется ведь! – закурить (предложив, разумеется, и «даме»), а потом еще и разбить очки тому, кто сделает замечание, покусившись на «свободу»...

Здесь я позволю себе извиниться перед возможным читателем (и возможным зрителем, которого так ждёт театр) и немного отвлечься. Тем более, что «Другой театр» ввиду погодных условий отменил на неделю (будем надеяться, не дольше) объявленные спектакли, к зачарованности которых мы еще вернемся.

...Совсем недавно, всего два месяца назад, происходил тот административный ажиотаж по обмену новой валюты, который скорее характеризовал полное неумение административной власти исполнять свои профессиональные обязанности, чем заботу о людях, бойко прокламируемую на словах. Неразбериха и унижение очередями – привычная атмосфера нашей втрое разросшейся бюрократии. Так вот, за день накануне обмена в ДК «Строитель», где работает театр, снежным обвалом влетел один из руководителей администрации Калининского района столицы. Разумеется, в сопровождении поддакивающей свиты. Разумеется, без предупреждения, без стука и разрешения, без извинения и приветствия – прямо в зал, на репетицию труппы. Жесты и приказания спутникам – как штурмовые распоряжения, ногами по сцене, куда артисты входят переобуваясь и где им приходится лицами и телами касаться настила, через единственную костюмерную – всё нараспашку... И так далее, включая обращение к главному режиссеру (и – женщине, красивой ведь!) с «оправданным» должностным высокомерием и руками в карманах, чуть приподнимаясь на цыпочки,

чтобы даже снизу смотреть свысока – «Хозяин пришёл, а вы!..» – поставил на место «шибко культурных» сопровождающий. Но показательна реплика начальствующего господина: «Не до вашей культуры, мне людей накормить важнее!» И ведь накормит... унижением, оскорблением, натравливанием согнанных в толпу людей, такой маленький районный наполеончик, от чрезмерности доверенной власти которого не спасёт никакая культура. Спектакли, разумеется, были отменены, гос-спода.

Мы так легко и быстро приняли на себя этот титул... Не потрудившись задаться вопросом, «господами» чего же становимся. Неубранных мусорных завалов? Страху выпустить ребёнка погулять без присмотра или пройтись с любимой девушкой по ночному городу?

Лжи «его высокопревосходительства» (уже и так учат объявлять на новогодних высоких раутах) господина премьеры о фиксированных ценах на «необходимые продукты» и их «полной достаточности для скромного(?) проживания»? 30 таньге – предел минимальной скромности, господин хороший... Тут уж и в самом деле «не до вашей культуры»!

И вот уже тот самый, напророченный чуть не век назад Гиппиус-Мережковским и поднявшийся наконец сегодня во весь свой полный рост «грядущий Хам» победно проезжает «в парк» мимо толпы людей, ожидающей его в слякоть и мороз, - будто до этого самого парка он на своих плечах будет их волочь в собственный обеденный перерыв. Другой Хам, уставший безмерно от импортных вожделиний, витринных и экранных, уже спокойно разваливается на сиденье рядом с цепляющимися за поручни старой женщиной или просто женщиной, а девица, жуящая самозабвенно, уже и не отведет даже взгляда от стоящей рядом беременной женщины, вовсе и не догадываясь, что её ждет подобная же участь вскоре... И что хамство – реакция цепная и заразительная.

Впрочем, на низких ступенях социальной лестницы хамство -- скорее беда, спровоцированная верхним небрежением культуры. Беда, остриём своим обращенная в будущее государства, которое вне заботы о культуре бесперспективно, а то и просто -- не имеет прав на существование.

Видимо, пора уже криком кричать, что понятие культуры – всеобъемлюще, что, пренебрегая культурой, игнорируя её значимость хоть «на время», само понятие «государственности», как

института сбалансированности и сопряженности миллионов человеческих судеб в настоящем, как и поколений в будущем, – такое государство обречено и затягивает доверившихся ему в черную дыру самоуничтожения. Уже и нации...

Оглянемся же, господа, товарищи дорогие! Вглядимся и вдумаемся, что мы творим или что с нами творят – это ведь взаимоперетекаемо: если «творят», то значит и – разрешают творить.

Вот здесь был старый ТЮЗ и при нем кинотеатр «повторного фильма», шли детские сеансы... И в «Целинном» утренне-дневное время отдавалось школьникам, а кинотеатр «Казахстан» был во все детским, и многие родители благодаря своим чадам могли на час-полтора сами как бы вернуться к себе – далёкому и розовощёкому...

Детский кинотеатр «Искра», многочисленные клубы и кружки почти при каждом домоуправлении, клубы и дома культуры – у предприятий, Дома пионеров и музыкальные школы, достаточно доступные и помогающие детям воспринимать разнообразие мира вокруг и разнообразие человеческого общения. Всю эту схему каждый может дополнить, не настолько же коротка память, чтобы за какой-то десяток лет рыночно-базарных отношений напроць стереть и собственное детство, и юность.

Всё это ныне сдаётся, арендуется, теснится или ликвидируется под благополучный аккомпанемент полного отрицания жизни предыдущей. Производства и производителей стало больше? Увы, собственного изготовления пуговицы с иглой не найдёшь. Враз поглупело и вовсе разучилось что-то делать наше столь разное народонаселение? Но наши руки и интеллект (с таким «отсталым» ото всех в мире гуманитарным образованием, что иного прибывшего в Америку семиклассника – и не шибко-то в Алма-Ате преуспевающего – переводят в одиннадцатый) находят достойное применение в краях дальних...

А, быть может, не всё так уж под корень происходило из рук вон плохо? И что-то можно бы не упразднить столь скоропостижно и наотмашь? Или это кому-то опять надо? – Тогда самое время спросить: кому же? Ибо во много раз важнее – для того пророчествуемого будущего «рыночных отношений» (их еще называют теперь «цивилизованными», словно мы только вчера выскочили из пещеры и многочисленный чиновник нас благодетельствует, властвуя в еще большей степени, нежели бывшие «вожди») – во

много раз важнее перенести, передать то здоровое, тот духовный и интеллектуальный потенциал, который ведь накапливался же поколениями, пусть и вопреки... И без которого – собственного, а не заёмного, – народ, нация обречены на вырождение, деградацию. Что, естественно, невозможно без заботы о культуре, суть - памяти, накапливающей нравственный опыт и знание существования в собственном менталитете, а не в заёмном.

Непонимание, что суррогат чужой культуры (при всём уважении к её самостоятельности) способен взрастить у нас лишь бездумное потребительство, направленное к одному только подражанию, к имитации творчества и производства, уготованной сырьевым придаткам с дешевой рабсилой и заторможенными интеллектуальными потребностями. Непонимание? Или – отнюдь – чёткое осознание удесятёрённой армией бюрократии удобства управления дезориентированной массой исполнителей, ослепленных потреблением чужих недоедков?

Вспомните тяжбу города с Союзом театральных деятелей.

Выселяется из своего здания СТД вместе с театром «Бенефис», достаточно популярном, чтобы найти себе место под солнцем в России.

Чуть опомнившись (много шума?), для СТД находят место – в детском кинотеатре «Искра». Дети, получается, обойдутся и без кино, пусть через телики и видики приобщаются к компьютерной безвкусице и чужой «сладкой жизни». Эту экспансию американской квазикультуры переживали все страны Европы, защищаясь от нее на государственном уровне налогами, ввозными тарифами, поощрением собственных художников. У нас рыночные неофиты распахнули объятия, экраны, книжные лотки: любой «бестселлер» эротико-детективный стал доступнее Гоголя, Пушкина, а кино Казахстана (уже не России даже), получающее международные призы, зрителю вовсе недоступно.

Казалось бы, кому, как не творческой интеллигенции поднять свой голоса, но голоса эти всё еще в прошлых «разборках», в поисках виновных в собственных комплексах и лакействе...

Самый мощный творческий союз - писателей - уныло дышит на ладан, ибо почти утратил саму почву общения (этой «роскоши человеческого существования» - писателям нелишне вспомнить цитату, с таким пафосом произносимую прежде с трибун!). Утратил практически и свое здание, и зал, на который лишь изредка СП

получает разрешение, и бар со столовой - знаменитый «Каламгер», бывший когда-то центром встреч всей творческой интеллигенции столицы и её гостей. Всё сдано в аренду... частному предприятию, сдано ловко и «бессрочно»(?!), не принеся своим рядовым членам Союза ничего, кроме утраченной памяти. Как сдан и Дом творчества, построенный на общие деньги, всё тем же ловким дельцам. А книги стали «нерентабельны» – их почти не издают, даже известные имена исчезли с прилавков, что же говорить о новом поколении в литературе, поверхностно образованному и ориентированному на масскультуру?

Сокращены, а то и сняты дотации государства на культуру, образование, здравоохранение. Смее утверждать, что достойное развитие двух других важнейших сторон жизни общества невозможно без первого. Накопленное утрачивается в год-другой, восстанавливается потом - поколениями энтузиастов и гениев, которым нет места в обществе, сnivelированным чужой квазикультурой. И вновь государство поднимается давящим прессом над личностью, из функции, призванной гармонизировать социальные отношения людей, объединившихся в сообщество и веками создающими духовный и нравственный климат, государство вновь становится первичным. Такое мы уже проходили...

«Нужно ли было касаться того, что человеческому разуму понять невозможно? Нужно ли, господа?..» – спрашивает Чёрная графиня в финале спектакля «Другого театра» по прозе Александра Чаянова «Асмодеева кукла». Нет, конечно же вопрос этот не касается суеты одномоментной, которой живут временщики во все времена, не решаясь и не умея выстроить будущее даже на полгода. А скорее не понимая тех затаённых возможностей, которые даёт человеку высокое искусство – прожить свою жизнь далеко за пределами единой и быстротечной жизни, отмеренной индивидууму. И культура именно тот мост памяти, по которому общество способно пройти над пропастью.

В природе вообще, и в человеческой в частности, существует закон равновесия и есть запас жизнеутверждающих сил, некий резерв, который сопротивляется деградации. В человеке этот резерв накапливается памятью поколений, опытом истории и культуры, в которой личность сформировалась. И не нам бы грешить, отмечая то богатство, что осталось в наследие.

Разумеется, искусство не решает напрямую бытовых проблем.

Оно ставит вопросы душе человеческой, определяя его, homo sapiens'a, выбор; выбор единственного, своего места во времени и пространстве, и в обществе, следовательно, также. Созидать возможно лишь имея «душу живу» – убивая дух (или не давая ему проснуться), личность превращается в куклу, подвластную игре с нею любым силам. И скорее тёмным, ибо раб природе не интересен, более того – противоположен своим зарядом разрушения... Оттого так тревожит индустрия кича, охотно принятая и поддержанная бюрократом и нуворишем, что прививка этой иллюзии культуры «ниже живота» делается уже и насильственно в младенческом возрасте, без заложенности иммунитета культуры народной, знания и искусства классического. Моментальная сладость жвачки становится доступнее горькой питательности шоколада – не симптоматично ли?

И невольно вспоминается прежняя театральная Алма-Ата, премьеры, о которых знали и которых ждали, гастролы БДТ и Таганки, на которые стремились не только для того, чтобы «отметиться», шумные театральные разъезды и тихие разговоры в кафе. И не удивляло, когда в кресло рядом тихонько присаживался тогдашний министр культуры, человек удивительной душевной тонкости и образованности, Ильяс Омаров. Как умел он оценить, а при необходимости и отстоять перед цензором дерзкие поиски молодого Павлодарского театра, как легко смеялся на гастрольной премьере их острого «Клопа», а ведь был тяжело болен. Вот уж кому было бы горько и стыдно, доживи он до нынешнего опустошения духовной нивы...

Видимо отсюда исходит моё невольное недоумение на премьерах театра, аналога которому трудно найти не только здесь, но и в России. Третий сезон правит свои удивительные спектакли «Другой театр». Год на площади Республики, уж куда «центрее» место, теперь - в бывшем ДК «Строитель». Не обойдён ни прессой, ни телевидением и радио, больше, пожалуй, чем о других, и вполне закономерно. Гастроли в Москве и Нижнем Новгороде, в Эмиратах. Однако увидеть на спектаклях «отцов города» или района, что уж говорить о министрах и иных, административных руководителях... ленивы и нелюбопытны? Или – «не до вашей культуры сейчас»? А как дело – с культурой собственной, она уже достигла верхнего уровня?..

Поневоле вспоминается ответ Саввы Мамонтова на недоумен-

ную реплику тогдашнего министра финансов Витте: «Я слышал, Савва Иванович, вы много сил своей опере отдаете. И средств. Не лучше ли железными дорогами заняться, много ли пользы от этой вашей оперы...» И ответ Мамонтова: «Думаю, Сергей Юльевич, не будет искусства, не будет ни железных дорог, ни хлеба». Разговор происходил как раз век назад, и С.Ю.Витте был образованнейшим человеком, правда не миновавшем базаровского нигилизма по отношению к культуре. Ныне наступило, видимо, время нигилизма базарного. А Савва Мамонтов был «просто» промышленник, традиции организованных им в Абрамцеве мастерских для художников живы до сих пор, а имя певца его частной оперы сделало славу России – Шаляпин...

Теперь самое время вернуться к «Другому театру», руководимому московской артисткой и режиссёром А. Татариковой-Карпенко. Повторюсь – аналогов этому театру нет. И прежде всего чётко декларируемым и выдержанным репертуаром стилем «Русского модерна» – времени «серебряного века» русской культуры, времени «Мира искусств», который, словно предчувствуя грядущие катаклизмы XX века, создал свою эстетику познания внутренней, противоречивой и раздираемой сомнениями, сущности человека: с его сознанием и подкоркой, с его стремлением быть и – казаться, отражением и тенью, смертью и возрождением, как телесным, так и духовным...

Первый восторг возвращения целого неведомого пласта культуры, бывшего прежде под жестоким запретом в собственной стране именно из-за своей пристальности к личности, из-за веры в высокие возможности этой личности и горечи от человеческого самопредательства, – первый восторг откровения перед мощью времени русского Ренессанса, оказавшего значительное влияние, кстати, на культуру Запада и Японии, – этот первый восторг как-то быстро утих, приглушенный очередным политическим бумом. И если сегодня взглянуть на афиши театров ведущих московских, петербургских мастеров сцены, или ярких провинциальных режиссеров (Дзекун в Саратове), то нельзя не заметить, что их репертуар заполонила драматургия авторов Запада и Америки, зачастую «вторичная», а то и просто кичево-политическая. Рынок, диктующий жажду быстрого успеха и мгновенного обладания, проникает и сюда. Даже несмотря на то, что на том же Западе уже объелись собственным кичем и благоговеют перед русской клас-

сикой и самостоятельным экспериментом, в котором мы, вопреки внутренней мазохистской установке самозачеркивания всего и вся, оказались намного свободнее и, если угодно, «полётнее».

У «Другого театра» в Алма-Ате свой репертуар, его нигде быть не может, поскольку он и пишется, в основном, по мотивам авторов начала века и в точном расчете на артистов своего театра. Потому, кстати сказать, столь мучительно проходят здесь «вводды» в случае замены актера. «Мучительный дар» по прозе Валерия Брюсова. На мой взгляд, самый «программный» спектакль, самый гармоничный в слиянии пластики тела, слова, музыки и линии костюма с аскезой сцены, ни на мгновение не отвлекающей внимания от происходящей драмы: три женщины, три любви - от телесной до духовно-рефлексивной - в зеркале воспоминания (или представления) мужчины, три любви - на фоне и в переплетении с языческо-простонародной мистикой и чудесами, хранимыми в народной памяти и очищающими или примиряющими с жизнью...

Пьеса Николая Гумилева «Отравленная туника» интерпретирована эстетикой театра в драму страстей человеческих, ради которых может быть предано всё, даже собственная жизнь и любовь. В этот ряд естественно вошла и пьеса японского драматурга Юкио Мисимы «Маркиза де Сад» - с отсутствующим телесно героем, с горькою усмешкой и предоставлением возможности зрителю судить не только участников драмы, но и - себя... Как не без лукавства предпосылал когда-то Вийон:

*И обо всём судить, рядить,
Всё проверять, сопоставлять,
Соединять или дробить,
Приписывать иль сокращать,
А если не учен писать,
То каждую строку мою
К добру иль худу толковать, -
На всё согласие даю.*

Кстати, эти стихи можно было бы поставить эпиграфом и к работам театра: здесь нет навязываемой «идеи», нет стремления «научить» или «исправить». Есть одно: дать зрителю возможность взглядеться в себя, поразмышлять. А что еще вы хотели бы от искусства, как не осознания самого себя в этом метущемся мире?

И последняя премьера, состоявшаяся уже в этом году: «Кази-

но», игра-попури, созданная по сюжетам Пушкина, Достоевского, Набокова, Одоевцевой. Яркое, красочное, музыкальное действо, завлекающая, как сама игра – в карты и рулетку. Разве что – без проигрыша.

Можно было бы поговорить и о планах театра, намеренного не изменять ни своей эстетике, ни своему вкусу, ни профессионализму. Ибо служит театр – Красоте. Да, да – той самой... И верит в неё.

«На лебяжьих озерах» по прозе А.Чапыгина, драматургия М.Цветаевой и Л.Андреева, опять В.Брюсов, и далее – смотри «Серебряный век русской культуры». Это вовсе не означает прямое перенесение тех традиций и пристрастий – ничего нельзя вернуть в первоизданном виде, сам подход был бы порочен, Вот взять все лучшее – необходимо. Привнеся свою боль, свои представления, свой сарказм, которого больше всего недоставало художникам начала века. Они серьезно относились к идее сделать жизнь – театром, даже выстраивали свои собственные судьбы соответственно драматургическим представлениям... Позже нам навязали другой театр – приукрашенное отражение жизни, что непременно становилось ложью. Видимо, есть иные пути...

На их поиски и отправился «Другой театр» с молодыми, красивыми и преданными искусству артистами.

Что же насчет планов на будущее... лучше воздержаться. Пока за декабрь артисты получили зарплату тушенкой, так что друзья-зрители театр не оставят...

«Казахстанская правда», 1994 г.

СЕРГЕЙ КАЛМЫКОВ

«... В отношении заработка художник должен быть обеспечен, общество само должно думать об их пропитании. Дело же художника: есть готовое и заниматься своими дикими фантазиями.

Искусство – это мифология а не деловой расчёт.

Мир болен. И только художники способны привести мир к спасению!»

(Из дневников С.И. Калмыкова)

Художнику в России надо жить долго

(почти притча)

ВОЗВРАЩЕНИЕ СЕРГЕЯ КАЛМЫКОВА

*Не слушайте нашего смеха.
слушайте ту боль, которая за ним...*

А. Блок.

Тридцать лет взволнованной, наполненной тяжкой неустроенностью и напряжением творческого труда, жизни связаны у Сергея Ивановича Калмыкова (1891–1967) с Алма-Атой. До нее столь же неустроенный, полуголодный Оренбург. Возможно, судьба испытывала собственный Дар художнику на прочность. А ею зрителей – на созвучие. Для последнего потребовалось времени больше жизни самого художника, как это, увы, часто случалось в истории нашей культуры.

Первая посмертная персональная выставка – многие помнят её! – вызвала возмущенно-восторженный резонанс. Отразившийся в книге отзывов: от пресловутого «это непонятно и не нужно народу», до – «почему от нас скрывали гения»... Выставка тогда была скоростижно свёрнута велением чиновников «на культуру». Работы художника надолго переместились в хранилище.

Надолго. На жизнь целого поколения. Нынешняя экспозиция – спустя ровно двадцать лет – явилась как нельзя кстати, ко времени, она будто навела мост от серости и нищеты духа через сумбур и смятение, жажду перемен и тоску по красоте – к одухотворённости и осознанию безмерности жизни человеческого космоса...

Еще в 1958 году (художнику 65 лет) Калмыков записывает: «Кому нужны ваши Страхи-Лады?» – задали мне вопрос. Кому были нужны карикатуры Леонардо да Винчи? – ответил я. Надо полагать, прежде всего ему самому! Да и другим тоже – Ренессансу, эпохе Гуманизма! *Полноте Вариационного ряда Человеческой Мысли!*» (Курсив мой. – В. К.)

Господи! – захотелось мне воскликнуть, натолкнувшись на эту заповедь. – Но ведь и Россия когда-то должна же дожить до Ренессанса и Гуманизма!..

Мне повезло: работая в архиве, я нашел записки композитора Евгения Брусиловского о том, как он по поручению первого наркома просвещения Казахстана Т. Жургенева (позже репрессированного и расстрелянного) ездил в Актюбинск, где гастролировал в 1935 году Пензенский (Верхне-Волжский) передвижной оперный театр под руководством Ф. Вазерского. Ездил, чтобы пригласить на гастроли в столицу республики – позже театр останется и станет основой русской оперы в Алма-Ате, а его художник Сергей Калмыков – незаменимым надолго художником-исполнителем театра.

«Взял 120 тысяч рублей, купил браунинг № 2... Добрался до Актюбинска... Вокзал просторен, тосклив и пуст. Голодные собаки вопрошающе смотрели на меня. За вокзалом – ДК железнодорожников, где работал передвижной театр. У входа... красочные плакаты, анонсирующие сегодня «Кармен», а завтра «Прекрасную Елену». Эти плакаты делал сам Калмыков. Пройти мимо, не обратив на них внимания, было невозможно. Калмыков... был опасным соперником Тулуз-Лотрека». И еще: «Как всякий бродячий коллектив, в поисках хлеба насущного театр обладал большой маневренностью и храбростью, переходящей в легкомыслие... Пришлось посмотреть Кармен. Это был не Мариинский театр, но постановка выглядела вполне прилично. Темпы и ноты были на месте... а Мария Харитоновна была талантливая певица (меццо-сопрано)... Холсты, изображавшие табачную фабрику, таверну и нечто похожее на церковь, от первого же прикосновения начинали качаться, что делало сцену эпицентром сильнейшего землетрясения... В целях экономии средств и времени художник, очень своеобразный человек, делал из одной заготовки для декорации две разных... с одной стороны была Кармен, но если холст повернуть, то получалась декорация «Щелкунчика» (У С. К. этот прием сохранился и в живописи – видимо, с той же целью. На выставке нашли решение показать обе картины на одном холсте! – В.К.). Все декорации были мягкие и весьма портативные. Театр мог в течение недели поставить до десяти названий от «Запорожца за Дунаем» до «Гибели богов» – стоит только повернуть холсты. Фамилия у художника была – Калмыков... Он делал кроме декораций также свои костюмы, очень театральные и эксцентрические, в которых смело ходил по улицам. Тут были старинные береты с кистями и бантами, цветастые камзолы с яркими планшетами на лентах через плечо, тут были невероятной расцветки

брюки с раструбом внизу и разрезом сбоку. Встречные испуганно шарахались при встрече с Калмыковым, а потом долго изумленно смотрели ему вслед...»

«Художник у нас один, он пишет во время второго акта третий, во время четвертого – пятый! – говорил директор кому-то по телефону. – Попробуй-ка! Так я стал здесь знаменит и меня стали проставлять на афиши и в программы...» - запишет сам Сергей Иванович. – Я люблю широкий размах в своей работе, который можно найти только в оперном театре, где есть возможность написать многие сотни и тысячи метров холста»...

Но эта работа почти не оставляет времени для иного творчества и познания, заработок закабалает и выхолащивает, уже почти рядом слышно восклицание: «Опера выматывает из меня кишки и мои жилы вытягиваем Это какое-то колесование в Древней Вавилонии, а не работа». Однако, с театром его жизнь связана прочно и надолго – до 70-ти лет. «Я в театр работать хожу, вместо того, чтобы писать свои собственные композиции Ах, погибает искусство!» – «В отношении заработка художники должны быть беспечны. Общество должно само думать о их пропитании. Их же дело есть готовое и заниматься своими дикими фантазиями. Ибо искусство – проект дикаря об отдаленном будущем. Искусство – это мифология, магия, а не деловой расчет. Мифотворчество. Детская игра».

Остается добавить лишь, что только общество, способное оценить художника и дать ему возможность работы без опеки, жизнеспособно и может рассчитывать на прогресс и нравственность своих граждан.

Мечты о свободе творчества, просто – об освобождении столь дорогого времени от повседневных забот о пропитании, о топливе для печи, о бумаге, которой нет или дорога (впрочем, ведь можно писать и на обоях, и на географических картах! Вот только нет у музеев потом средств на реставрацию...) досадные заботы о протекающей обуви и хрупкие сны о покровителе-друге, способном выслушать и увидеть не «чужачество и мазню», как воспринимается труд окружающими безапелляционно (по неграмотности или из зависти), но поиск и откровение...

Какой художник не грезил этим освобождением! А выход один – труд, постоянный, в любых условиях быта и погоды фиксировать уходящее, ускользающее время, записывать и зарисовывать даже на шагу, даже чуя что «попал одной ногой в воду и нога промока-

ет... но эти переплетения проводов, уходящих в бесконечность!».

Труд на износ, но и в восторг, самоотказ от невинных даже благ и... неистребимый оптимизм, укрепляемый пониманием собственной единственной в общем-то для каждого живого, но далеко не всегда осознанной миссии на этой земле. У Сергея Калмыкова она осознана настолько изначально, с юности, с художественной школы Званцевой в Петербурге, с неистовых поисков своего выражения в 20-е годы Оренбургского АХРа, что до конца дней не остановит художника ни непонимание, ни голод и выматывающий никчемный труд разовых заказов на шпалопропиточном или другом предприятии, ни отрицание его самого. Ни – что, наверное, страшнее для творчества, нежели отрицание и даже преследование – намеренное замалчивание, глухое неприятие, которое встречает безоглядный его поиск, в среде коллег и официальных «командиров культуры»... «Если я не современен, то тем хуже для современности». И ободрит себя: «Надо полагать – я должен благодарить свою судьбу – за то, что пока мне не везет в жизни! Если бы везло, я, вероятно, давно бы помер! А сейчас – никак нельзя! Умирать! Тогда пропадут все мои работы! Скажут – формализм, чепуха! Это, мол, никому не нужно!.. Ну, вот. И живу! Так что мне надо быть благодарным. Я и благодарен – судьбе своей!.. Так я и до ста лет доживу!»

Два автопортрета на выставке разделяют полвека... И та экспозиция, от которой у посетителя выставки начинает кружиться голова, а глаза туманятся неожиданно возникшим волнением от сознания прикосновенности к космосу – и не только к космосу природы, вселенной, мысли, но и... к неведомому дотоле космизму собственной души, – экспозиция эта, в которой открывается удивительное, противоестественное порой и тем еще более волшебное сочетание красок и ритмов, вместились именно в эти полвека творчества, словно заключенного в период между двумя ликами автора галереи картин и рисунков.

1915 и 1967 (последний портрет всего за неполных два месяца до смерти в психической клинике). Того юноши петербургской еще школы, что поразил шедевром «Красные кони», исполненным в 1911-м и вызвавшим оценку Петрова-Водкина: «точно молодой японец, только что научившийся рисовать...» А в нем уже были и пластика, и путь, и уверенность, и единственность цвета и линии,

хотя он всю жизнь работал в разных манерах, жанрах и направлениях одновременно. Цвета и линии, резко и сразу отличающие Сергея Калмыкова от любого другого мастера, настолько запоминающиеся, что впечатываются в память даже непосвященному зрителю каким-то зыбким, неведомым волнением предчувствия собственно-личностного прозрения... И того, последних месяцев – умудрённого несчастьем, и удовлетворенностью участью, и познанием неведомого, и мастерством, которое даже больную линию наделяет точностью единственности, а память – непреложностью связи прошедшего с будущим...

И становится неважным и понятным в своей неважности: как нищенская пенсия в 52 рубля, («заработанная» художником на семидесятом году жизни, когда он решил окончательно заняться и успеть с собственными живописными работами подвести итоги, не отвлекаясь на декораторскую деятельность в театре); неважным, потому что ничто не могло остановить, как и прежде, оскорбить художника, помешать ему – говорить свое: «я уже более девяти месяцев на пенсии!.. Сволочи! Вместо обещанных 82 рублей... только 52! Но и то – хлеб! И считаю – это хорошо!..» (Между прочим, работая в Архиве республики, я нашёл документ о медали и несколько высоких грамот за работу в театре. Что давало право на персональную пенсию! Не умел просить, не подсказали...). И уж вовсе неважным видится и «автоматическое» исключение из членов СХ за неуплату взносов – что в том членстве, когда и в анкете-то на вопрос «были ли за границей» еще ранее с горько-саркастической гордостью имел право писать, вводя в шок чина по кадрам: «нет – но видел выставку подлинников Французского изобразительного искусства за 100 лет – в Петербурге в 1912-ом году»...

Невольно лишь думается: какого еще роста имели бы мы в художнике, получи он возможность побывать в землях любимых им Леонардо и Бёрдслея, Гойи и Ван Гога. на земле снов и... предчувствий – Вавилонии и Египта... Или того проще прижизненной выставки и внимания, – внимания и участия, которых так не хватает любому творцу в современниках, на равнодушие которых, увы, так часто художник обречён по неустройству социума и воинствующему невежеству и зависти окружения...

«Пишут, как отобрать среди молодежи способных для математики, в специальные интернаты для дальнейших самостоятельных

работ – необходимых для пополнения кадров программистов и т.п. Чтобы не отстать от Америки! – О низком уровне подготовки в педагогических институтах и об учебниках. И тут... затеяли совсем нехоти борьбу против абстракционистов в искусстве, исходя из того, что предметы искусства якобы должны быть понятны для всех неподготовленных к восприятию... Мерилом качества искусства должен быть не уровень любого! Надо тренировать сознание постоянно и везде именно по разделениям, разбирая кропотливо и детально всё по частям! Тем-то и силен русский балет, что каждое движение разложено на составные части и каждому дано название-термин! То же делают и кубисты и абстракционисты! Разлагают весь процесс изображения по частям! Как затвор в винтовке! И когда это сделано, легко всех научить самым сложным вещам! Мы можем моментально оказаться на мели... дело совсем не в том, чтобы угождать дояркам, кровельщикам и т.п... Но излишняя забота о мелочной пользе искусства может привести нас очень быстро к полному отставанию в практической жизни! И сейчас нет дешевых ярких тканей! Стараются всё обесцветить... не понимают, что этим снижают силу жизни! Клеенки белые запечатывают паршивыми рисуночками, отучают смотреть на чистые цвета! Глаза надо тренировать!.. Чтобы видели все составные части целого, чтобы видели и линии, и цвет, и перспективные сдвиги, искажения. А то... слепые учат слепых!.. Это-де шарлатанство, абстракция! А смысл, мол, не в том, что у всех на виду, а в том, хорошо или плохо с точки зрения идеологии, понимая под идеологией одни заученные фразы. А вот математическое мышление и восприятие физических явлений, это важно – видеть и понимать, как сделаны сложные и самые, казалось бы, простые вещи, из каких элементов (и знаний) и как они слагаются – в культуру!.. Хотят запретить – говорить, думать – смотреть и понимать; действовать только «как принято»... А потом – хлоп! – наплодили холуев!.. – или маменькиных сынков и папиных дочек! А нас после этого – опять по зубам и по зубам!.. Вот это-то и есть самая дурацкая идеология – воображать, что теперь можно жить по-старому! Нужно, чтобы каждый наш ребенок – стал академиком!.. научите и. самое главное, дайте всё, чтобы можно было не говорить, а рисовать – бумагу! – и не только плохую, но и хорошую! – и краски!.. дешёвые и яркие... пусть дети начинают с

Азов – с треугольников! И по порядку всё! От простого до самого сложного. От точки – до идеального человека! От прямой – до самой красивой девушки! От круга – до города Будущего!..»

Здесь невольно хочется перевести дыхание и утвердить: Сергей Иванович Калмыков, художник, был – счастливым человеком. При всей сложности судьбы, трудностях жизни и обстоятельствах – он был счастливой личностью. Потому что... художник всегда делает свой выбор, обязан его сделать... чтобы не обмануть выбора, остановленного на нем природой. Калмыков свой выбор сделал однажды и не изменил ему: если вам удастся увидеть его работы и вы всмотритесь в этюды еще 1909-го года, то поймёте, что уже они обладали «метой мастера». Да, в сложные, усталые периоды жизни он сам задавал порой себе вопрос: «А может быть мне лучше было бы завести семью, жить нормально... я мог бы быть хорошим отцом...» Ведь он был очень добр, по самому высокому счету, несмотря на угловатость и даже жёсткость характера. И эта доброта вся влита в его живопись, в его картины: она стала его тезисом в одном из споров с Пикассо на страницах дневников: «Хороший художник прежде всего бескорыстен, наивен и открыто щедр»...

Помните, что написал Е. Брусиловский о впечатлении от костюмов, поведения художника? Или – Юрий Домбровский? Многие и нынче вспоминают – чудака, убогого, потешника на улицах Алма-Аты... Не задумываясь, что всем время диктовало облик незаметности, усреднённости. И принимали ведь, вбирали голову в плечи! А стоило бы отдать должное восхищению – уже одной смелостью художника, тревожившего, пробуждающего воображение в общей социальной летаргии... Но нам ещё и не хватало, катастрофически не хватает до сих пор, чуткости и понимания, и сострадания. Увы, когда такое становится нормой социума — общество обречено на отсталость и дикость. Ибо то же время продиктовало художнику его «облик» не только как протест, как стремление к праздничности бытия и личности, но и – как способ своеобразной самозащиты от всеобщей покорности и обезличенности: выбор маски, смешной или убогой, но – ведь и обезопасенной в этой убогости от покушения на достоинство... И не его беда, что отношение к маске перенесено на произведения искусства. Наверное, беда эта – наша...

Честное слово, становится не по себе от той открытости, ще-

дрости художника, дарящего нам столько света, красок, звезд, парящих зданий и идеальных женщин с крылышками – ту самую Красоту, призванную очистить душу. Спасти – Мир. И – отторжение этого дора творца, попытка столкнуть саму память и творения в небытие.

Конечно же необходимо ещё и желание — научиться красоту видеть и принимать такой, какой она исторической культурой создана. И... принимать жертвенность гениев.

Казалось бы время пришло проснуться, и есть возможность очищения себя завещанным многовековым опытом культуры бескорытием... После публикаций «Простора», после романа Ю. Домбровского, сделавшего имя Сергея Калмыкова открытым миру, после солидной экспозиции в «Нашем наследии» – выставки этой ждали. Волновались при открытии сотрудники Музея искусств и Госархива, сумевших в силу своих незначительно-«остаточных» средств и возможностей вновь открыть людям большого художника, сумевших усилиями общественности провести Вечер памяти Сергея Ивановича Калмыкова, в котором приняли участие музыканты высокого класса – ведь эта живопись так родственна музыке!

...Не было опять лишь тех, кого экспозиция должна бы волновать непосредственно: Союза художников. Комитета по культуре. Оперного театра... Впрочем, недалеко ушла и пресса, которая, кажется, до сих пор еще пребывает в уверенности, что экономику способен поднять люд бездуховный, что культура – суть «прослойка» бездельников. И даже сегодня умудряющаяся противопоставлять интеллигенцию – работающим... И всё еще по старой памяти рады бы наложить запрет на неудобное или неудобное произведение лишь потому, что «есть мнение».

Видимо тем, кто «руководит» (руками водит?) искусством и до сих пор претендует на право решать его судьбы, долго ещё придётся отыскивать в себе зародыши понимания того, что не поддаётся канцелярскому учету – духовности и нравственности, в понятие которых входит как уважение к труду даже и художника, расплачивающегося судьбой за свою истину, так и к иной, не обкатанной декретами и установками, самостоятельной мысли, для которой и рождается – человек. К пониманию, что нет культуры «своей» или «нашей» и «чужой», как нет «прошлой» и «отвечающей сегодняшнему дню» – в итоге не остается

никакой при временщиках, когда переливается она из малого сосуда – былого размышления над красотой, духом и назначением человека, в сосуд больший – способный вместить и старые дрожжи опыта и новые – прозрения, которого не станет, если исключить или заврать историю... Можно потратить новые тысячелетия на изобретение колеса, избыв его изображение декретом отрицания.

Мы пережили тяжкое время, когда людей обучали грамоте, чтобы они умели читать газеты, в которых – ложь, и – соглашаться с нею. И покорно слушать решения и приговоры Красоте – «от имени народа», за который невежда может решить – что читать и как смотреть, и какую музыку слушать... Риторически-агрессивный вопрос «разве народ может быть неправ?» должен бы, наконец, получить ответ, чтобы выбить стул из-под конъюнктуры – во имя самого же народа.

И вот уже приходит время иной конъюнктуры, столь же не обременённой знанием или корнями традиции. Можно из стремления поспеть за модой даже «допустить» восторг «Чёрным квадратом» Казимира Малевича и – не понимать, символом чего он явился, итогом каких раздумий, какой боли. Ибо в квадрат этот, при старании, способны провалиться искусство любого народа, духовность, сохраняемая самобытной культурой, питающей культуру мировую. И – нравственность, вовсе оказывающаяся ненужной бастардам, лишенным корней. И в это бастардство погружены мы все...

Да, может быть неправ народ, если позволяет противопоставлять себя – собственной культуре, собственному языку, не давая им развиваться, если покорно принимает разрушение собственных святынь и нравственного опыта, веками накапливаемого интеллигенцией. Если даёт говорить за себя палачам, лицемерам или невеждам...

Художник Сергей Калмыков жил долгую, осложнённую как таклизмами жизнь. Впитав в себя классические истоки мировой культуры, он развивался на театральной красочности «Мири-скуссников» и на свободе поиска русского авангарда, свободе, всегда опьяняющей, но естественной в лоне сложившейся традиции. И сумел реализовать свой потенциал красоты, вопреки уже складывавшемуся в начале века «фельетонному времени», в котором законодателем и вершителем культуры (скорее – без-

культуры...) становилась газета, пошедшая на службу чиновному сословию, что в великую гражданскую смуту узурпировало право одномыслия послушного и заведомо покорного. Нам всем ещё не одно поколение предстоит освободиться от этой повязанности стереотипами, которые так легко матрицируются и которым имя – серость.

И радостно открытие на экспозиции Сергея Ивановича Калмыкова, столетие которого будет через два года, что единственный цвет, отторгнутый художником – серый...

«Простор», 1988 г.

«ЕСЛИ Я НЕ СОВРЕМЕНЕН, ТО ТЕМ ХУЖЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ»

*О судьбе Сергея КАЛМЫКОВА, великого художника,
несчастливого гражданина и счастливого человека*

Ах, как не хватает нам сейчас чудачков! «Чудиков», как называл Василий Шукшин людей, выламывающихся из повседневной суеты, бескорыстных и очарованных своей идеей, соотнесенной уж никак не меньше, нежели с интересами всей планеты. Или – космоса... Когда-то, очень давно, в сумрачном пещерном мраке, подобном, пожалуй, для многих и нынешней смури, именно такой чудак умудрился привязать камень к палке, как и ударить кремь о кремь, чтобы добыть огонь. А другой чудик и вовсе неизвестно зачем трагил силы, выцарапывая на каменной стене рисунки. И, вполне вероятно, вызывая насмешку у своих прагматичных собратьев, озабоченных урчанием в желудке...

И все же при появлении такого чудачка, даже если его забрасывали камнями, сжигали на костре или просто оставляли без пищи помирать, – при явлении гениального чудачка человечки поднимали голову к небу, делали новый шагок – вперед. К тому, что зовется будущим... и вне устремлений к которому человек как явление в природе бессмыслен.

Алм-Ата в этом смысле – счастливый город. Удалённый, казалось бы, на тысячи вёрст от центров культуры в провинциальную глушь, он вольно и невольно давал приют и благодатную почву многим, чьими именами можно теперь гордиться. И Алм-Ате ещё предстоит, благодаря странному «чудикам», занять свое, только ей соответствующее, место на карте культуры.

А ведь этот город стал приютом для многих имен, уже теперь значимых в мировой культуре: здесь появилась первая книга Николая Федорова, родоначальника «русского космизма» и идеи противостояния Апокалипсису общим «воскрешением отцов»; здесь

писал свои последние строки Чайанов, отсюда вдыхал кислород Чижевский, развивая свою теория воздействия солнечных волн на земную жизнь, здесь снимались фильмы для мирового фонда культуры, писались книги, картины...

И среди них, признанных и непризнанных, напечатанных за пределами и сохраняющихся в архивах и музейных заказниках, особо светит одно имя – Сергей Калмыков.

И странным кажется для многих. кто помнит город еще 60-х годов, что вот уже четверть века не встречается на алматинских улицах тот нищий чужак в разноцветных, самошитых и размалеванных масляными красками одеждах, что жил только на молоке и хлебе, вызывал столбняк у встречных граждан и писал на любых перекрёс- тках свои фантастические картины, в которых время пульсировало столетиями, тысячелетиями, а краски излучали музыку звездную, которую ему играл великий Моцарт на космическом каменном рояле со световыми струнами.

«Я вижу анфилады зал, сверкающих разноцветными изразцами. Я прохожу по плитам, испещрённым разными знаками. Меня сопровождают звери и птицы. Рыбы сочувствуют мне в своих водоемах изгибает спину пантера и ластится у моих ног. Птицы поют. Солнце светит лучами. Всё блестит переливами остро-нежных красок. Сколько золота, серебра, черных, белых, розовых и мутно-желтых камней.

Я все это вижу! Я иду среди всего этого! Я вижу иные миры!»

Теперь имя Сергея Калмыкова потихоньку пробивается сквозь туманности умолчания. Опубликован, сначала в Париже, а потом и у нас, роман Ю. Домбровского «Факультет ненужных вещей», многожды экспонированы репродукции картин художника в журнале «Простор» и представлены богатой печатью в журнале «Наше наследие»; снят полнометражный документальный фильм «Это Я вышел на улицу!»; длительные выставки, состоявшиеся в Музее искусств им.Кастеева и в Государственном музее Казахстана; добротная монография, правда выпущенная тиражом... в две тысячи экземпляров.

И до сих пор – мнения противоречивые, от неприятия до восторга, от смущения до откровенного подражания (всегда, впрочем, бессильного и непродуктивного).

Кто же он?, И что стоит за эскападой подписи: «Гений I ранга междупланетной категории, Магистр цветной геометрии и Гроссмейстер линейных искусств и пр. и пр.»? И – стоит ли?

Большой художник уходит от своих современников ещё при жизни. И сам делает выбор, счастливый выбор прежде всего для себя и потомков, но – и трагичный выбор, ибо зачастую остаётся в одиночестве. «Если я не современен, то тем хуже для современности», – записывает Сергей Калмыков. И остаётся в памяти обывателя юродивым, накапливая всё свое богатство в каморке или в квартире без света и газа, который он отключил «за ненадобностью» - по нищете и неприязнительности.

Первая посмертная выставка 69-го года вызвала возмущённо-восторженный резонанс. И потому была скорострительно закрыта: «Это народу не нужно». Работы переместились в хранилище надолго, в архив доступ закрылся. И слава богу, что добросовестные архивисты наши устояли перед рекомендациями «выбросить хлам». Встреча художника со зрителем была отложена надолго, на жизнь целого поколения. А быть может, и больше – ведь нынче, говорит и, главное, делает кое-кто, что – «не до искусства». «Мир болен...» И, увы, не в первый раз. А общество, где труд интеллектуальный начинает цениться ниже ручного – обречено.

«Как медленно текут минуты! Но они идут. Тикают секунды, и нам навстречу бегут астрономические пространства!». «Кому вообще нужен Леонардо да Винчи? Надо полагать, прежде всего ему самому. А потом – Ренессансу, эпохе Гуманизма. Полновариационному ряду человеческой мысли!..»

Без которой, добавим, человек так и остался бы в пещере, и благополучно давно вымер бы. Это лишний раз доказывает в наше смутное время, к которому привели неучи и невежды, взявшиеся определять, что «нужно народу» и, как прежде, манипулирующие лозунгами и дефицитом. Пока окончательно не внедрят сомнение в «пользе» художника, в его праве на существование. Опасное, кстати, всегда – властителям, озабоченным лишь сиюминутным временным пространством. И действительно - какая польза от песни?

Каждый человек ежедневно останавливается перед зеркалом. Насколько пристально мы смотрим в глаза – себе? И что хотим мы увидеть в зеркале, кроме причёски, новых румян и шляпы? И осознает ли каждый, кто видит своё отражение, что сам пишет всю жизнь собственный автопортрет. Всю жизнь: ибо постоянно человек стоит перед выбором. Для большинства художников характерно в разные периоды своей жизни исполнение автопортретов. И не

только потому, что он сам для себя является доступной и дешёвой натурой (что порою и немаловажно – вспомним Ван Гога, Гогена, тех же Леонардо и Рембрандта, дело, как видим, и не в социальном укладе только, ибо художник (настоящий, не конъюнктурный) всегда нежелательный раздражитель общественного застоя). Но ещё и потому возвращается он к автопортрету, что человеку свойственно накапливать опыт, вбирать в себя новые знания и знания былых поколений, поверять себя по тем идеалам, что поставил перед собой когда-то. А изменяясь сам, человек ведь и окружающий мир изменяет, пусть это вовсе незаметно невооружённому глазу.

Два автопортрета Сергея Калмыкова разделяет полвека. И все творчество вмещается именно в «золотом промежутке меж этими двумя автопортретами – 1915 и 1967 (последний портрет и всего-то за два неполных месяца до смерти от воспаления легких в психиатрической клинике).

Вот портрет того юноши – петербургского еще периода, что, бросив гимназию в Оренбурге и школу живописи, ваяния и зодчества в Москве, поступил в частную школу Елизаветы Званцевой, где учился у Л. Бакста, М. Добужинского и К.Петрова-Водкина. И поразил уже тогда шедевром «Красные кони», исполненным в 1911-м и вызвавшим уважительную оценку Кузьмы Сергеевича, лишь спустя два года написавшего свое «Купание красного коня»: «Точно молодой японец, только научившийся рисовать!»

А в том Сергее Калмыкове уже были и пластика, и путь, и уверенность, и единственность цвета и линии, хотя всю жизнь работал он в разных манерах, жанрах и направлениях одновременно. Но цвет и линия эти сразу и резко отличили именно его, Сергея Калмыкова, от любого другого мастера настолько, что просто впечатываются в память даже и непосвященного зрителя – каким-то зыбким, неведомым волнением, предчувствием собственно-личностного прозрения. Познания себя через художника... И подражать Калмыкову бесполезно.

И другой – последнего года – автопортрет умудренного не-счастьем, отяжелённого тяжким бытом, неприятием собратьев по цеху, но и удовлетворенного ведь своей такой участью – ибо сам её принял, выбрал, исполнил. Удовлетворенного и познанием чего-то неведомого. Его откровения – с осознанием собственной слабости и тщеты в желании докричаться, и жесткой иронией над собственными претензиями к вниманию. Но и – верой, верой!

Художник Сергей Калмыков очень серьезно относился ко Времени. Нет, не к тому, что тикает на наших часах, что регулярно попискивает для нас по радио. Он знал время иное, перед которым нес личную ответственность. «Ни одна вещь, ни один предмет не начинается нами и нами не кончается... Все они начинаются вдали от нас и кончаются далеко за нами. Все связано -начала и концы. То, что я задумал – очень длинно, очень протяженно и в пространстве и во времени. Все это имеет эпический размах. Недаром я декоратор – исполнитель огромных декораций. Я не мыслю себя вне оформления... разных Гранд Опер, Гранд Выставок, Великолепнейших Архитектурных Ансамблей. Но не мною они начаты и не мною окончатся. И все они так или иначе соприкасаются теми или иными своими точками... с теми или иными данными внутренней психики того или иного лица...»

Это вот ощущение времени и давало художнику возможности и силы для работы в условиях, прямо скажем, нечеловеческих И все же практически ни в одной его картине, ни в одном рисунке или этюде невозможно увидеть ни отчаяния, ни страха, его оптимизм всегда космичен и жизнеутверждающ, ибо - «ничто не начинается и не кончается нами:..» Это сродни Тютчевскому:

*На недоступные громады
Смотрю по целым я часам, –
Какие росы и прохлады
Оттуда с шумом льются к нам!
Вдруг просветлеют огнецветно
Их непорочные снега:
По ним проходит незаметно
Небесных ангелов нога...*

Видимо, оттого во всех так называемых «фантастических» циклах зритель осязаемо, прямо кожей, ощущает то покалывание «иголок межпланетных», что несутся мимо и через нас, унося в другие миры и – как знать! – в иную жизнь наше дыхание и наши мысли. Которые художник уважает – иначе к чему ему окружать своего зрителя или слушателя таким волшебством сказки и абсолютно сказочных героев, ибо все у него красивы – даже «Страх-и-Лады», существа и вовсе уж невообразимые. Однако решаются они такою цветовой гаммой, что становится понятным – здесь есть чистый воздух, которого не всегда достаточно на земле, в нашей пыльной

суете... Но красивее всех у Сергея Калмыкова – женщины! Грациозные и длинноногие, готовые снять с сердца любого усталость и заботу, но готовыми в любой момент вспорхнуть – у многих из них есть и крылышки. Впрочем, они для них и необязательны: они сотканы из такой, только его, калмыковской линии точек и штрихов, что сама жизнь этих красавиц – «парение, и достаточно малейшего ветерка..; ну, хоть с другой планеты, малейшего зова, чтобы они поднялись и растворились в пространстве. Да художник и не скрывал своего убеждения: «Ибо гений мой – женского рода!» – как и сама Жизнь, как и Любовь, как и Мысль. Не странно ли?.. А впрочем!..

Что, кажется, несет нам художник? Развлечение? Отдых? Убежище от забот и суеты повседневно? Наверное, так и хотелось бы многим представить суть и задачи искусства. Спор (или – раздумье) не нов. И пока это остается предметом спора (или спекуляции), нет у нас никаких перспектив – у нас, у человечества в целом. Ибо искусство – первичнее экономики, политики и уклада социального, потому что нельзя названные счастливо строить, имея душу опустошенную, несвободную, не страдающую о свободе других, рядом. Лишь научившись уважать себя, можно научиться уважать личность рядом – да, ведь тогда ты захочешь относиться к другому, как хотел бы, чтобы относились – к тебе.

Не ново, да:

Мечты поэзии, создания искусства,

Восторгом сладостным наш ум не шевелят...

М. Лермонтов.

Константин Коровин, вспоминая Савву Мамонтова (а это был, кстати, первый и единственный, кто купил картину Ван-Гога при жизни великого голландца), записал один разговор купца с Витте, тогдашним премьером или министром финансов. Сановник все не мог понять, зачем-де Мамонтову держать убыточный театр-оперу: «надо двигать промышленность». «Это серьезнее железных дорог, - ответил министру Савва Иванович. – Это далеко не одно увеселение и развлечение». «... Надо было видеть, как тот посмотрел на меня... И сказал откровенно, что ничего в искусстве не понимает. А ведь умнейший человек, не странно ли?.. Когда будут думать о хлебе едином, пожалуй, не станет и хлеба». Нет, и в самом деле не станет, мы это ощущаем ныне, еще не понимая, куда может завести нас небрежение духом и культурой, несущей способность сердцу

болеть и ответственность, а мысли – развиваться. Только – где наши Мамонтовы и Третьяковы? Где они?..

И существуют, видимо, люди - а это всегда дарители, создатели – с патологической обреченностью, с полным неумением изыскивать выгоду и, значит, зарабатывать на жизнь достаточно, чтобы производить то, к чему их призвала природа. Странно, но там, где другому бы заплатили втрое, этим обязательно платят гроши или не платят вовсе. «Артист ведь делает из удовольствия!» – да, и без этого просто жить не может, ежели он искренний художник. И речь-то не о лентяях – о работниках, которые все равно будут делать, что бы ни получили позже. И делать-то станут по верхнему критерию – иначе профессионал и не умеет... а потом свалится где-то, обессилев, хорошо, если не в канаву. Вспомните великого Моцарта, захороненного в общей могиле...

Но вот позже... а позже ему же в вину встанет это истощение, это неумение и нежелание приспособиться, этот голод и обреченная нищета.

Вот и художник Сергей Иванович Калмыков, умерший четверть века назад в больнице от дистрофии и воспаления легких, кажется, разве не мог бы «пописать» для хлеба насущного тех же «Лебедей», а не Леду? И продал бы на базаре, и жил бы... Нет! Не мог, обреченно не мог преступить через себя и гордость художника, которому доверено вдохновение и мука. Нет, уж скорее перечеркнет готовое; казалось бы – отдай да забудь, ан нет: уж лучше поиздеваться... и всунуть треуголку Наполеона в руки героя-любownika, ожидающего портрет. Скрипнув зубами, сунуть, и расхотавшись – над собою, да над собою же...

«Никто больше меня не любил рисовать на улице! В этом моя сила! Кругом стоят, зевают, глазуют, удивляются. Кто во что горазд!.. Другие – завидуют. Скучают. Задирают! Я ораторствую! Огрызаюсь, острою - словом, чувствую себя в своей тарелке. Здесь нет мне равного! Казалось бы, меня надо на руках носить. Я же всю жизнь делаю это задаром. За тысячерых! А всем все равно... И все же все хорошо. **Хороший художник прежде всего бескорыстен, наивен и открыто щедр**» (выделено мною – В.К.).

Господи! – хочется мне невольно воскликнуть. Но ведь должны же когда-то мы, люди, понять, что нельзя быть счастливым за чужой счет да на чужой беде! Что намного радостнее душе – дарить, чем отбирать для себя подарки... И должна же когда-то Рос-

сия, культура русская дожить до Ренессанса, который, казалось, был так близок в начале XX века! Увы, мы подошли к тому рубежу, малоосознаваемому и потому ещё более страшному, когда отсутствует само желание – научиться, внять красоте, принять ее такой, какой она сложилась в исторической культуре, а не такой, «как удобно быть». Или – «предписано».

И тем более мне хочется здесь перевести дыхание и утвердить: Сергей Иванович Калмыков, великий художник и несчастный гражданин, был, вопреки всему и вся – счастливым человеком.. При всей сложности судьбы, трудностях обстоятельств, одиночества и заброшенности – он был счастливой личностью.

Потому что художник... всегда делает свой выбор, обязан его сделать... чтобы не обмануть выбора, остановленного на нем Природой.

Как, впрочем, и каждый человек делает этот свой выбор: «Человек ты или червь еси...»

Столетие, прошедшее от рождения, – доказало, что Сергей Калмыков свой выбор сделал точно.

«Казахстанская правда», 1991 г.

«Я СМОТРЮ НА ВСЁ С ДАЛЁКОЙ ТОЧКИ БУДУЩЕГО...»

МИРООБРАЗ и МИРОСМЫСЛ

От юродивого до гения.

*У окна кареты сидела Прекрасная Дама
и чинила чулки Леонардо да Винчи.*

19 октября первого года нового века нового 1000-летия все насельники Земли, Луны, Галактики и их окрестностей отметит 110-летие несравненного Сергея Калмыкова!

Взгляните на сохнувшие от холода листья. Что может быть красивей их ржавчины – чёрной, жёлтой и красной!.. И кто осмелится сказать, что «Принцесса Грёза» Врубеля не участвует в современности? Искусство вечно. Тысячелетиями оно сверкает своими созвездиями над нашими ничтожными волнениями...

Нужно ли напоминать, что этот день (19 октября) сам по себе знаков в русской культуре: своим искрящимся кометно-шампанским ослепительным взлётом в Космическую Гармонию с лицейского космодрома. Явление Пушкина было неизбежно потому, что в земле уже лежал желудь Серебряного века, предопределённый, в свою очередь, рождением Сергея Калмыкова...

Итак. На торжество к накрытому тысячекilометровому столу в кратере по ту сторону Луны прибывали Леонардо да Винчи и Бенвенуто Челлини, Микельанджело, Мантенья и Гойя, Ван Гог и Дега, Бёрдслей, Уайльд и Врубель, Герман Миньковский и Андрей Белый - и ещё, ещё... со всех концов Космоса и его окрестностей, из разных уровней Пространственных Решёток слетались в Башнях-Вихрях, съезжались на каменных велосипедах и в каретах, запряженных слонами и голубыми жирафами творцы Невозможного и Совершенного.

И конечно же, конечно появились Бакст, Добужинский и

Петров-Водкин, зрелым слушателем курсов которых был в С.-Петербурге 10-х годов ушедшего века наш Юбиляр! А Матисс сопровождал неотразимую Венеру Персидскую, которая захватила с собой примус – так, на всякий случай... И звёзды подрагивали от спокойного и торжественного кваканья золотых лягушек. Изумрудно-фиолетовые капли росы выростали в гигантские зеркала, в которых восхищенные гости увидели Великого Костюмера и Кавалера Мота, Всепонимающего и наивного Лай-Пи-Чу-Пли-Лапу и блистательную Ассистентку Леонардо Ала-ал-М*ари – имена одно фантастичнее другого, образы колоритнейшие и цветоменяющиеся раскаляли зеркала, лучи от которых сошлись наконец в одной точке: искрящейся, трепещущей и постепенно обретающей узнаваемые всеми черты. Да! В этом слиянии пульсирующих лучей появляется сам Сергей Калмыков, Гений 1 ранга Межпланетной категории, Гроссмейстер линейных искусств, Магистр Цветной Геометрии и пр., и пр. – в развевающемся многоцветном плаще и малиновом берете, всё с тем же треугольным мольбертом и с холщевой сумой, расшитой цветными нитками по сверкающему маслом фону, где бежит его Муза с пантерой. Он появляется, окруженный дочерьми Великого Костюмера, восхищенными стайками многоногих девушек, девочек-пантер и гепардов-мальчиков! И световые струны Межзвёздного рояля вновь проснулись под пальцами Великого Моцарта...

«Ни одна вещь, ни один предмет не начинаются и не кончаются нами. Все они начинаются вдали от нас и уходят в окончательное далеко за нами. И пока – *пока!* – нами непознанно-непонятое. Но... всё связано - начало и концы. То, что я задумал, – очень длинно, очень протяженно и в пространстве и во времени... Архитектурно-ювелирно-живописный стиль... композиции с помощью расчета, вкуса и – случая! (*Когда я это написал? - Может, в 932 или 28 году, эра здесь не имеет значения.*). Всё это предполагает эпический размах. Недаром я декоратор – исполнитель огромных полотен. И не мыслю себя вне оформления и работы над оформлением разных Гранд Опер, Гранд Выставок, Величайших Архитектурных Ансамблей. Не мною они начаты и не мною окончатся Все они так или иначе соприкасаются теми или иными своими точками... с теми или иными данными внутренней психики того или иного лица...»

Жизнь наша протекает в некоторых рамках, которыми мы незримо окружены! Эти рамки являются организующими началами нашей жизни. И этих рамок никто не видит! Наша жизнь проходит в архитектурных промежутках. Погибают народы и цивилизации, уходят в предание языки... Остаются памятники архитектуры.

Горы всегда влекут к себе человека, наполняя душу его трепетом и силой - предвосхищением. Как и море. Недаром Рёрих... Быстротекущая, бурлящая вода – Время. Вздыбленная к небу земля, её выплески скал и выдохи вулканов – пространственное выражение грёзы Достижения... пусть и не всегда дано знать – чего. Но это путь художника, путь того создания, которого Бог одарил своим подобием. В искусстве имеют значение намерения, а не достижения. Художник - прежде всего мечтатель, а не мастер. Именно мечтания и намерения художника отличают его от рядовых последователей и подражателей Творца.

А между морем и горами – степь. Пространство для размышлений, покой для памяти, колыбель ностальгии и поиска. Всё – Россия, а мы в ней – кочевники. Нас гонит из одного конца в другой. Порою временной власти кажется, что это она ссылает непокорных, стремясь рубанком выровнять пространство ума посредством срезания голов. А головы собираются на вершинах Земли и Космоса и энергия гениев вновь облучает землю. Останови солнечный луч! Прикажи не литься дождю и не взрывать вулкану! Так грозовым испарением создавалась та духовная Алма-Ата, в переулках которой, под сенью бородатых карагачей или по дороге к парящим снежным вершинам легко было столкнуться с Гением: увидеть, как работает, ораторствует или «валяет дурочку», вдохновляясь в детском баловстве или в вине на новый шедевр слова и мысли, на неожиданное откровение цвета и звука, и движения. Сам воздух «Города снов» (по Луговскому) рождал бескорыстие и полётность мысли за пределы быта (какой быт – у изгнанных, сосланных, исключённо-заключённых!), предполагая жертвенность Духу и восторг пред красотой мироздания.

О, сколько их, тени которых наскальными силуэтами прорисованы на стенах, коре деревьев, в журчании арыков, в весеннем взрыве розовых цветов урюка и в остановившихся валунах, принесённых селевым потоком!.. Первая книга Николая Федорова и лек-

ции Александра Чаянова. Солнечные мысли Александра Чижевского и философские кадры Сергея Эйзенштейна. Домбровский, Солженицын, Зощенко. Павел Васильев. Исаак Иткинд. Николай Раевский. Сосланные, расстрелянные, измученные, униженные. Непокорённые и творящие. Брошенные ими зёрна умирали, давая новые ростки...

И – Сергей Калмыков: «Художник должен быть наивен и бескорыстно щедр!»

«Вся моя работа и премудрость - явления стихийные.

...Мы стоим перед новой свободной архитектурой приближающегося военизированного периода человеческой истории» (*да, да, не надо смущаться - это действительно 1920-й год*):

Объективные формы природного пейзажа, бронированные и обтекаемые поверхности. Каучуковые, резиновые деревья. Чехлы и противогазные маски всего пейзажа – всех построек.

Летающие Башни-Вихри. Целые города, планирующие в воздухе. Золотые перекасти-поле, движущиеся по земле, воде и воздуху, населённые целыми армиями. Таковы возможности, намечаемые этими предварительными, фантастическими пока, эскизами.

Но как после периода эпохи Возрождения наступил расцвет среднего периода - века Леонардо, Рафаэля и Микельанджело, так и после первых шагов радио, химии, техники, кино - надо ожидать решительных последствий современной военной техники в будущих произведениях строительной архитектуры и связанных с нею изящных и нежнейших, более легких и портативных, подвижных форм искусства линий, красок и объемов - живописи, рисунка и скульптуры.

Только необходимое, только быстрые и неожиданные, молниеносные художественные решения. Нечто допотопно грузное, экваториально-пышно-растительное, никаких ионийских или коринфских стилей. Нечто мастодонтообразное. Формы, способные выдержать величайшие удары и давления. Формы светящиеся, непроницаемые и мрачные. Формы океанические, геологические, газоподобные. Такова схема приближающегося искусства, таковы его намечаемые признаки и характерные мотивы.

В сущности всё, что у нас перед глазами, это особая пространственная сетка или решётка – пространственная напряженность

того или иного рода. Так связываются этюды и все мои беспредметы и предметы. Композиции в стиле Монстр... Тут и природа и модные костюмы, и какая-то инженерия и архитектура, и ювелирная мозаичная ковровость.

«...По дороге на Садовой (кажется, в Пензе? – да и есть ли город в России, где лишь в названии улиц шумит листва и наливаются яблоки со сливами!) вывеска «Вишневый сад» какого-то сельпрома. И в ларьке странный тип, Ремизовский какой-то, с красным глазом старик безумного вида, стриженный. Я его в первый вечер увидел в окне рядом в доме. Он сидел неподвижно и филином, зорко и слепо, смотрел перед собою. Я стараюсь не смотреть на него. Какой-то бывший человек, вперивший взгляд в своё прошлое сквозь сквозящее, нереальное для него настоящее. И я когда-нибудь могу сделаться таким. Вот ужас-то! Будет то, что будет... Или он провидит – будущее? Тогда... н-да!..»

Мне кажется, я создан для этой красноречием наполненной жизни! Зачем я не родился семнадцать столетий раньше?!.. Ах, и я мог бы быть знаменитым странствующим оратором, блестящим и легкомысленным волшебником...

И вот я перевожу свою гениальность в комический план. Старый приём шута. И все дерзости мне прощаются! О, Господи, что за безумный мир: мне столько надо сделать, а для этого придется надеть личину – чтобы не мешали или не арестовали... Так мало надо, чтобы стать легальным и не производить впечатление сумасшедшего: потешник. Пусть юродивый – этого всем только и надо... Никто больше меня не любил рисовать на улице! Кругом смотрят, зевают, глазают, удивляются – кто во что горазд! Другие – завидуют! – скучают! – задирают! Я – ораторствую! – огрызаюсь и острою... казалось бы, меня надо на руках носить! Я же всю жизнь делаю это задаром! – а всем всё равно...

Сколько безвестных гениев кануло в вечность в провинциальной России... Но безвестие – не безымянность: так имена иконных мастеров записаны на скрижалях Высшей Памяти. И где-то вспыхнувший в ночи огонёк взрывается фейерверком, и взгляды обращаются к небу. Метеорность Миши Махова с его деревянными скульптурами к «Слову...», со скрипкой у Паганини, подобной крылу, единому с телом музыканта, и её оборванные деревянные струны-нервы всё звучат где-то под ветром в

осыпающейся листьями кроне. Греко-египетская красота Люды Волковин-ской, взглядом Калмыковским благословлённой взять кисть в сведённые болезнью руки и не вставая с коляски писать и писать на стекле бесконечные портреты бесконечных людей, пустынников и страстотерпцев... Павел Зальцман, Евгений Сидоркин, Жаке Шарденов, Исаак Иткинд, Калжан Айтбаев, Саке Гумаров – все-все, кто поднимался в горы крутыми улицами города снов, предательства и жертвенности, забвения и любви, все они – имена, стихи, краски, аккорды – оживают и протягивают руки с открытыми ладонями: «Берите!». И так – во всех затерянных необъятных уголках пространства. «Пользуйтесь, Люди!». Задёшево – задаром: и пользуются – Париж и Рим, Япония и Америка – сквозь былые и возведённые границы земные. О! Россия безоглядно богата: как ни одна другая страна, она ссылает своих гениев в тундру и на Брайтон-Бич, в окопы и в тюрьмы, или просто морит голодом и забвением. А потом умиляется возвращенным ей ширпотребом, или бледным сколком разбазаренных самоцветов...

Я вижу анфилады зал, сверкающих разноцветными изразцами.

Я прохожу по плитам, испещрённых таинственными знаками. Их необходимо прочесть. Меня сопровождают разные звери и птицы. Рыбы сочувствуют мне в своих водоёмах. Мягко изгибает спину пантера и ластится у моих ног. Птицы поют. Солнце светит лучами, всё блестит переливами остро-нежных красок. Сколько золота, серебра, черных, белых, розовых и мутно-жёлтых бледных камней.

Я всё это вижу. Я иду среди всего этого. Я вижу иные миры. Я смотрю на всё с далёкой точки будущего.

...Светлые тени и блики мягко плывут по плитам пола. Он становится прозрачным и розовым. Вдали под ним горит огнями зал... Выхожу во двор. Во дворе к колонне Башни прикован Великий Костюмер, прикован к своим призрачным фантазиям. Сейчас он должен записать блеснувшую в уме мысль. Он достаёт из кармана блокнотик и записывает мысль «вечным пером». Пишет быстро и мигом исписывает весь блокнот. Ряд мыслей набегает на Великого Костюмера, и он еле успевает доставать из карманов блокнотики и спешно записывает мелькающие в воображении мысли.

Я стою и терпеливо жду. Он всё записывает и полдвора заполняется блокнотиками.

Проходят века. Он всё записывает. Проходят тысячелетия. Уже трудно повернуться от загромодивших все углы двора блокнотиков.

Тогда колоссальные ноги Башни делают отчаянное усилие и, напрягая свои искусственные мускулы, раскачивают, разворачивают основание затопившего их моря блокнотиков. Затем несколько пробных движений приседания и подскакивания, и после этого сильный прыжок. Враз, как по команде, единое для всех колонн приседание и отчаянный сверхидеальный прыжок. И башня летит в пространство среди удивлённых звёзд мироздания.

«...Надо полагать, я должен благодарить свою судьбу – за то, что пока мне не везёт в жизни! Если бы везло, я, вероятно, давно бы помер!

А сейчас – никак нельзя! Умирать! Тогда пропадут все мои работы! Скажут – формализм! – чепуха! – это, мол, никому не нужно! – И вот! До тех пор, пока не будет ясно, что все мои гравюры, фантастика, записки – очень нужны – всем! – до тех пор я и буду изо всех сил своих стараться – это доказать! – что всем нужно! Я знаю, что найдётся хоть один такой человек, которому будет не всё равно и который примет...

Ну, вот! И живу! Так что мне надо быть благодарным! Я и благодарен – судьбе своей! – за то, что ещё до сих пор мне как-то не везёт! – Хэ-хе! – так я и до ста лет доживу!..»

Вчера? – задали мне вопрос: «Кому нужны ваши Страхи-Ладды?» – А кому были нужны карикатуры Леонардо да Винчи? Надо полагать, прежде всего ему самому! Да и другим, оказалось, тоже – Ренессансу, эпохе Гуманизма!.. Полноте Вариационного ряда Человеческой Мысли!

На мой взгляд, одной из первостепенных черт величия Художника становится его восхищенность, зачарованность Женщиной. Женщина – как источник и утверждение красоты, как средоточие чувственной, духовной, животворящей основы в природе. Наконец, как отблеск этой Вечно Женственной Природы – в самом себе. «Недавно я подумал: а ведь гений мой – женского рода!». Потому так и волнует нас нескончаемая вереница женских образов, что в каждом из них, напи-

санном великим художником, обязательно присутствует часть его собственной сути, страждущей-женственной-животворящей. Мадонны – Леонардо и Рафаэля, Саския – Рембрандта и Маха – Гойи. Царевна-Лебедь – Врубеля и Одалиска – Матисса... как правило – это всегда одна. Единственная. Счастлива (или несчастлива, не в том суть), но – встреченная, совпадающая или же зеркально отражённая той женственной частью души художника, что обрекает его на вечный поиск, вечную мольбу и труд Пигмалиона. Не осознав этого, невозможно понять и сути обаяния этого творца, как и других великих...

...В отношении заработка художник должен быть обеспечен, общество должно само думать об их пропитании. (Если не хочет погрязнуть в собственных отбросах и в самоедстве). «Дело же художника: есть готовое и заниматься своими дикими фантазиями. Искусство - это мифология, магия, а не деловой расчет. Мир болен. И только художники способны привести мир к спасению.»

«Да-а... я как бы оторван от действительности в своих лучших художествах. Так, например, у меня есть слоны, трубящие в свои поднятые кверху хоботы на фоне вавилонских башен, виселиц и закатного горящего неба, висячих садов и серпа большой желтой луны на горизонте. Люди с пиками, на концах которых воздеты отрубленные головы, сидят у слонов на загорках, в люльках. Слоны вопят и шествуют по реке, переливающейся множеством оттенков, но в целом желтой и мягкой - воробью по колено там, где они идут! Между делом долго писал этот эскиз масляными красками, стараясь добиться необыкновенного сочетания цветов. Небо зелёно-фиолетовое, а не сине-фиолетовое, вода огненная, а не синяя... в общем, дико и романтично... У меня есть рисунки, на которые можно смотреть, как на дальнейшее, своеобразное русское переложение или продолжение известных французских скрипок.»

Этот этюд был подарен добрейшему Николаю Гринкевичу, певцу-басу из оперного, который пел ещё в Софийской опере, в Болгарии. Из эмиграции, где он был рождён, Коля вернулся в конце пятидесятых годов - вовремя, не то что Н.А. Раевский, вынужденный пройти Минусинский лагерь и поселение, прежде чем получить свободу... Да, Минусинск – хорошее лекарство от русской носталь-

гии... А ведь Раевский и там работал над своими пушкинскими изысканиями – по памяти. Остановить художника может только смерть. А Гринкевич смог привезти и архив, и удивительную библиотеку старой и эмигрантской литературы, из которой мы в «Просторе» черпали для публикаций то, что порою недоступно было и москвичам.

Раевского мы хоронили в предгорьях, вопреки всяким установкам и разрешениям, гроб в некоторых местах приходилось нести почти вертикально, зато 94-летний писатель обрёл свой покой в нетронутой гармоничной горной роще.

Коля Гринкевич ушёл позже, мы с ним еще сумели побороться с этим лукавым государством за передачу верующим деревянного Вознесенского собора, строенного Зенковым в начале века и выдержавшего разрушительнейшее землетрясение 1908-го года. Но отпевали Николая в Никольском соборе, где он – тайно! – был рукоположен в диаконы... Калмыков не часто дарил свои работы, хоть и охотно показывал и говорил о них, он не любил расставаться, как и многие художники. Это потом они расходились вместе с мифами о нём... Мне тяжело дался исход из горной столицы, которая в эйфории «возрождения» быстро уплывала в феодализм. Там оставались друзья, горы и могилы...

Так и с этой обложкой с носорогом. Сидит и пишет странная Муза на носороге при звёздном свете, а кругом идёт снег... Муза сидит спокойно на носороге, а он идёт по снегу. Это символ стихийного потока явлений, свирепого и страшного, тропически температурного в холоде зимней стужи реальных явлений, среди которых так спокойно работаю – «сидя на необычном носороге»... Каждая краска – особый ритм. Всякий ритм - схема. Самые красивые и разнообразные ритмы и схемы даст нам только живопись. У меня рисунки с одной линией. Мне бы хотелось вырезать их на камне как вавилоняне.

Непонимание всегда невыгодно для непонятливых...

«Если я не современен, то тем хуже для современности. Тогда, значит, я буду современен - в веках!..»

Как медленно текут минуты! Но они идут. Тикают секунды, и нам навстречу несутся астрономические пространства!

Надо знакомить всех с суммой человеческого опыта. Надо,

чтобы каждый ребёнок стал академиком! Пусть дети не в бабки играют, а начинают с азов – с треугольников, с кругов! - и по порядку всё! – от простого до самого сложного. От точки до самого идеального человека! От прямой линии до самой красивой девушки или рабочего! – от круга до города будущего!.. Ибо точка – это нулевое состояние бесконечного количества концентрических кругов...

У остававшегося всю жизнь бытово одиноким (духовно всякий художник - наедине с собой и Богом) все женщины на десятках, сотнях гравюр, монотипий, офортов, рисунков - не просто воздушны, они крылаты и изысканно удлинены, трепетная линия делает их ирреальными, но и живо осязаемыми, потому что сквозь их парящую бестелесность просматривается чувственная, мускульная связь их создателя с Землёй и Небом. Даже его «Ведьма, читающая Гёте» парит в воздухе благодаря крылышкам, она юна и задорна, а традиционная метла – лишь театральный реквизит, который подчеркивает скорость движения и изящество женских форм! «Дочери Великого Костюмера», «Красавицы», «Ассистентки Леонардо да Винчи», «Музы пиратов» и многие другие – все они суть «видения об одной». Апофеоз этого «единовидения» художник воссоединяет с первым собственным шедевром («Красные кони», 1911 г.) в картине последних лет жизни, а до этого – в большом холсте «Остров Цитеры», замечательный вариант которого – «Парад королей» переходил из одних рук в другие, пока не попал в коллекцию Ричи и не уплыл в его штат Висконсин... или Кентукки?..

«Дорогая О.А.! Вы не можете не согласиться, что я не могу не вспоминать Вас. В самом деле – над моей кроватью на стене набит длинный холст, длиннее длины кровати! – его можно и продолжать, но можно считать законченным. Это знаменитый, как я его называл, «Остров Цитеры». И на нём изображены – Вы!

Кроме Вас – Лапин, Добровольский. Скелет в красной полумаске, Сатурн, косящий древний мир. Мальчик, моющий кисти. Гигантские кузнечики, бабочки и стрекозы, летящий Амур с факелом. Ваша Кирка с луком и стрелами. Чудовища, играющие на музыкальных инструментах, – тряпки и горшки с красками. Да, ещё – забыл – танцующие Фокин и Фокина (помните – у Дягилева?), и балерина Карсавина, – и обезьянки!

Нечто причудливое, как видите. Но это ещё не всё. Здесь участвуют элементы моей Архитектуры: простенки, розетки - моего стиля, клетчатые - гармонично-сочетающиеся с клетками костюма Арлекино (Фокин)! И это не всё! Длинная стена (перед которой фигуры) с простенками и розетками, – строго симметричная - горизонтально-вертикальная и фронтальная – на длинной плите, плита окружена водой. Вода ограничена горизонтом, над – небо и облака. Надпись «Остров Цитеры» и под нею мелкими буквами цитата из Вяч. Иванова: «Любовь и Смерть созвучных вздохов гимны! – Как Солнц скрижаль зажжённые во мгле земной пещеры». Сделал этот холст в начале лета. Красиво!»

Нет нужды драматизировать «уплывание» работ наших – пусть даже самых гениальных! – художников за рубежом России. Это уже достояние мировой культуры, человечества. Ведь мы не сопротивляемся явлению картин Рембрандта или Ван Гога и Матисса в наших собраниях! Уж, конечно, лучше распахивать двери Гению, а не рекламным поделкам низкопробного ширпотреба агрессивных ремесленников «рынка»... Удивительно, что Фолкнер и Томас Манн вчитывались в Достоевского и Льва Толстого, Акутагава и Кавабата знали Чехова и даже Горького, а Брэдбери и Хейли - Замятина, мы же с восторгом неопитов очистили книжные полки для «Эммануэлей» и, а экраны – для сентиментальных «стукалок» и порно-«ужастиков»... В нанимаемой Ричи алмаатинской (а позже – и в московской) квартире я сразу узнал несколько работ Анатолия Зверева, но больше всего меня поразил точный графический портрет этого американца, сделанный той же гениальной рукой. «Каким образом?!» – «Да проще простого, Слава: на выставке где-то в начале 80-х подкатился мужичок – «хочешь, Толик сейчас твою парсуну сотвори? – Конечно! – Гони... шесть рублей! – И пока бегали за двумя «фаустпатронами» портвейна, пока их разливали – портрет был готов... я был тогда моложе и наивней...» Да, я даже знал ту квартиру на Пушкинской, где это было тоже возможно: там добрейший Зверев, заросшее лицо которого никак не могло собраться в злость, вдруг гаркал после очередного стакана всё того же портвейна: «Какой я вам Толик! Я – Анатолий Тимофеевич!» – затем, впрочем, успокоенно засыпал. Собирались, конечно же, не только, чтобы выпить: в старой квартире

обыкновенного инженера-механика смеялись над суетностью мира и бездарной властью, учились терпению и восторгу. И понимали, что надо просто хорошо делать своё. Здесь, на куске обоев, школьной акварелью Зверев мог написать трагический женский портрет, который наверняка теперь висит в добротной раме на чьей-нибудь стене. Здесь, в этой квартире на Пушкинской, переплетались ротопринты с парижского издания вечных «Москва-Петушки», а сам Веничка уже предсмертно и почти весело, со стаканом всё того же портвейна, хрипел резиновым горлом в микрофон англо-польского оператора Поля-Павла... Россия – богатая страна и всегда легко разбрасывалась своими гениями. А уж провинциальными...

Ли-Лин-Та-Лу-Ла (дрессировщик синих ихтиозавров):

Космическая Фата-Моргана или Фантас-Магория. Удивительная ткань необозримой занавеси. Фигуры зверей и движущихся деревьев. Струи расплавленных алмазов. Тонкие золотые проволоки, видимые лишь в колоссальный тысящепудовый микроскоп. Строгая бесстрастность и неприницаемое равнодушие. Бесконечные открытые галереи и балконы. Туманы и равнины. Рёв и звон тысячекилометровых космических роялей. Розовые саксофоны и отчаянные трели зигзагов. Наслоения обломов. Сумасшедшая сложность фактуры. Срывы и осадки. Взрывы, дымовые завесы и визги поющей атмосферы.

Ну что же – всё это и многое другое, - допустим, будет сначала это. Потом другое. Там третья, и так далее. Получится неопишемая симфония.

Лев Толстой действовал контрастами, орудуя элементами нормального бытия. Война и Мир («Мирь» тогда писался ещё и «Міръ», и значения у них были разные: в первом случае – от «мирить, замирать, мирный», во втором – и толстовском смысле – т.е. «земля, вселенная, и род человеческий, община, все люди» – В. Даль. Вот еще один пример нашего безграмотного «реформаторства» – языка ли, всего ли «мира»). «Война и Мирь». Он обращался к своему читателю, соблазняя его эстетической стороной бытовых деталей. От Льва Толстого до Маринетти один шаг. Мало разницы в том, что Толстой якобы был против войны, а Маринетти – за войну. Оба сильны тем, что подают Войну читателю эстетически, действуя на совре-

менное сознание не религиозно-догматически, во имя родины или религии. Они обращаются к индивидууму, ни в сон, ни в чох уже не верящему. Они соблазняют читателя остротой впечатлений.

Но наряду с нашим обычным миром обычного измерения существует мир другой, параллельный или пересекающий его. В этом мире свои законы. И он не единствен, один из энного количества иных возможных миров. Скажем, в мире Толстого и Маринетти люди о двух ногах и двух руках, но можно представить мир, где люди о сотне рук или тысяче ног. В таком мире может и не быть какой-либо войны, и наоборот – только война. Там может быть смерть или жизнь, и там их может и не быть, а будет – ни жизнь ни смерть. Этот воображаемый мир автор может строить на страницах романа заново, пользуясь имеющимися словами, буквами, красками и линиями. С помощью вечных знакомых материалов он может построить незнакомые новые предметы, нарушая то законы земного притяжения, то законы химических соединений, то законы перспективы, то обычные пропорции. И новый невероятный мир будет существовать не менее убедительно. И вот кажется занимательным решить задачу эпоса, не прибегая к элементам войны. Не изображать смертоубийство, смерть, – сузить диапазон контрастов. Такое решение даст нечто оригинальное, расширит привычный кругозор. Будет новым шагом от Льва Толстого и Маринетти (двух полюсов). Точки могут быть расположены и по одной прямой (в данном примере – Т. и М.), но могут располагаться и по углам треугольника, квадрата, куба, тетраэдра и т.д. Каждая позиция может быть в положении той или иной точки.

Играя сочетаниями простейших схем, можно достигнуть впечатления необъятности. Данный эпический этюд, равно как и серия набросков, сделанных автором до этого, именно и преследует разрешение задачи в плане указанных положений. Это опыт художника, проба – можно ли достичь хороших результатов в этом новом стиле. Как он называется? Этот новый стиль? Автор подыскивает к нему названия... это не футуризм, не реализм. Но это современно. И, вероятно, это не единичный случай - эти задачи автора, не индивидуальный случай...

Ну конечно, все читали «Войну и Мир» Толстого. Но вот последний манифест Маринетти (писано это в 1936-м), обра-

щённый ко всем писателям и художникам Итплии, читали, наверное, немногие. В «Правде»... однако могли прочесть заметку: «Манифест Маринетти». «Основатель футуризма итальянский поэт-фашист М. Опубликовал манифест ко всем писателям и художникам с приглашением на африканскую войну». «Война в Абиссинии – по словам Маринетти – утончённейшее усиление всех наших наслаждений. Война – самый совершенный спорт, прекраснейшая человеческая динамика», «единственное подлинно сантиментальное приключение», наконец «самый мощный источник вдохновения для всех прекраснейших видов искусства».

Источник вдохновения всех русских и итальянских, английских, немецких, японских и американских Ростовых и Денисовых и т.д. – война, как и связанные с жизнью беспечных вояк – карты, вино, тройки, автомобили, женщины – эстетическая приправа, соус ко всем мелочам жизни – даны в этом манифесте метко и веско, как соблазн, не без иронии и усмешки. С этой стороны нельзя отказать Маринетти в остроумном цинизме. Он знал, для кого писал. И знал, на чём играл. Аппелируя к спорту, к динамике и сантиментальным приключениям, к вдохновению всеми видами искусства, он нащупал самое уязвимое место современников. Особенно буржуа середины XX века. Сытость без души, скука.

Он не обращался к справедливости, к человеческому достоинству, к этике или совести и т.п., даже к патриотизму. Современный человек запада не склонен рисковать своей шкурой ради подобного рода вещей. Но вот рисковать головой ради пустяка, для того только, чтобы потешить самолюбие, удовлетворить каприз - на это способны если не все, то многие...

Калмыковский космизм, его творческий, художественный прорыв за пределы реального пространства и останавливаемого на холстах времени. Нет, больше: иное измерение открывается нам в пульсирующих, изменчивых линиях и красках, в торопливых, словно боящихся не успеть за мыслью, записях. Предвидение катаклизмов века, связанных с оторванностью человека от космических законов и сил, от утраты осознания себя частью мироздания и личной ответственности за собственные деяния в нём, подвигало моего героя, как и многих избранных

Духа, на апокалипсические картины и обострённое видение, сообщало художнику ощущение одиночества и, порою, случайности своей в этом человеческом котле единовременного существования.

Подобно многим своим предшественникам-современникам (Врубель, Рерих, Ларионов, Кандинский, Филонов и Малевич, а позже – Татлин, Челищев и др.) Сергей Калмыков был захвачен стремительностью научных открытий начала века, которые на смену прежнему «птоломеевскому» цельному мирозданию с устоявшейся музыкально-математической гармонией движения, масс, сил, времени приводили вдруг к иному мироощущению, связанному с «релятивистской» космологией теории относительности, идеями Пуанкаре, открытиями Резерфорда, позже – осмыслением биосферы Вернадского. Новая терминология («принцип относительности» Эйнштейна, «четвёртое измерение» Миньковского, «невесомость», «расщепление ядра», «радиоактивность» и т.д.) давала почву для создания наукообразной мифологии, а появившиеся ко времени философские и теософские работы (Н.Федоров, Е.Блаватская, П.Успенский и др.) открывал простор новым ощущениям «всемирности жизни» и возможности «космических контактов», а также – захватывающих дух западного человека возможностях человека, связанных не только с новыми техническими достижениями (и даже не столько – особенно для художников!), но в скрытых силах, возможностях самого человека, в утраченных и вновь возвращаемых «тайных знаниях», доступных лишь «избранным». Удивительно, однако это мироощущение можно было найти в древних книгах индусов – «Ригведе», «Рамаяне», но та цивилизация давала путь обретения – себя, вела к овладению космосом через личностное слияние с ним. Новая технология сулила – покорение... Всё это дало небывалый толчок искусству, открывая художнику новые горизонты возможностей и пути поиска. У кого-то это было продиктовано теософскими поисками «абсолюта Духа», у кого-то – неудовлетворённостью слабостью человека и стремлением дать художнику «теургические способности не только аналитического разложения изображаемого, но и создавать синтез и воскрешение в картине» (П.Филонов)...

*Кто справится, скажи, со скоростями,
Которые мы вызвали?*

*Кто сможет
Незыблемый наш охранить уют -
Уют любви, уют простого платья,
На кресло кинутого? Кто поймёт
Ту силу, что мы вырвали из мрака
Во имя жизни иль во имя смерти?
Мы пробудили тайники вселенной...*
(В. Луговской, «Город снов»)

Если манифест Маринетти парадоксален своим нарушением обычной человеческой этики, то страницы этого этюда парадоксальны своим нарушением привычного натурализма. Всё для наслаждения – гурманство. Один ищет острых ощущений на войне, играя со смертью (своей или чужой), другой ищет их в свободном искании всех пропорций и отношений действительности. Третий ещё что-то выдумывает. Проходят дни, года и десятилетия. Одни борются за социализм, за бесклассовое общество, другие за капитализм, за фашизм и прочее, третьи - за новые оттенки в костюме, за новые способы в той или иной области человеческой деятельности. Интересы многообразны. Неожиданны аналогии и противопоставления. Сравнительная эмпириология сулит многое.

Скептицизм, фанатизм, холодное равнодушие, азарт, скука, воля и своеволие. Всё это сталкивается и тасуется самым парадоксальным образом... От времён каменного века мы ушли (кажется!) далеко. И вот, по мере того как мы от них уходим, мы всё чаще и чаще наталкиваемся на своеобразные древнейшие находки. Первобытные ящеры, гигантские чудища возрождаются. Вылезают на улицу. Колоссальные шапито, цирки, балаганы, всевозможного рода выставки. Проходят толпы зрителей и смотрят. Кругом оживление. Всё перемешивается. Современные воротнички и манжеты прикрывают шеи и лапы ихтиозавров.

«Рождается – СТИЛЬ МОНСТР. Я же – один из столпов этого чудовищного стиля.»

Падают желуди на землю. Лёгкий треск их об землю. Шуршит, журчит вода в канаве среди камней и травы. Когда по пистону в патроне ударят, взрывается порох и летит пуля.

Желуди – те же пули. Своего рода – ракеты в мировое пространство. Каждый зародыш, зерно пшеницы или овса, стручѳк

гороха, акации – всё это снаряды и ракеты. Но одни взрывы происходят с одной скоростью, другие... длятся столетия, тысячелетия, а иногда и астрономические годы. Взрыв желудка длится около ста лет. Вырастает дуб. Пускает корни и ветви в землю и в воздух. Покрывается листьями. В свою очередь атакует землю тысячами желудей (маленьких снарядов или адских машин). Из головы автора на бумагу осаждаются слова и фразы. Они таят в себе в свёрнутом виде целые каскады фраз и даже книг. Это зародыши-пули-снаряды. Они необычайно настойчивы. Хочешь не хочешь – пиши!..

Да, он, Сергей Калмыков прошёл через все этапы и поиски, естественно увлекаясь теми идеями и возможностями, которые открывали для художника абсолютно новые миры. Сам воздух города, в который он переселился из Оренбурга, снежные пики и степные пространства под ними питали видениями фантазию, предполагали жертвенность и восторг. И вот что интересно в нашем человеческом сообществе. Увлечение войной, риск даже и чужими жизнями, стремление подчинить, даже изнасиловать добром и счастливой жизнью не вызывает столько нетерпимости и даже ненависти со стороны «порядка» или государства, а потому и послушного «большинства», сколько вызывают поиски художника, его стремление самовыразиться. Отчего бы? - ведь его поиск и даже ошибки ведут к раскрепощению сознания, к осмыслению бытия, к свободному выбору, предоставленному самим Создателем. Вот оттого-то... Человеку в «цивилизованном» обществе не даётся в итоге даже права выбора между жизнью и смертью: государство убивает, но судит за самовольный уход из жизненного котла.

*За образец – ты мудреца огрехи
Возьми себе, а не глупца успехи...*
(В.Блейк)

Спираль незаконченных врубелевских замыслов взмахом неожиданной вавилонской башни вынырнула из пространств небытия через мой мозг!

И я слышал голос отдалённых табунов, мерно позванивающих в колокольчики, подвешенные к ошейникам из голубых ленточек и серебряных шариков. И звон этот длится века...

Эти невинные размышления напоминают толчение воды в ступе. Нет ничего более изысканного. К этому роду занятий следует отнести также «переливание из пустого в порожнее». Трудно придумать что-нибудь более утончённое. Искусство – свободная игра – переливание из пустого в порожнее.

«Некоторые возмущаются. Возмущаться тут нечему. 1) Природа не выносит пустоты. 2) Искусство не выносит весомой грубой эмпирики. 3) Обычные понятия и слова теряют свой смысл в соприкосновении с искусством. 4) Искусство орудует с невесомыми величинами. С духом. 5) Некоторым это не нравится. Что делать. В данном случае помочь никому нельзя. 6) Искусство требует жертв, в том числе и жертв здравому смыслу. С потерей его искусство достигает особого призрачного смысла. Искусство – это особое умение создавать призраки».

Свободные подobia.

В жизни этой свободы нет. Всё подчинено закону следствия и причины. В искусстве есть призрачная свобода. И то хорошо. Как любовь.

Автор взмахнёт хвостом, изовьётся винтом и будет прыгать в кругу клубящихся призраков. Дикий хаос образов нахлынет на его страницы. Пусть их себе кружатся в своей призрачной свободе. Он будет наблюдать их молча, не говоря ни слова. Быть может, развязав себе руки от изнуряющих записей, он сможет нарисовать коллекцию рисунков. Дать ряд альбомов. Это было бы неплохо. Но всё это требует времени. Что же остаётся делать сейчас? - Созерцать свистопляску образов, призраков. Наблюдать шабаш ведьм, подражая доктору Фаусту. Что делать? Гретхен умерла. Её нет, и не известно, где она. И Фауст был бы глубоко разочарован, если бы она вернулась...

Наш путь разветвляется потоком вариационных рядов. Мы можем находиться в Париже. На пути в Индию. Мы можем оставаться на Луне, на любой её половине. Если хотите, можно последовать за пятиногой девушкой и за молодыми людьми, прибывающими на атомических велосипедах на ту сторону Луны, которую никто ещё не видел. Мы можем отправиться в Россию - куда-нибудь на Волгу. Все пути для нас равно открыты: наш путь разветвляется потоком вариационных рядов.

Честолюбие – великая способность человека! Из-за честолю-

бия люди бросают службу, чтобы сделаться полётчиками в цирке, под куполом, над сеткой, которую сами же плетут.

...Я обожаю - балаганы, карусели! Мне нравится «бедный прогорающий цирк» - яркий попугай у рваного шарманщика!!

«Я попробовал как-то делать иллюстрации к своим фантазиям. Не тут-то было! Ничего не рисуется! Всё ещё не пришло для них время. Или – уже давно – давным-давно – прошло!»

...Леонардо да Винчи в своём фиолетово-синем плаще, расшитом голубыми и синими камнями, белыми шнурами и серыми шелковыми листиками, будет идти рядом с Вами.

Его белой бородой, водопадом спадающей по складкам плаща, будет играть ветер.

Ваш красный плащ (цвета английской красной), расшитый золотыми нитями и шариками и украшенный розовыми лентами и бантами, – Ваши белые туфли из кожи трёхлетнего сиамериканского слонёнка, расшитые бледно-серо-голубыми пунктирами, – Ваши черные локоны будут приятно дополнять пылающим соседством холодную сдержанную мощь профиля божественного Леонардо.

Всего только половина восьмого утра, и лучи солнца освещают подошвы Ваших сандалий. Лучи солнца будут прогревать Ваши щиколотки и лёгкими возбуждающими уколами будут подталкивать Ваши шаги в сторону запада, по направлению к портикам, скрывающимся среди бушующих зелёных бугров, неистово кидającychся разсыпанными каскадами цветов в нежную бирюзу неба.

Под бледно-розово-сероватыми колоннами, сплетёнными из мелких песчинок, будут прогуливаться группы девушек и человеко-пантерят...

ТРИОЛЕТ

*Я сию между лунных кратеров
и поглаживаю рукою шероховатости
знаменитых океанов.*

*Солнце накаливает мою кожу
и я обдумываю композиции
своего умопомрачительного эпоса.*

*Я сию между лунных кратеров
и поглаживаю рукою шероховатости*

*знаменитых океанов.
Знаменитые пупырышки лунной поверхности
отбрасывают тени. И в одной из них
я различаю фигуру
сидящего на серебряном песке
Великого Костюмера.
Его тело перепоясано крепкими,
чуть видными для глаза нитями,
сплётёнными из пылинок гранита.
Я сажу между лунных кратеров...*

«В квартире надо мной... поселился Герман Миньковский. Он приехал, вероятно, ночью, когда я спал.»

Однажды утром я его увидел, когда он, с синим полотенцем на шее, поднимался к себе в окно по особой тончайшей лесенке. Надо сказать, что на Марсе в домах не было дверей, а лазали по тонким особым витым лесенкам в окна. Так что и мы придерживались там былого марсианского обычая...

Знаменитый математик вежливо поклонился мне и сказал, что давно мечтал со мною познакомиться. Как-то раз, случайно совершенно, этак лет около пятидесяти тысяч тому назад, ему удалось прочесть один мой триолет, который ему очень понравился. Затем, уже сравнительно недавно, тысяч двенадцать назад, ему попались на глаза у одного знакомого два моих эскиза и графика - удивительная композиция Ювелирной Звёздной Чаши. В особенности ему показалась интересной эта грязновато-песчанистая гамма одного эскиза масляными красками.

Знаменитый математик попросил меня показать ему другие мои работы. Я показал серию своих новых офортов, над которыми как раз работал. Иллюстрации к своему чудовищному роману. Миньковский рассматривал эти офорты и восхищался: «Вот, наконец, я увидел то, о чем напрасно мечтал в былое время. – Это восхитительно», – говорил мне Герман Миньковский. Он смотрел также и на мои работы красками на холстах и не знал, чему отдать предпочтение – изысканности ли моих цветовых гамм, или необычности моей конопатой фактуры холстов, или безграничной строгости моих графических листов.

Он пристрастился к рассматриванию моих листов и холстиков и, чуть ли не каждый вечер, навещал меня и подолгу

болтал до поздней ночи, сидя в лёгкой качалке около раскрытого окошка.

Однажды он сказал мне, что этот молодой человек, так похожий на юного Александра Блока, который каждый вечер проезжал на жирафе мимо моих окон, знаком с одной особой, что живёт наискосок против его, Миньковского, квартиры. Она сидит... по целым дням у окошка и каждый вечер обменивается еле уловимыми знаками с этим молодым человеком в ковбойском костюме. И когда она подаёт чуть заметный знак, рожки жирафа, на котором едет молодой человек, слегка притухают и горят золотым тлением...

Фонтанам, каналам и водоёмам я отдаю немалую роль в своих небрежных проектах. Ряд пристань и набережен, ряд мостов и всевозможных лодок и трирем заполняют моё воображение. Их странное оборудование поблескивает неожиданными цветосочитаниями. Линии их капризны. Вода повторяет их искривлённые изломы. Пропорции – текущие, изменчивые – дробятся и перебиваются мелкими струйками. Вечер тихо зеленеет и розовые облака тонут среди черных и золотых переключин. Пурпурные паруса пересекаются медово-желтыми и бирюзово-синими и голубыми полосами яхт, задравших кверху свои гордые шеи и носы.

Фиолетовая тишина и рябь водных просторов беспокоится белыми вёслами.

Мерно покачивается край лодки или триремы. Огненный стеклянный шар купается гигантским пузырьём в волнах, подпирающих его широкие блестящие радугами и перламутрами бока. От Луны и от Марса, и от Венеры стекают крутые водянистые дуги, и среди них нежный юноша в черной шляпе, на пятнистом жирафе верхом, проезжает и дергает за повод жирафа, вытягивающего голову к отдалённому Сатурну. И края кольца Сатурна пожираются челюстями длинношеего жирафа. И капли, блестящие отражениями, падают десятками миллиардов с диска на диск, с площадки на площадку, с трубки дома на площадь, на ограду, на парапет канала. И дымятся вечерние костры и бесчисленные огни зажигаются вдоль Трубочной набережной.

И Герман Миньковский складывает мои листы в папки и удовлетворённо хмыкает...

Луи Виоль – юноша в ковбойском костюме – провожает глазами Тони Грай, любовницу великой Лаватер-Ли, повелительницы планет...

Расправа с изменницами-любовницами у Лаватер-Ли коротка, она топит их с помощью неотвратимого и неуклонного падения множества капелек, капающих им в рот с высоты. Она их привязывает навзничь к плитам зала и открывает краны на верху сферического потолка.

И Тони Грай не осмеливается заговорить с Луи Виолем. И тот осведомлен об этом и боится навлечь на Тони Грай беду. И лишь издали с высоты седла смотрит в её сторону, и жираф нетерпеливо жуёт кольца Сатурна...

На берегу он объезжает высокую скалу, склонившуюся над прудом Урана. На скале высечена надпись полуторасаженными буквами: «Здесь покоятся кости великого Фортегуэрро Джантруфетти, гроссмейстера линейных искусств эпохи 4392567223-го года».

И астрономические цифры врезаются в уме Луи Виоля. Он тихо проезжает мимо скалы и по каменным лестницам осторожно съезжает на своём жирафе вниз, и плывёт по синему заливу, и бледные гребешки волн бегут ему навстречу, и розовые облака бегут по радиусам широкого зелёного веера, раскинутого над водным простором. И дикие гипподактерии кусаются и дерутся в волнах, вздувая их буграми...

* * *

Я совершенно теряю голову.

Эти водяные картины топят меня в своих голубых и розовых сияниях, и я теряю самоощущение. Будто уже есть только эта одна зелень и серые разводы воды и жемчужины капелек. И они капают, льются перед моим носом, и дождик мочит мне шкуру, и она покрывается пятнами. И Я лежу на камне, под которым великий Фортегуэрро Джантруфетти нашёл себе вечное успокоение, и мой хвост самопроизвольно бьёт по скале.

И Луи Виоль подъезжает ко мне, медленно поднимаясь из тёмно-серой тускло поблескивающей поверхности бассейна Урана. И вода блестит на его ковбойском костюме. И он спрашивает - как ему быть. И я выпрыгиваю и лечу ввысь, и хватаюсь хвостом за полосы Нептуна, и лижу языком поверхность водоёма, и отвечаю заплетающимся языком юноше, что ему надо ехать на берег моря и

сторожить огни на берегу до моего прибытия. Я же должен бежать по крышам трубочных набережен к отдалённым сине-оранжевым заливам.

Я побегу, как проклятый, по крышам Трубочной набережной. Буду перепрыгивать с трубы на трубу, буду перескакивать промежутки между крышами и сочинять в уме по этому случаю триолеты.

В животе Луны журчат ручьи.

Это игра контрастов,

Гармония из хаоса.

В животе Луны журчат ручьи.

Эстеты с рыбьими головами на плечах

Сидят за большим столом, над которым

Несутся египетские колесницы,

И ведут разговор о картинах Матисса.

Голубые муравьи

Дуют в саксофоны и стучают

Своими когтями в ма́дные тарелки

И необъятные барабаны.

В животе Луны журчат ручьи...

Лунный серп зазолотился в дроби мельчайшей ряби, внизу у меня под лапами между отдалёнными трубами. Светлые триремы гордо выпятят свои лебяжьи шеи. Басовые струны контрабасов низко захрипят и шум отдалённого города и огненной пристани низкими протяжными нотами растянется между моими скачками.

...Картины совершенно апокалипсические, дикие и безумные побегут перед моими глазами. Я увижу на поверхности волн, заливающих фиолетово-красное, серо-зелёное, бирюзово-черное море крыш, - бледнорозовые и бледнозелёные туши жирных борцов – с бритыми головами и с роговыми очками на носах, – дающих по шее один другому, в пылу страстных схваток друг с другом вышлёпывающих «итальянские макароны» и кувыркающихся в малиновой пене волн, освещённых пылающими факелами, блистающими из глаз разъярённых электрических скатов. Грубыми ударами пухлых лап демонстрируются невиданные затрещины по мокрым спинам, и игривые «тур де бра» и «двойные нельсоны» подольют керосина ожесточенного соревнования в безумные схватки разъярённых самцов, сражающихся над корявыми крышами уснувших в синем тумане кварталов.

Лучики света побегут раскалёнными ядрами в черные облака и белые струи китового уса пересекут всю набережную и проглотят море с ярко пылающими звёздами и тёмнокоричневыми неудобоваримыми стальными переплетениями угрюмых мостов, перекинутых от одной глиняной башни до другой через розовосиние кусты бамбуков, стреляющих рыжими стрелами в раскалённые до желтизны трусики великой Лаватер-Ли, Повелительницы планет, купающейся в малиновом заливе моря Киприды на самом маленьком из островов Цитеры. Шелковыми сетками бронзовые юноши выловят планету Венеру из эфирного блюдечка солнечной системы. И бросят планету Венеру в ступку, сделанную из промокательной бумаги, и истолкут в мельчайшие части, и развеют их по ветру. И ветер сплетёт из пылинок мягкие тучи саранчи, и саранча полетит над медными тарелками полей, изрытых яркозелёными потоками пенящейся азотной кислоты. И коричневые туманы прочистят нам лёгкие, и мы вздохнём, как угорелые пифии. А потом будем пить чай большими стаканами до одурения. И, прочистив своё сознание, займёмся переписыванием весёлых триолетов...

Молодой ковбой слушал мои вдохновенные пророчества. А жираф, опустив голову вниз и просунув шею между стоящими на берегу синими обелисками, лизал прибрежные гальки, и они жгли мои глаза своими яркими насыщенными огоньками. Я хлопал своим хвостом по трубам, и трубы извивались, подобно коряворогим жукам, поблескивающим своими красно-коричневыми панцирями. Длинноногие комарики, растянув свои конечности на десятки километров, скребли морское дно своими усиками. И на поверхности синего залива вспухли буграми синяки от комариных укусов.

Ковбой снял шляпу поклонился мне с насмешливой улыбкой. Ветер развевал концы черного платка, повязанного на его шее. Зелёные осьминоги пытались обхватить своими щупальцами рожки жирафа. Но рожки, раскаляясь в зелёно-золотые отливы, сжигали щупальцы. И голубой дым стлался от обуглившись кончиков осьминоговых присосок.

Мои усы прокалывали стены домов и в них зажигались огненные дыры. Фиолетовые клубы дыма стлались по внутренностям комнат. И набережная лежала свинцовым слитком, который сверкал и дымился.

Чёрные рыбки плескались в бледно-голубой воде, и я бил их своими пятнистыми лапами. И красивые мальчики и девочки, эти будущие леопардо-люди, клали их на розовые тарелочки и разносили по всей набережной. Жираф встал на задние ноги и танцевал, подняв голову к Луне, повисшей на середине неба неподалёку. А девочки и мальчики гирляндами кружили вокруг Луны и жирафа.

Басы медных труб кричали, и стаи птиц щебетали и прыгали по серо-синему небу.

Дворец Короля Электрических Кабелей утопал в золотых языках пламени...

...Что привлекает в авторе, так это полное отсутствие чувства меры! За что бы он ни взялся. Подумает ли об иллюстрациях к роману, так возникает желание посвятить этому делу пятнадцать лет своей жизни... Если у него кристаллы - так уж непременно какие-нибудь тысячекилометровые. Если пошел вопрос о деторождениях, то дети автора начинают исчисляться миллиардами. Если уж воздержание - то какое-то невероятное, а коли любовь - то не менее десяти тысяч в год! Автор не знает ограничений! Он действует и мыслит как некое дитя природы...

«Не слушайте нашего смеха, слушайте ту боль, которая за ним» (А. Блок).

Бывают имена очень созвучные с духом их владельца настолько, что способны определять - судьбу... Сергей Калмыков. Имя несло в себе рациональную утонченность Запада и необузданную красочность Востока. Ажурную готику логики Европы и страсть скачущих скифских коней во всепроникающем ветре Азии. Красочную причудливость «Мира искусств», непредсказуемость жизненного театра и космичность фантастического предвидения.

Художник: фантазёр и мечтатель, который жил в реальнейшем межзвёздном мире лунных джазов и крылатых красавиц. Он вернулся в тот мир, оставив свой метеоритный след, по которому каждый может идти - к себе.

Ни на одном из кладбищ теперь не найти его могилы...

В искусстве имеют значение намерения, а не достижения. Художник прежде всего мечтатель... именно мечтания и намерения художника отличают его от рядовых последователей и подражателей Мастера, им-то нет нужды брать высоты, на которых можно

сломать себе шею. Художник поверяется высотой его неосуществлённости, это, кажется, Фолкнер заметил...

...Но искусство – есть царапина дикаря на скале, детская игра, и мифы его – стадион будущего!

«Люди ещё дикари, но не все далеко из них занимаются искусствами. Люди станут людьми лишь после того, как все сделаются художниками! Этого ждать долго. Мне ничего не остаётся, как в ожидании этого отдалённого будущего плести свою корзину дикаря. Свою Апологию! Я вымажу сплетённую мной корзину грязью, облеплю глиной, обожгу на солнце, на горячем песке и сотворю миф о своей жизни!..»

В каждом атоме мира будет отныне чувствоваться присутствие художника, взгляд его будет излучаться электронами тончайших туманностей! Эти туманности будут окутывать нашу планету подобно шарфу Колумбины – или покрывалу Изиды!..

Я – тот инструмент, с помощью которого...

«Запад России», №1 (24), 2001

РЕЦЕНЗИИ. ПЕРЕВОД

*«Прежде чем начать писать, посмотри –
как прекрасен чистый лист бумаги...»
(Японская пословица)*

КОРНЯМИ ДОМ УХОДИТ В ЗЕМЛЮ

*«Нет, совесть не зажать в глухом углу памяти,
не отмахнуться и не прогнать камчой...».*

Д. Исабеков. «Молчун».

Поколение Дулата Исабекова вошло в литературу десятилетие – полтора назад. Это поколение, на чье детство в той или иной степени наложила отпечаток война. Отблески её жёсткого пламени не могли не отразиться в произведениях сверстников Д. Исабекова – ведь память опалённого детства, ранних утрат и горестей неминуемо участвовала в формировании миропонимания и художнической философии, диктовала свою образность восприятия и свои критерии добра.

Прозе Д. Исабекова присуща пристальность взгляда в лица и судьбы своих героев, лишь на первый взгляд незначительных и мало влияющих на события, происходящие в «большом мире». Сама кажущаяся камерность его прозы – не что иное, как осознание значимости каждой – даже самой «маленькой» – человеческой жизни, умение ощутить боль и радость, разглядеть слёзы одного, конкретного человека, те слёзы, которые не дадут художнику успокоиться, пока не будут осушены улыбкой. И художнику неважно, блеснула ли слеза в самом дальнем и самом незаметном уголке планеты, – эта слеза горчит точно так же, как и целая река слёз... Вот это ощущение, быть может, наиболее важный и наиболее обнаженный нерв искусства Дулата Исабекова. Так, уже в самом названии небольшой, но очень емкой повести «Вы не знали войны...» писатель трансформировал не только свои детские впечатления и своё взрослое отношение к войне, но и показывал те истоки боли и сочувствия, которые стали критерием добра его поколения.

«Да, мы её не знали...» – вроде и соглашается писатель, разворачивая перед читателем самое тяжкое, что несла война его ровесникам: детство без смеха и игр; детство, озабоченное голодом;

* Д. Исабеков. Отчий дом. Повести и рассказы. Перевод с казахского. «Советский писатель», 1979.

детство, стремительно взрослеющее на соли горьких слёз утраты. Но и детство – уже осознающее потребность человека в друге, уже понимающее значение доброты и помощи другому для собственного счастья...

«Да, учитель Сеиду сидел за столом живой и, глядя на него, каждый из нас мечтал лишь о том, чтобы и его отец вернулся с войны всего-навсего с пустым рукавом. Не так уж это страшно. Можно жить дальше...» – так думает маленький герой повести, который уже знает, что такое голод, и который уже научился откладывать несколько кукурузных зерен из собственного скудного обеда для своего друга Кулмана и его сестрёнки. Они получают первые нелёгкие нравственные уроки, которые учат их, ещё немысленнейшей по возрасту, не торопиться с осуждением ближнего. Учат понимать и сочувствовать несчастью, общему для всех и преодолимому лишь единением, а не враждой: даже мачеха Кулмана, изо всех сил скрывающая от детей «чёрную бумагу» о гибели отца, предстаёт совсем в ином свете – ей тоже необходима жалость, необходимо понимание её горя, обозлившего женщину... Да, словно говорит писатель всем настроением своего маленького героя, детства которому не смогло вернуть даже слово «Победа!», да – «чужая радость не смягчает собственное горе», это так; но если счастливый сумеет и в счастье своём обернуться к обойденному радостью – он, счастливый, станет сильнее, разделив свою улыбку и своё тепло, сильнее в том будущем, где придется им завтра отстраиваться вместе.

Само название книги Д. Исабекова символично и характерно для его творчества. «Отчий дом»... Так называется один из небольших рассказов. А если книга, в которой несколько объемных, насыщенных событиями и героями произведений, одноименна с небольшим рассказом, значит автор много думал — что же может объединить разные и противоречивые судьбы под одной крышей?

Конечно же, дом. Отчая земля, отчий край. Дом этот — вырастающий до символики общечеловеческих отношений - сумел и самого художника свести с героями в единой боли, в едином ожидании и тревоге за его будущее. А будущее его – в том нравственном, духовном горниле, которое жизнь уготовила людям и которое люди уготовили друг другу...

Мир, в котором живут герои книг Дулата Исабекова, невелик.

Это – или отдалённое казахское село в бескрайней степи, или даже просто одинокая юрта на отгонных пастбищах среди однообразных холмов, где живёт и работает, и любит, и поднимает детей всего одна или две семьи; а то и вовсе – наскоро сделанный сезонный шалаш, в котором обитают дед с внуком, сборщики лекарственной травы, полыни-дермене... Кажется, только случайные отголки «большого мира» докаты-ваются сюда, чтобы тихонько про шуметь в разговорах да и затихнуть здесь, в жизни привычной, традиционной и размеренной.

Но мир этот – огромен и важен. Мир этот, куда уводит читателя художник, – жизнь, душа и смысл поступков человеческих. И события, что здесь происходят, тоже ведь – та самая большая жизнь, которой живут все люди, народ, мир. Сам ход истории формируется ею, – подспудно, но вечно, неумолимо завися в движении своём от самой незаметной человеческой судьбы. И художнику необходимы немалый талант и большое мужество, чтобы принять в себя горькую тяжесть этой ноши и этого опыта.

Сложен и жесток может быть путь человека по жизни. Как у старика Молдрасула в повести «На отшибе». Ещё в молодости прозвали Молдрасула Киеваном за приверженность кокнару, местному наркотику. Но не станем осуждать этого неприглядного, неряшливого высокого старика, с первых страниц производящего почти жуткое впечатление тёмной страстью своей, бесчувственностью ко всему вокруг, беспросветностью жизни его. Не будем осуждать его априори, а вместе с автором внимательно взглянемся в долгую жизнь его, увидим ростки доброты и силы, затоптанные жестокостью или равнодушием, или стремлением построить на слабости ближнего своё благоденствие. Где они – те, кто смеялись над нищим парнем, толкая его к пороку, обрекая на жизнь на чужбине, на тупой бесконечный труд батрака? Где те, кто растоптал красоту и молодость его жены Кыжымкуль, вышвырнутой тёмной «традицией» из родного дома, так и не вернувшейся к родному очагу, так и не простившей обиды! Лаконично и страшно итожит художник судьбу двух стариков: «...В этой новой для них обоих жизни месяцы и годы ссохлись, как зачерствевшая лепешка... Молдрасул, вернувший было себе ненадолго подлинное имя, окончательно превратился в Киевана, заядлого потребителя кокнара, старика с глубоко запавшими глазами, а красавица, байская дочь Кыжымкуль, стала крохотной, смуглой до черноты старухой Киевана...».

Искусство, как и сама жизнь, не знает ровной дороги, дистиллированные судьбы противопоказаны ему. Исследуя жизнь, художник проверяет своих героев на прочность, берет на вооружение даже их заблуждения и ошибки в долгом пути. Нет, не судьёй становится он: боль и сожаления за утраты пронизывают его. И – читателя. Только при таком отношении к судьбе самого неприглядного героя работа художника несет в себе тот заряд оптимизма, который необходим для созидания. Но утрата – это утрата, и она должна вызывать боль. И мы обязаны ощутить эту боль и эту утрату как собственную потерю.

Где те, чьим равнодушием изломаны жизни этих стариков! Конечно, жестокость и чёрствость оставляют свои чёрные следы – теми же шрамами горьких судеб, отзвуком недоброты в душе. Но вот Кымка – эта нищая женщина, приютившая Кыжымкуль и принявшая её сына в свою семью, словно из небытия протягивает еще раз свою добрую руку угасающим старикам: она сохранила им, вдохнула перед концом их жизни сознание бесполезности даже такой тяжелой судьбы – весть о неведомом внуке доходит до Молдрасула и Кыжымкуль.

Жестокий урок открывается читателю через судьбы героев рассказа. Он учится у них – утративших жизнь, обойденных судьбою, сражённых тёмной недобротою – учится любить жизнь, сочувствовать и сопереживать, и гневаться этой обойдённостью, и видеть следствие зла.

Писатель не придумывает героям судьбу, как не придумывает к вящей успокоенности счастливого конца. Весть о внуке убивает старую Кыжымкуль, наверное, убьет и Киевана. Но, быть может, внуку стариков тоже необходим их горький опыт, как и эта обожжённая земля, куда уходят корни его дома. Необходим именно для того, чтобы научиться быть садовником на этой земле, чтобы уметь отринуть горечь тёмных соков, ещё питающих эти корни недобротой, жестокостью, себялюбием... Это большое и редкое умение – увидеть грани красоты, возбудить внимательное уважение и сочувствие в самом неприметном, самом жалком герое и суметь раскрыть красоту эту перед читателем. Этот дар писателя, на мой взгляд, с особенной силой раскрывается в повести Дулата Исабекова «Молчун» (перевод В. Берденникова).

В тяжелое для него время мы застаем Молчуна – старого могильщика маленького городка, который казался окружающим,

«может, лишь чуточку придурковатым», а вообще «был тихим незлобивым человеком». Впрочем, «тяжёлым временем» для него, как мы вскоре узнаем, была и вся нелёгкая жизнь Молчуна, разве что самое раннее детство может вспомниться светлым пятном – когда его звали еще Тунгышем, первенцем. Давно это было. Отобранный у отца по жестокому навету и отданный в заложники, он пережил всю горечь рабства, ощутил утрату всех родных, унижения и страх смерти, побег и скитания. Нет, придурковатым Молчун мог только казаться – горький опыт дал большое терпение и немалую мудрость: «...Кто теперь знает, что это были за могилы? Может, какие-то почитались святыми! Кто теперь знает?.. Всё проходит, стирается, даже память. И остаётся – молчание, бессмысленность, тлен... Греясь на солнышке и неспешно перебирая свои **немудрёные** мысли (этот эпитет, видимо, надо отнести к немногим орехам перевода, «немудрёность» *таких* мыслей человеку надо прожить! – *Выделено мной.* – **В.К.**), Молчун совсем забыл о недавней боли».

Писатель очень точно вводит нас в состояние больного и одинокого человека, не переступая опасной грани маленькой жалости и сантимерта, за которыми уже не будет места большому заряду скорби, сострадания и желания вмешаться в несправедливость. Порой художник скуп до афоризма, и это даёт ему возможность удержать неослабно внимание на жизни героя без экзотических натяжек. «...Он был ребёнком, но детства у него не было», — так точно перебрасывается мост для взгляда назад, в прошлое героя. Ах, как хотелось Молчуну зарезать овцу и заказать молитву для родителей – это слабость напомнила о них, та самая слабость, которая и отобрала самую возможность поминовения, хотя и овца была уже послана за работу, да вот и подвело здоровье, вылезли невзгоды вмиг, навяли тоску, принесли горькую память...

Казалось бы, правомерен готовый упрек художнику: «да, судьба героя горька, жизнь беспросветна и смерть близка, но к чему же эта безысходность, пессимизм!» И как неправ будет тот, кто поторопится с таким выводом! Потому что Д. Исабеков – писатель большого оптимизма. Того самого, во имя которого не избыть боль, пока может хоть где-то существовать причина этой боли. И нет для него «большого» или «маленького» горя – есть горе, которое необходимо переплавить в радость. Писатель понимает и даёт это осознать читателю, что опосредованно, незримо, но очень

прочными нитями жизнь и судьба даже «маленького» человека соприкасается и влияет на жизнь и счастье других – всех,

И здесь выступает другая сторона тех же человеческих отношений: никогда неправда и утверждение за чужой счет не принесут счастья. Истина не новая, но пока существуют обиженные и обидчики, пока человек не дорастет до истинной доброты, ради которой он создан, эта тема не перестанет волновать художника. Годы проходят, десятки лет, прежде чем пришло к гонителю Молчуна баю Укитаю осознание этой истины. Ни звание волостного, ни богатство не могли уберечь бая от старости и уколов совести. «В один год оспа унесла всех сыновей волостного, засуха и голод ополовинили аул и косяки лошадей, закрываясь в сердце болезнь подкосила самого Укитая. Тогда-то он и вспомнил о Тунгыше, вспомнил обо всем том зле, которое в необузданной ярости обрушил на маленькую семью копателя колодцев...»

Точными, жёсткими красками написан бай Укитай. И писатель не скрывает своего отношения к злой воле его, но и не торопится с мезтью – зло нельзя уничтожить злом. Поэтому писатель так внимателен к Укитаю – ведь зло, как и добро, порождение человеческое, и человек – для счастья – обязан дать вызреть в себе всему доброму. Укитай несет в себе это злое и заслуживает ненависти и... скорби – ведь он еще и утрата человеком звена, которое долго придется восстанавливать новым поколениям. Ненависть, но не мезть – возмездие и скорбь... «Если ты хоть однажды посягнул на чью-то невинную жизнь, сломал чью-то волю, разорил кого-то, – пусть не вспоминал об этом никогда, – перед лицом смерти вихрь поднимется в душе... Нет, совесть не зажать в глухом углу памяти, не отмахнуться и не прогнать камчой...» И больше нечего говорить. Остаётся лишь склонить голову вместе с Омекеем, на руках которого умирает Молчун, так и не доехавший с ожидаемым Укитаем словом прощания. Остаётся склонить голову перед добротой, которая – в этом уверен художник – сделает человека счастливым.

При всей напряжённости повествования, присущей прозе Исабекова, при всем чисто национальном материале, который писатель берет для работы так же естественно, как дышит, он умеет полностью избежать налёта той экзотичности, которой столь легко, на первый взгляд, привлечь читателя всесоюзного. Впрочем, экзотика лишь на первый взгляд – средство надёжного диалога с читателем, и отрадно, что Д. Исабеков избегает этого соблазна. На-

пряжённость прозы «Отчего дома» идет прежде всего от высоты моральных критериев, которые ставит перед своими героями (и перед читателем!) автор. Книгу его нельзя читать «между делом», с ней можно спорить и думать над ней... Лаконизм автора порой почти соседствует с точностью репортажа, который не даёт уходить в сторону от главного: «Прошел той. Прошел кокпар», – говорится в повести «Гаухар тас»... Из этих четырех слов вполне мог бы развиваться многостраничный эпизод. Но писатель не может себе позволить хоть на минуту отвлечься от драмы, к которой идут герои. Да, можно быть сильным, работающим, не нарушающим привычных устоев мужчиной, как Тастан, брат главного героя повести, характер которого – в противоположность Тастану, «столпу», – заявлен уже домашним именем Дудар бас (Кучерявый): он мягкий, тонко чувствующий, непростительно, по мнению жесткого отца, «слабый». Выламывающийся из среды и любовью и неугаемым интересом ко всему окружающему. Можно и хорошо быть сильным, но нельзя быть глухим к жизни, равнодушным или пассивным, и нельзя путать эти понятия.

Это – тоже отчий дом. Здесь есть всё то, что надо принимать и развивать, и то, что необходимо отринуть, даже если это нелегко, даже если это, как случилось с Салтанат, происходит ценой жизни. Лишь бы дом стал завтра – лучше... И мы верим, вместе с младшим братом, что Тастан встанет с могилы Салтанат возрождённым красотой этой души.

И вот здесь мне хочется поговорить о гражданственной позиции писателя. Для художника не может быть «больших» и «малых» тем, как не обязательно «монументальный» герой по силе воздействия на душу читателя действеннее героя «маленького». Важно, какой заряд вложен в него художником, который не имеет права на сиюминутное угождение случайному вкусу или требованию ситуации. Ему необходимо помнить о большой данности – таланте, который по крупицам, незаметно и постоянно, выстраивает общий дом человека – душу, формирует её веками, чтобы сложилось будущее, когда доброта, сочувствие, сотрудничество станут естественным души...

Вот это естество и волнует старого Токсанбая, случайно попавшего с внуком Ергешем на сбор полыни, но не случайно оказавшего сильнее «могучего... огромного, как верблюды», вора Омаша.

Жизнь старика, как и большинства героев Д. Исабекова, ни-

чем особым не при-мечательна, каждодневна в трудах своих. Всё вмещает она в себя этой каждодневностью – и выращенных детей, и радость их удачам, и трагедию их утраты, и мелкие заботы. «Но наверное, это и есть жизнь – делать взрослыми наших детей» – разве можно сказать точнее о человеческих и родительских обязанностях! И об ответственности, таким образом, перед будущим – оно станет таким, какими мы вырастим детей, внуков, а те в свою очередь – своих...

И проверка прочности твоего добра, твоей морали может прийти неожиданно, и тогда тебе нужно собрать все отданные тебе корнями силы, чтобы выстоять. Жизнь сталкивает старого Токсанбая и его внука с искателем – и, добавлю, апологетом – «лёгкой, красивой» жизни. Готовым отстаивать свои претензии на эту жизнь, любым способом – обманом и кулаками. И Токсанбай отступает под напором зубов Омаша, покоряется ему, помогая в ночных набегах на чужие плоды труда. Покоряется в страхе за жизнь внука. Но приходит иной, высший страх – за душу внука: «И глаза старика тускнели. Чаще всего это случалось..., когда он замечал, что Ергеш, подражая Омашу, тоже беззаботно и весело берёт чужое и, кажется, совсем не думает, можно ли так поступать, хорошо это или плохо». Он, всю жизнь проживший честно и добро, не имеет права оставить в душе внука и крупницы этой «лёгкости», этой неправды, которая может утвердиться кулаками и примером Омаша.

Нет, он не тот старик Момун, который плакал над мальчиком, но молчал, раздавленный чёрной силой Орозкула, и слабость эта убивала мальчика – помните айтматовскую повесть-притчу! Да, бывает, показывает художник, зло может оказаться сильнее... сейчас, пока – если не найдётся сила, способная противостоять ему. И сила эта – не обязательно и вовсе не сила зубов. Понимает это старый Токсанбай: «Прочь!» – радуется он утрате неправедных денег и, наконец, находит ту силу души своей, которая одна только может выдержать борьбу за внука. «Так вот, на днях мы приведём сюда корову на базар и – расплатимся с тобой... И не обманем тебя. – Он посмотрел на Омаша и усмехнулся. – Я всё думал, не слишком ли тяжелый и грязный курдюк я на себя взваливаю! Слава богу, нести не придётся...» Добавим – и внуку не придется нести. Надо лишь найти силы, чтобы отстоять в себе человека, словно говорит нам писатель. Найти силы, чтобы не предать свой дом...

И радуешься достоинству героев этой книги, радуешься чистоте духа, которую даже в самой сложной жизни умеют пронести и передать дальше герои Дулата Исабекова. Радуешься тому, что он сумел увидеть их, вовсе и не очень-то заметных, с которыми мы так часто сталкиваемся, проходя мимо, понять их доброту, привести эту доброту к русскоязычному читателю. Тем более, что копилка-то этой доброты у человечества – общая...

«Простор», 1982, № 1

Дулат ИСАБЕКОВ

СТРАЖ ПОКОЯ

(Авторизованный перевод с казахского Вячеслава Карпенко)

Стоило кому-то лишь выдохнуть: «Ох, Демесин идёт!» — как любой аульный сопляк тотчас прекращал плач, а сорванцы постарше юркали в какой-нибудь закуток, куда только удавалось втиснуться, сопели носами и прислушивались к малейшему шороху, с ужасом и любопытством ожидая его появления в дверях. Да что ребятишки: при встрече с ним и многие взрослые — даже те, кто не прочь пичкать своих детей поучительными байками о собственной храбрости, — теряли поначалу связную речь.

Во всем облике Демесина, особенно во взгляде его, было нечто настораживающее, что холодило даже самые бесстрашные сердца. Он не был богатырем, но был достаточно ширококост и плотно сбит, и не каждый мог похвастать такими бугристыми мышцами — так что и в толпе его фигура сразу выделялась. Всегда красноватые, будто налитые кровью его глаза под тымаком¹, что и зимой и летом не сходил с головы, таили взгляд, от которого мог вздрогнуть любой: пронзал насквозь этот взгляд. Такие глаза загораются обыкновенно у полного мужской силы верблюда во время гона, и не дай бог встать у него на пути...

Боялись Демесина — так трепещут при опасности неизвестной и необъяснимой, которую всегда лучше обойти стороной или переждать. Вот только что кто-то послал другому громкий попрёк: «... Как этот псих Демесин», а то ещё чище: «...Э-э, болтаешь — будто наш безумец!» Но объявись вдруг Демесин рядом, тот же ругатель первым бросался ему навстречу и помогал сойти с коня, бросая красноречивый умоляющий взгляд на собеседников — не проболтайтесь, мол, как тут я его поминал...

¹ Т ы м а к — меховой треух с наплечьем и ушами (каз).

Вырос Демесин в этом ауле, здесь и старился, но для аулчан вся жизнь его всегда оставалась загадкой. Ни с кем он не сблизился, и не было в посёлке человека, который решился бы с наступлением сумерек перешагнуть порог его дома. Больше похожий на крытую землянку, приземистый домик Демесина, построенный наверняка где-то за полвека до появления теперешнего нелюдимого хозяина, стоял на западной окраине; домишко тот словно вклеился в подножие холма, готовый в любой момент в нём и раствориться. Он и сливался с тем холмом, как только темнота сгущалась над аулом: невзрачная, никогда не знающая извёстки лачуга во тьме преобразалась в устрашающее людей прибежище, мутной своей насупленностью отпугивала она даже детей. И хотя в ночи уже невозможно было различить её, у каждого она порой выплывала перед глазами. Это было как наваждение...

По рассказам всё замечающих стариков, незнакомый тогда всем юноша прибилудился к аулу в начале тридцатых годов... не то с Сарыарки... не то из Каракалпакии. Времена были смутные, многие искали по белу свету пристанища, кто, думаете, тогда интересовался друг другом? Приняли парня, как и других пришельцев — живет и пусть себе... Было ему в ту пору лет пятнадцать-шестнадцать, можно сказать, почти взрослый, он и рассуждал-то уже трезво, совсем не по годам взросло. Одно настораживало в поведении: исчезал куда-то регулярно и так же неожиданно объявлялся. Так было каждую неделю.

Время шло, и менялся Демесин как бы на глазах: словно что-то не давало ему покоя, словно спешил он вечно куда-то, всегда сосредоточенный на каких-то своих мыслях, серьёзный, всё более угрюмый. Как же было не поинтересоваться причиной такого его состояния, но в ответ па расспросы он лишь бормотал невразумительно и ещё больше замыкался. Людей аула образ жизни парня смущал немало, вот и приставили к нему однажды соглядатая, чтобы проследил, чем же занимается «прибилудный». Через неделю тог человек сообщил: «Ничего особенного. В прошлую пятницу побывал он на старом кладбище в Еспесae, сидел долго у могилы. Совсем свежая могила. Никуда больше не отлучался, а другого ничего странного нет, и опасаться, видно, его не стоит...»

Свежая могила на старом кладбище притягивала к себе, словно накладывая печать печали не только на память Демесина, но и на всю его жизнь. Потому он и осел в ауле, что в пути голодная

смерть унесла сразу и отца и мать; юноша смог поначалу выкопать одну на двоих, временную, яму. Над этим неожиданным захоронением к нему, наверно, и пришла взрослость. Оторваться от дорогих останков Демесин не смог уже никогда, он и нового света впустить в свою жизнь не сумел — будто остановилось для него здесь время любви, время улыбки, слёз и душевной близости... Позже, найдя себе пустующую лачугу в ауле, вырыл Демесин новую могилу, куда перенес родителей, и теперь каждую пятницу читал молитвы над их изголовьем — сколько знал или запомнил из священных книг.

Причина внезапной смерти его родителей, кроме него, никому так и не стала известна: здесь, до глухого юга джут и голод не доказались. Она ли потрясла его так — потеря отца и матери разом, или то, что он — сам, один — копал для них могилу и навсегда простился с ними, а может быть, всё это вместе сложилось в его душе, только время не смогло избыть утраты: Демесин становился всё резче, всё рассеянное и замкнутее на одном ему известных мыслях. Всё чаще случалось, что оставлял он незавершенной работу, уже почти сделанную, хотя поначалу довольно сносно зарабатывал свои трудодни. Люди вскоре попривыкли к неожиданным сменам его настроения, притерпелись к внезапным поворотам его мысли — хоть, бывало, и вовсе чепуху начинал нести несусветную.

Впрочем, людям что, если их впрямую не касается: посмеются, отнесут на счет чудачеств, молодости-глупости, да и забудут. А глядь — молодость-то уж давно миновала, и поправить ничего нельзя, и с «чудачествами» мириться надо...

Ну, да странности Демесина были в общем-то невинны и служили разве что предметом удивления да пересудов. Как-то, перед войной ещё, вывез он на базар три мешка пшеницы из своих запасов, а сбыв их, накупил с пуд конфет да и роздал ребятишкам. Часто ли на селе такое бывало? Дети, естественно, потянулись к щедрости взрослого человека. Может, он себя на их месте помнил, принося каждый раз подарки, или свою детскую обделённость во взрослой заботе возмещал? Кто в чужую душу заглянет... А только слух о его удивительной тороватости покатился и по соседним колхозам — кто ж из сорванцов не разинет рот, представляя себе такого доброго дядю...

Доверие к Демесину, несмотря на его пугающее взрослых одиночество, жило в детях аула до середины военных лет и оборвалось разом — вечером зимнего дня...

В дома аула стучалось горе, много слёз лилось по мужчинам, что ещё недавно уходили на неведомый фронт, а возвращались домой лишь именем своим в похоронке... Демесин тоже переживал эту черную печаль аула, надолго затаился в себе – его и не видно было; но однажды он, схватив ружье, взлетел на лошадь и налётом проскакал в степь. Перевалив через холм на пути, он начал палить в воздух, всполошил грохотом всех от мала до велика. Когда ему показалось, что наконец-то «отогнал врагов», суровый безумец вернулся в свою нахмуренную лачугу.

А назавтра он снова раздабривал конфеты ребятишкам, которых собрал на равнине за аулом; хотя и с опаской после вчерашнего, но они пошли к нему. Удивив детей несказанной радостью – откуда только он добыл эти конфеты, – Демесин вдруг посерьезнел, сказав:

– Теперь вы все... будьте немцы... в меня стреляйте – все! А я один сражаться буду...

«Быть немцами» мальчишкам не хотелось, но игру они приняли, раз Демесин так захотел. Из-за сугробов они «обстреляли» Демесина снежками. Тот в ответ обрушил на «противника» град увесистых ледяных комьев. Игра была как игра, кого из ребят не захватит она, если даже взрослый хмурый человек увертывается от снежков и носится по полю, будто равный.

Вскоре Демесин пробила испарина; и азарт шуточного боя полностью захватил его, даже глаза налились кровью. Вместе с криками мальчиков, которые продолжали забрасывать его снежками, отчетливо вдруг услышались рыдания женщин аула: в какой-то момент снежной схватки почудилось, видно, Демесину, что и в самом деле... фашисты... что они уже здесь, и только он сейчас... немедленно... может их остановить. Стоило лишь мелькнуть этой мысли, обернувшей мальчишек в настоящих врагов, как взбешенный Демесин был уже на коне, который в мгновение вынес хозяина к «врагам». Дети, увидев поспешность Демесина, поначалу решили, что он кончил играть, и тоже покинули свои места. Но, увидев, как всадник летит им навстречу, не щадя коня, переглянулись настороженно.

– Спасайтесь! Бегите! Сдурел Демесин!... – завопил кто-то постарше.

Не сразу поняли ребята, что происходит, а тех секунд, что они мешкали, было достаточно Демесину, чтобы его длинная сыро-

мятная камча полоснула несколько спин. Загнав разбежавшихся малышей в сугробы, куда коню не было ходу, безумец повернул назад — к тем, кого только что отстегал. Они всё ещё оставались на прежнем месте, рыдающие от неожиданной обиды, не в силах опомниться и защититься...

– Пашисты! – орал Демесин. – Будьте вы прокляты, пашисты! Увидите у меня сейчас! Вы за кого меня принимаете, а?..

И на полном скаку, вопя ещё что-то нечленораздельное, он вновь прошелся камчой по спине мальчугана, который успел ничком рухнуть в снег, почувяв приближение коня. Возбужденное ездом и скачкой животное пронеслось мимо, но твердая рука развернула его назад.

Ясно, взбудораженный большим воображением, Демесин в эти минуты не задумался и растоптал бы детей копытами коня, попадись, не дай бог, кто-то на пути. Всадник уже и камчу вновь вскинул для удара: вот-вот обрушит её на очередную жертву. На счастье, один из мальчишек в отчаянном порыве вдруг скинул с себя телогрейку и взмахнул ею перед мордой коня. Испуганный конь, всхрапнув, резко рванул в сторону, и Демесин не удержался в седле.

– О-о, будьте прокляты... пашисты! И меня, стало быть, доконали!.. – Его вскрик уже на земле придал прыти онемевшим от ужаса мальчишкам, а сам слетевший с лошади всадник застыл без движения, точно и впрямь умер.

Бедняга наверняка в этот миг полагал, что сражён вражеской пулей...

После этой истории дети уже не подступались к нему. После этой истории его ещё больше стали опасаться и взрослые.

В один из морозных зимних вечеров вырвались плач и причитания из дома солдатки Жамал: весть пришла о гибели мужа. А жила семья в центре аула, и было в ней семеро малых детей-погодков. Старшим из детей был тот самый Мутан, что прошлой зимой спас маленьких «пашистов» от расправы Демесина, замахнувшись на его коня телогрейкой. Этому Мутану пришлось последний удар камчой по голове в той безумной игре, после которой храбрец неделю провалялся в бреду.

К дому, откуда выплеснулся плач, Демесин примчался, будто черная весть пришла к нему первой. Даже в раннем вечернем

сумраке можно было различить, как валил от коня пар – так нёсся всадник сюда. И так, не спешиваясь, долго темнел вместе с лошадыю перед домом.

Женщины, что торопились к вдове с соболезнованиями, вскрикивали испуганно «котек» и «астапыралла» при виде недвижно застывшего на коне перед порогом Демесина и лишь за дверью возобновляли причитания с новой силой. Кто-то из них, видно, шепнул аксакалам в доме о Демесине, потому что вышел старик Акмолда с учтивым вопросом:

– По делу, Демесин... или как?

Всадник не ответил.

– Что же ты... на коне? Проходи... в дом... – неловкость молчания ошарашила старика, и он боялся осердить седока.

– ...А Мутан? Он что – тоже плачет?! – Демесин произнес это так торопливо и неожиданно, что Акмолда вздрогнул.

– Кто это – Мутан? – переспросил старик, в голосе его мелькнула дрожь. Благо, темно было и седок не мог видеть испуга; старик, что и говорить, был рад этому.

– Да Мутан же! Почему Мутана не знаешь?! – рявкнул Демесин, и старый Акмолда, готовый со страху провалиться сквозь землю, заикаясь, пролепетал:

– Д-да... плач-чет... т-тож-же...

Что Мутан был в доме и рыдал, было правдой.

Словно Демесин ждал только этого подтверждения: повернув коня, он пустил его в степь; топот копыт потряс тишину. К онемевшему Акмолде долетели брошенные седоком слова: «Пашисты пришли! Пашисты!..»

Всю ночь носился Демесин вокруг аула...

И с той ночи, стоило закатиться солнцу, Демесин выезжал за аул на «охрану покоя», как предположил кто-то в шутку. Для Демесина же, как оказалось, стало это делом серьёзным...

Люди, в полночь или предрассветную рань вышедшие во двор, слышали голос Демесина, его покрикивания и фырганье лошади его, надо полагать, выматывавшейся за ночь. Если Демесину почему-то представлялось, что аулу грозит опасность, он стрелял в воздух, и шарахалось от аула всё живое, будь то человек, зверь, птица или приبلудившаяся скотина...

Странности Демесина всегда давали пищу пересудам, а здесь – шутка ли, в пору, когда все безмятежно спят, взрослый сильный

человек ночь напролет шныряет по округе верхом!.. Когда же самые упрямые скептики уверились в правдивости слухов, людьми овладел прямо-таки мистический страх. Над каждым домом и так словно нависало тревожное ожидание беды, а здесь ещё этот ночной всадник, вооруженный к тому же.

Страху добавляла еще и непонятность ночных бдений: сначала Демесин сторожил аул чуть не каждый день, после – через день, через три-четыре, а то и неделями не выезжал, что-то своё толкало его на эти объезды. Частота или, наоборот, спад ночных метаний всадника, были замечены, они связались с приходом в аул похоронок – «черными бумагами» называли здесь извещения о гибели на фронте. В дни, когда не слышалось в ауле плача, был спокоен и Демесин; но стоило вырваться из какого-то дома причитаниям, он садился на коня и скакал в степь. Порой эта связь между его ночной скачкой и плачами утрачивалась, менялась местами, и многие разбуженные в ночи криками или внезапными выстрелами не могли больше заснуть, с ужасом думая – в чей же дом ещё нагрянет беда...

Такие слухи обыкновенно на месте не залёживаются: разнеслись они по соседним колхозам, и путников к аулу в неурочное время прибывало совсем редко. Кому выпадала нужда завернуть сюда – родственников ли повидать, дело ли неотложное заставляло, – поспеть старались до захода солнца, а то и вовсе назад поворачивали, слух ведь загадочностью обрастает, и. встретиться с непонятным всадником ночью находилось мало охотников...

Как-то в самый обед, явно чем-то взвинченный, злой да еще, видать, продрогший на морозе, Демесин ввалился неожиданно-негаданно в кабинет председателя колхоза. Хорошо, что тот был не один, проводил совещание с активом. Колхозный председатель – хромой и однурукий Ормантай, да и актив – сплошь женщины...

В этот самый «актив» появление Демесина внесло, конечно, смятение, которое нельзя было скрыть робкими, заискивающими восклицаниями: «А-а, кайнага-а¹...», «Э-э, наш мальчик...». Согласно возрасту женщины спешили оказать внимание неожиданному посетителю, а сами как бы между прочим старались придвинуться к Ормантаю поближе; их взгляды, обращенные на председателя, наполнились беспокойством.

1. Кайнага — старший брат мужа или жены; здесь традиционно-вежливое обращение замужней женщины к старшему по возрасту мужчине.

Да и председатель не сразу нашелся – мало ли что пришло в голову блаженному Демесину, и кто знает, чем чреват этот неожиданный визит?

– Т-тебе... что, т-товарищ Д-демесинов? – Он и сам, пожалуй, не заметил, как имя посетителя обернулось в его устах фамилией.

Тот уставился в упор, кажется, готовый расплющить взглядом.

– Я – не товарищ... Демесин я! – пробасил как-то предупреждающе.

– Да... Демесин... прости! Н-ну, и что надо?

– На фронт меня отправляй! Я пашистов уничтожу – всех!

– Н-нет... нельзя т-тебе... нельзя ехать, – сказал, мало-помалу приходя в себя, Ормантай.

– Почему – нельзя?

– Вот так. Нельзя.

– Так я спрашиваю – почему? – При последних словах глаза Демесина потемнели, совсем запали, на скулах заходили желваки.

Женщины сейчас были подобны камышинкам в ветреный день и так же, в зависимости от тона Демесина, клонились то в одну, то в другую сторону разговаривающих. На сей раз дружно подались они к Ормантаю. Но председатель молчал. И чем дольше затягивалось это молчание, тем большим беспокойством веяло от «актива»: не выпуская краешком глаза близящегося к столу Демесина, женщины умоляюще смотрели на Ормантая, на кого ещё им было надеяться, – скажи, дескать, этому... хоть что-то!

– Ты не поедешь... Ты здесь... нужен! – выдавил наконец Ормантай, словно давая женщинам хоть на время перевести дыхание.

– К-как? – теперь пришёл черед заикаться Демесину, видно, ничего ещё не понимающему.

Хоть женщины тоже не поняли, растерянность устрашающего человека позволила им прийти в себя и выпрямиться.

– А так, – сказал уже уверенно Ормантай, довольный действием своих слов на Демесина и оттого тотчас осмелевший. «И этого тронутого, оказывается, можно пронять!»

И, глядя тому прямо в глаза, повторил отчетливо:

– Ты здесь нужен. Ты наш покой охранять должен.

Случайные слова, что пришли Ормантаю на ум, – надо ж было что-то ответить! – и в самом деле произвели впечатление на Демесина. Он остановился в паре шагов от стола, который отделял его от сгрудившегося возле председателя «актива»; остановился Де-

месин с выражением величайшей ответственности на лице, мгновенно посуровевшем. Взгляд его впился в председателя, который словно читал в этом взгляде: «Это правда? Я и впрямь нужен вам? Вы и в самом деле не заснете ночами, если я сторожить не буду?..» И виделось в его глазах волнение — то, что сродни гордости: вот-де и я, выходит, понадобился людям...

– Да, ты нужен нам! – поспешил еще раз подтвердить однорукий председатель, радуясь такой перемене в буйном посетителе.

А Демесин застыл истуканом. Казалось, он не собирался уходить, перемалывая какие-то свои мысли, и женщины вновь опасно покосились на председателя. Опять потянулось мучительное безмолвие, минута которого для незащитного актива казалась вечной.

– Ну, что еще скажешь? – первым заговорил Ормантай, как бы ещё раз демонстрируя женщинам непреложность истины, что мужчина всё-таки всегда мужчина.

– Сани мне дай! – потребовал Демесин, неожиданно чем-то раздражаясь.

– Сани? Ах да, сани... сани... – Ормантай смешался.

Женщины рядом тоже знали, что сани в хозяйстве сейчас, когда мужчины на фронте, не безделица, ими особо не раскидаешься. Но они и понимали, что ответа Демесин ждет немедленно – иначе ведь не уйдет! И такого ждет, чтобы ответ удовлетворил его.

– Хорошо! – бросил Ормантай, наверняка пока и сам не сознавая, как он выполнит это многообещающее «хорошо». Рассчитывал, похоже, что с тем и повернется Демесин.

Но тот уточнил: «Когда?!» – чем поверг председателя в окончательное смятение.

– Когда?.. – повторил Ормантай, чувствуя закипающее раздражение от безвыходности и готовый взорваться, но встретился со взглядом безумца и сник, забормотал: «Когда... когда...»

Демесин подался к нему – видно, хотел что-то ещё сказать.

– Хорошо, приходи завтра!.. – опередил его Ормантай и прихлопнул по столу единственной рукой для пущей убедительности.

Демесин всё же подскочил к самому столу, схватил эту лежащую на зеленом бархате стола руку и затряс ее, словно вещь, он и отбросил тут же председателю руку, как будто вещь эта оказалась ненужной, и устремился к выходу так же резко, как вошёл. Хлопнула дверь, и председатель смог прийти в себя.

– Уф-ф! – выдохнул он, поднимая глаза на сгрудившихся вокруг женщин. – Где ж сани-то ему раздобыть?

– Раздобудем, – кругленькая, как калачик, симпатичная молодуха с краю стола тоже облегченно вздохнула, всем своим видом говоря: всё, мол, ничего – придумаем, главное, что обалдуй ушел...

Сани в самом деле нашлись, председатель и актив даже разрешили пользоваться сеном с базы для лошади. И Демесин после своего похода в контору в самом деле начал бдительно охранять аул, считая это святой своей обязанностью. Теперь в «ночное» он выходил не случайно, под настроение, а строго каждый день, выполняя с примерной добросовестностью работу, «наконец-то поставленную на должные рельсы», – как утверждал председатель па следующем активе.

...Солнце клонится к закату, когда Демесин уже впрягает лошадь в розвальни. Затем натягивает на ноги поверх сапог собственноручно сшитые из старой кошмы громоздкие байпаки, один из которых заметно больше другого. Надевает поверх телогрейки тулуп и потуже затягивает у горла тесемки тымака. Выпивает большую пиалу раз-веденного в бульоне курта – высушенного до твердокаменности сыра, горсть курта запикивает на всякий случай в карман. Переваливаясь на ходу, словно большой медведь, несет из сарая немного клевера и подстиляет под себя в санях – пригодится для лошади. И с легким «чу!» трогается с места.

Для стороннего глаза всё это презанятнейшая картина.

«Чу!» – подрагивает морозный воздух.

Багровея, садится солнце. От нахмуренной неказистой лачуги, отстоящей от скученных вместе остальных домов – можно подумать, дома нарочно собрались, испугавшись и отвергая чужака, – от лачуги той отлетают сани, поскрипывая полозьями на снегу и поворачивая на дорожку, ими же вычерченную, начинают скользить вокруг аула. Оранжевый свет низкого холодного солнца рыжим пламенем падает на человека в санях, то и дело замахивающегося камчой на лошадь, окрашивает и пушистый лёгкий снег, взметённый полозьями; а вот уже сани с лошадью превращаются в чёрную движущуюся точку на плоскости белой равнины.

Скольжение саней особенно красиво в первые минуты – бег коня великолепен! Да и то сказать – за день отдохнул жеребец, накормлен, напоен вовремя! С охотой, с азартом и лёгкостью не-

обыкновенной увлекает он за собой сани с ездоком, только снег серебристо вихрится по обе стороны дороги! След в след ступают копыта вчерашней дорожкой, ими же проложенной, а сани увлекаются так легко, что кажется, будто не по снегу несутся они — по смазанной маслом плоскости; стремительное и неслышное, завораживающее глаз скольжение! Белый пар клубами вырывается из ноздрей лошади и быстро растворяется в морозном воздухе...

Аул расположился правильным кругом — словно взяли да и выстроили домики под огромной-огромной юртой, а потом эту юрту унесли, оставив домики среди снега. Из покосившихся низких труб голубой дым идёт к небу прямо-прямо, без малейших отклонений в сторону, — и каждый голубой столб на мгновение скрывает сани от наблюдателя, пока не объявляются они у другого домика и пока очередной голубой столб вновь не скроет их...

И всё же картина эта, несмотря на красоту свою, поначалу наводила страх на людей.

Страх вызывали не сани, ночь напролет поскрипывающие снегом и скользящие вокруг аула, ночь напролет взвихривающие снежную пыль полозьями, — нет, не сани и не лошадь, фыркающая в ночи на морозе; жуток был человек в санях, и не только он сам — все обстоятельства, связанные с его жизнью, с его характером, с его загадочной «службой». Невиданным и неслыханным явлением представляла ежевечерняя картина взору аулчан. И сознание, что кто-то в пору общего сна без усталости объезжает и объезжает село, — это, посудите сами, насторожит любого; людям грезилось в ночи, что вершится некое таинство, не подвластное ни человеку, ни самой природе, и многие просыпались в страхе.

Многоопытные старики-аксакалы и старые женщины пытались даже собраться вместе и внушить Демесину: «Кончай, мол, ты такую службу — всех детей перепугал...». Но, хотя каждый день они и договаривались собраться в каком-нибудь доме и Демесина пригласить, не находилось в конечном счете даже человека, который осмелился бы пойти за ним..

А Демесин тем временем всё так же объезжал и объезжал еженощно аул. Особых происшествий не случалось, и страх, поселившийся было в сердцах, мало-помалу стал рассеиваться; реже стали собираться и «официальные» представители, которым вменили было переговоры с Демесином. Через три-четыре недели «официальные люди» и вовсе перестали собираться, и хлопоты с перего-

ворами улеглись сами собой. А женщины и дети, покой которых и был, собственно, причиною предполагаемых переговоров с блаженным объездчиком, перестали пугаться ночных бдений Демесина; мало того – они с нетерпением и сами уже ждали его появления за аулом, немного в ту пору выпадало людям развлечений... И, кажется, многим нравилась каждодневная картина вылетающих в ясный зимний вечер саней, да и было ведь на что поглазеть: ровный бег коня в лучах заходящего солнца, серебристая пыль, взметающаяся позади упряжки, право же, вызывали восхищение. Даже самые ворчливые старики взяли себе за правило вечерними часами любоваться этой картиной. Тем более что этот почти сказочный выезд молчаливого бессонного стража становился своего рода приметой села: слух легендой разлетался по округе. Из соседних колхозов стали даже специально заворачивать любопытные, чтобы убедиться в услышанном и поглядеть на такое поистине небывалое зрелище, увидеть, как скользят сани с блаженным возчиком в лучах угасающего солнца.

Аул привык к ночному бдению Демесина.

Жители аула спали теперь спокойно, не тревожимые ни предчувствиями, ни ночными шорохами. Человеку свойственно быстро забывать собственные страхи, привычное скоро становится само собой разумеющимся. И в самом деле — если раньше здесь непременно запирались на засовы двери хлевов и сараев, то теперь эта забота в хозяйстве, можно сказать, стала второстепенной, быстро обернувшись беспечностью. В иных домах и двери оставались незапертыми: кто, дескать, вломится, когда там Демесии... И встать-то лишний раз попросту ленились некоторые, чтобы всё же набросить крючок...

И прозвище Демесина – Блаженный – стало забываться, всё более уступая место уважительному – Страж.

Коль случалось кому среди ночи выйти «до ветру» на мороз, первым делом было затаить дыхание и прислушаться к шорохам степным. И когда в шорохах тех улавливали, скажем, поскрипывание санных полозьев по скованному холодом снегу, или доносилось пофыркивание притомившегося в беге коня, или долетало приглушенное «айт!» возчика, которым тот изредка понукал животное, люди удовлетворенно переводили дух – дескать, всё в порядке, на месте Демесин...

— О создатель... ездит всё... бедняга...— бормотал человек спросонок, испытывая нечто более теплое, нежели простую благодарность, к тому, кто за своё бескорыстное такое бдение конечно же заслуживал большего, чем вырвавшееся снисходительное «бедняга»; но другого слова применительно к Демесину как-то не находилось, и потому, теряясь, умолкал человек... лишь вздыхал сожалеюще да возвращался в сонное тепло...

Прежний источник страха, которым представлялся ещё недавно Демесин жителям аула, в такие минуты оборачивался им благодетелем, ниспосланным свыше, что жертвует своим покоем ради спокойствия сельчан. Не каждому, согласитесь, под силу противостоять в ночи стуже да одиночеству, когда все другие в это время в тепле, в милой сердцу близости родных людей да светлых снов...

Что там воры, когда и заплутавшаяся скотина теперь не могла приблизиться к аулу ночью, а вскоре те коровы и овцы, что имели обыкновение уходить в степь, даже прекратили бродяжничать!.. Не обходилось и без курьезов. Замешкается кто или еще какая причина, скажем, заставит хозяина выгнать скотину в степь в неурочное время, как остановит на невидимой границе окрик Демесина. «Куда?! Днем надо было выгонять!» И хоть в первые дни трудно было смириться с подобной властью, но разве ему что объяснишь?.. Так и заворачивали обратно, бормоча под нос и задыхаясь в бессильной ярости. Завернул Демесин вот так одного, второго, третьего... А вскоре люди и сами попривыкли к новому «распорядку»; и если кто-то из особо настырных и забывчивых пытался и не мог проскочить ночную охрану, назавтра становился он предметом шуток да подковырок своих же соседей.

Смех смехом, а за полтора месяца «службы» Демесин схватил-таки пятерых воров, которых и сдал молчком с рук на руки председателю колхоза и активу. Впрочем, четверо из них сбежали, оставив похищенное – угнанную было скотину да несколько мешков пшеницы.

Теперь уж случайная «служба» Демесина стала окончательно считаться колхозной, на очередном заседании актива даже было записано соответствующее решение по этому поводу: как и остальным арбакешам-возчикам, Демесину разрешалось менять лошадь, чинить сани в колхозной мастерской, пользоваться кормами из хозяйственного фонда, а также получать раз в месяц пять килограммов пшеницы.

– Нелишне бы и трудодни ему выписывать...— предложила всё та же кругленькая симпатичная молодуха, что так желала ухода Демесина в тот первый налёт его к председателю; сейчас она видела, как благодушно настроен Ормантай, довольный ночным объездчиком, потому и заговорила о трудоднях, чтобы потрафить его настроению.

Ормантай задумался.

– Закон на это есть?.. – спросил он, суетливо засовывая в карман пустой левый рукав.

– Нет – так не придумаем, что ли? – улыбнулась молодуха.

Реплика и улыбка женщины словно говорили: «Разве не всё в ваших руках здесь?» – и председатель, не желая признавать, что не все ключи от мира у него в руках, и расписываться в беспомощности, поморщив для пущей важности лоб, бросил:

– Посмотрим...

Дня через два он всё же решил за эту работу начислять Демесину трудодни. «Следует наконец узнать его фамилию да и поздравить официально, чтобы поощрить, значит...» – озаботился председатель. Однако ни одна живая душа в ауле, как выяснилось, не знала фамилии Демесина. Но и отступать перед новой сложностью председателю не захотелось. Получалось, что спрашивать придется самому. А кто ж отважится на это? Отказались все, даже мальчишки, что прежде водились с ним, – никакие посулы не помогли. Старики – те и вовсе чуть не оскорбились и сделали вид, что не слышат просьбы.

Актив всё же решил проблему: под его нажимом это задание возложили на ту же кругленькую милую молодуху, благо её же предложение было о трудоднях Демесину. Так и записали в протоколе, что она «официальный представитель» колхоза. А устно добавили, что «справедливо переговорить с Демесином во время его службы».

Солнце краешком своим коснулось горизонта, и Демесин уже разок объехал аул, когда кругленькая, как пончик, молодуха, молясь всем святым, села на лошадь. К тому времени, как добралась она до Стража, солнце скрылось за крайней чертой белой-белой равнины и всё вокруг застлало сумеречные тени. Демесин давно и с нетерпением поджидал всадника, приближавшегося к нему: он остановился, как только заметил движение. Белизна снега рас-

сеивала темноту, и дома за спиной всадницы казались нарисованными.

– Здравствуйте, Демесин-кайнага! – приветствовала возницу молодуха.

Что Демесин не терпит официального обращения, она поняла ещё прежде – уж так-то он осердился в тот раз на активе, едва председатель назвал «товарищем Демесиновым», – поэтому и начала так разговор, по старинной вежливости величая этого непонятного человека «кайнага».

Встретил её долгий и пристальный взгляд Демесина, пронзивший женщину ужасом: словно размышлял Страж, можно ли съесть эту неожиданную наездницу. Укутанной платками молодухе в холоде страха показалось, что ее горячее молодое сердце вдруг обложили льдом.

– П-поздравляю тебя... в-вас... с вашей новой работой, кайнага!.. – проговорила как можно вкрадчивей, будто кошку погладила.

– Что-о-о? – поднявшийся ей навстречу Демесин в своем тулупе показался женщине громадным медведем, вставшим на задние лапы. Неверный, чуть рассеивающий темноту снежный отсвет ещё усиливал это впечатление.

А в отдалении под укрытием какой-то сараюшки любопытный колхозный «актив» во главе с председателем зорко высматривал происходящее. «Никак разговорились, а?..» – «Да-а, кажется, разговорились...» – обменивались они догадками соответственно жестам или движениям участников действия возле упряжки Демесина. «Точно. Разговорились!» – утвердила одна молодая женщина, глаза которой, надо полагать, оказались острее, чем у остальных.

– ...Тебе... да, вам со вчерашнего дня мы решили трудодни выписать... за охрану... – говорила между тем Демесину кругленькая молодуха.

– Коня куда наострила? – оборвал её Демесин.

– А? Коня? Как это – «наострила»? – сердечко члена актива подступило к горлу. – Ойбай, кайнага... лошадь моя... то есть... колхозная...

Демесин, ничего больше не говоря, сорвал с плеча ружье и выстрелил поперх головы женщины. Та пала ниц. Так и лежала прижавшись к холке, не двигаясь и почти не дыша. Только когда Демесин, ухватив ее как мешок, поволок с лошади, она пришла в себя. Забилась в сильных руках, заверещала отчаянно:

– Това... зй, да что это такое? Я – жена человека... он на фронте воюет! За издевательство вы... перед судом ответишь!..

Демесин подтащил ее к саням, грубо поставил на ноги, а затем концом повода так спутал лошадь, что передвигаться она смогла бы лишь воробьиным шагком. Плюхнулся в сани и готов был отъехать.

– Товарищ... кайнага... а как же я? – пролепетала молодуха в ужасе от туманной перспективы, ожидающей её.

– Будешь стоять, пока не придут. Не придут – до рассвета простоишь... не шевелись. Зашевелишься – пристрелю. – Взгляд впалых глаз Демесина был мёртвенно-холоден, и бедная женщина не сомневалась, что он действительно пристрелит, коли что...

– Бог ты мой... И зачем только понесло меня сюда!.. – расплакалась она и запричитала. – На смерть и на муки пришла-а я...

Демесин уехал. Темнота быстро поглотила его, а вскоре перестало слышаться и поскрипывание полозьев. «Полномочный член актива» – пустой звук для этого блажного её звание! – осталась в степи одна. Лишь стреноженная лошадь шумно всхрапывала рядом, перекладывая тяжесть недвижимого тела с одной ноги на другую.

Первой мыслью женщины, едва Демесин исчез, было распутать лошадь да убраться восвояси. Разве ж не будет она давно дома, пока этот обалдуй обернется?! Дом – родной, милый дом... он сейчас представлялся ей недостижимым раем... Совсем рядом... Но... нет, не посмела она даже сдвинуться. Демесин, он на то и Демесин, попробуй угадай, какая блажь ему в голову стукнет?! Объявится назавтра в конторе и при всем активе влепит ей заряд в лоб. С него, с чёрта, станется... Не-ет, лучше дожидаться — будь что будет! Как он велел... Не шевелись, говорит... Хорошо, не сдвинется она с места, хоть околеет, лишь бы обалдуй этот убедился в её покорности... Может, и смилостивится?..

Скрипнули полозья, фыркнула лошадь. Демесин! Женщина ждала этих звуков, но, услышав, вдруг испугалась сильнее. Страх пронизал ее до самых пяток. Мороз, казалось ей, был ничто по сравнению с тем холодом, что заледенил изнутри. «Да ведь и сани-то, – мелькнуло тут же в голове, – не обычные сани... Это ведь Демесина сани... они и скользят по-другому. Аул, видите ли, от фашистов защищать... попусту лошадь гоняет!.. А ни один человек не смеет и подступить, а она... одна... здесь ночью... что ещё ему взбредет?..»

Демесин и внимания на нее не обратил. Лошадь его иноходью проплыла мимо, мелькнули сани. И не подумал заметить, что бедняжка, оставленная на морозе, точно выполнила его приказ – даже на шагок не отступила в сторону. «Поделом тебе за твою покорность!» – в сердцах попеняла себе женщина. Она поняла, что он просто забыл о ней – слышала, когда проезжал, его горячее возбужденное бормотанье: «Вон они! Там, там...». Своими видениями жил безумец...

Оскорблённая, продрогшая на холоде, она снова расплакалась от бессильной злости. Чего ждать — вскочить на лошадь и мчаться в аул, пока жива, но мысль о двустволке Демесина, готовой тотчас разрядиться, удержала. Хорошо соседям, сидят себе в тепле... Помянула и актив, всё ещё хоронившийся в своем укрытии — нет, чтобы забеспокоиться... небось если и проберет мороз, так, на месте можно попрыгать – разогнать кровь, можно в конце концов и домой сбегать... а она... Дёрнула ж её нелегкая просить за Демесина, трудодни ему, видите ли, выбивать!.. Ездил бы себе...

– Если я закоченею тут, – прокричала наконец ему вслед, – ты ответишь! Лучше отпусти, а то сама распуताю вот коня и сбегу!

Когда это женщина у них кричала? Разве что во сне могло ей такое присниться – и сама, наверное, не заметила, как вырвался из нее этот крик: то ли страх доконал, то ли мороз... «А может, – решила она про себя, и ей стало теплей от такой решимости, – это смелость во мне проснулась... Природа всех оделяет смелостью! Только вот...» И тут чуть ли не над самым ее ухом прогремел громовый окрик вернувшегося с очередного круга Демесина: «А-а? Где? Где?!» Молодуха вздрогнула, разом забыв о смелости, возможно, дарованной ей природой.

– Ты кто? – заорал Демесин, срываясь с саней совсем рядом.

– Жена красноармейца – Орынша! Член актива колхоза! Не воровка, не думай... – женщина торопилась, словно боясь упустить эту неожиданную возможность растолковать наконец безумцу, кто она и зачем оказалась здесь.

– Что тут делаешь?

– Фамилию вашу хотела спросить...

– А?

Лишь закрыв рот, Орынша поняла, как не вовремя брякнула о цели приезда. Но слово – не воробей... что сказано – то сказано. Теперь жди, чем дело кончится...

Демесин вглядывался так, точно и в самом деле хотел увериться, в самом ли деле это женщина его аула... «Да не «пашистка» я, – хотелось крикнуть, – я ж по-казахски разговариваю!». В темноте он, похоже, не сумел её рассмотреть и зажёл спичку. «О господи...» – чуть не застонала Орынша, пугаясь новых неожиданностей.

– Э, видел я тебя! – проговорил он. – Только когда – вчера или сегодня?

– Сегодня! – вскричала женщина, чувствуя перемену в настроении Демесина.

– Не-ет! – пророкотал бас. – Вчера!

– Ну пусть будет по-твоему... вчера, вчера... – залепетала Орынша, не представляя себе, куда повернется мысль этого дикого Стража.

– Верно! Вчера я тебя видел. А лошадь твоя где?

– Вон она... – одеревеневшей от холода рукой Орынша махнула в сторону чуть различимого в темноте животного.

– Верно. Ступай!

О, какое счастье, оказывается, приносит человеку освобождение! Никогда Орынша не осознавала этого так ясно. В эти минуты она не помнила ничего — ни войны, где-то далеко гремевшей; ни того даже, как сиротливо её ожидание, как ждет не дождетса часа возвращения мужа, как молит создателя, чтобы он вернул его домой живым и невредимым... Исчезнуть с глаз долой, скрыться, пока этот чёртов Страж не передумал, – эта единственная мысль сделала проворными даже занемелые на холоде пальцы, когда она снимала путы с лошади. «Скорее... скорее...» Демесин развалился в саях и не сводил с неё глаз – может, просто хотел дать передохнуть коню, может, ещё что. Кто разберется, что там творится под этим неснимаемым треухом...

Стараясь не глядеть на Стража, Орынша взобралась на лошадь и, сдерживая себя, еще до конца не веря удаче, стала медленно удаляться от этого злосчастливого места.

– Эй, погоди! – вдруг услышала она, уже порядочно отъехав.

Сердце готово было разорваться в отчаянии, она даже дышать перестала. Разве есть женщина несчастнее её...

Придержала лошадь и обернулась: Демесин сидел все в той же позе, она почувствовала, что он... улыбается.

– Я тебя не вчера, а сегодня, оказывается, видел! – прокричал он, довольный, и бас его далеко раскатился по безмолвной равнине.

Сердце Орынши, подступившее было к самому горлу, вернулось на место. Она дала лошади свободу. «О, госпо-ди! – пробормотала она, чтобы перевести дыхание и радуясь, что Демесину только это сказать и потребовалось. – Не все ли равно, когда ты меня видел... вчера! сегодня!.. По мне – хоть в прошлом году, пусть!..»

Только добравшись до ближнего дома, женщина ощутила настоящее избавление – здесь, не в силах сдерживаться, дала волю слезам. От обиды и страха, который претерпела, от унижения и слабости, чисто бабьей слабости, расплакалась она... Тут и актив во главе с председателем сбежался на плач. Они только-только приняли отчаянное решение пойти на выручку Орынши — ждали лишь сигнала, ещё одного выстрела... Но раз Орынша сама объявилась, разумеется, надобность в вылазке отпала...

– Так какая ж его фамилия-то? – поинтересовался кто-то из актива, когда Орынша немного отогрелась в доме председателя, куда её привели.

– Пёс его фамилию узнает! — огрызнулась Орынша и принялась рассказывать о своих злоключениях.

Все слушали её со вниманием, каждый переживал, и никто, думается, не хотел бы оказаться на её месте.

– Как же мы напишем его фамилию? — с улыбкой спросил председатель, когда рассказ был закончен и все – каждый по-своему – пережили его.

– Сами вот и узнайте! – отвернулась ото всех Орынша.

Молчание нарушила смуглая мужеподобная женщина, греющая у печи спину.

– Э, других забот у нас мало, что ли? Оставьте и фамилию, и этого придурка, будь он неладен! – Она в сердцах махнула рукой. – Может, ещё кого собираетесь отправлять... с поздравлением?...

– И правда, может, сама сходишь... Слава богу, скроена богатырски! – пошутил было председатель, но женщина приняла его слова за чистую монету.

– Ну да, – тут же взорвалась она, – всем колхозом теперь на поклон к нему, как же!.. И без того уж сердце не на месте... – Глаза её в возмущении сощурились так, что стали треугольными. – Так и запишем в бумаге, – Де-ме-син. Пять кило зерна, ему положенных, он и так получит, без фамилии. Кто ж его тут не знает?! Небось не ошибутся...

На том и остановились. И в официальных бумагах колхоза стало значиться: «Демесин – Страж покоя». С той поры его так и звали – Страж покоя...

Шло время. До самого конца войны так и нёс Демесин свою «службу». Зимой – сани, летом – арба, круг за кругом объезжал он аул, ночь за ночью не смыкал глаз.

От принятого раз и навсегда распорядка своей «службы» Демесин не отступился бы ни перед какой силой, и он не раз удерживал на «границе» до рассвета и самого председателя колхоза, а однажды — и представителя из района, которому вдруг в полночь потребовалось выехать из колхоза по неотложному делу. Наутро взбешенный до потери важности начальник, не пожелав вникать в суть дела, категорически потребовал у председателя «гнать этого со службы в три шеи». И чем, дескать, скорее, тем лучше... Ормантай конечно же произнес: «Добро!» – и тут же на глазах начальства оформил письменный приказ: освободить, мол, такого-то Демесина от работы...

Демесин, конечно, продолжал «работать». Пока аулчан он охранял без чьего-либо приказа.

Шёл последний год войны. С фронта шли радостные вести, и народ воспрянул духом в ожидании победы. Демесин, надо думать, ощущал это настроение: он, как бывало, сбыл на базаре зерно, полученное на трудодни, и на все деньги нашёл-таки конфет-подушечек, которые и раздарил ребятишкам...

Однажды близко к полудню в контору председателя ворвалась взволнованная Орынша. Все радости, как и беды, у людей связывались в ту пору с событиями на фронте. Потому председатель с замершим сердцем тотчас вскочил с места.

– Что с тобой? Что-то случилось?

– Идите сюда! – Орынша потянула его за пустой рукав.

Она подвела Ормантая к окну и показала на сани, отчетливо чернеющие на снегу, на лошадь, понуро стоящую перед ними. Солнце уже ярко освещало склон, на котором была упряжка, и оттого всё просматривалось четко.

– Ну, сани... и что?

– Демесин никогда не ездил до сей поры, он с рассветом всегда возвращается...

Председатель, почувяв неладное, попятился от окна. Быстро вышел к привязанному у порога коню.

Когда они подоспели к накатанной дороге Демесина, лошадь, которой наскучило, видно, стоять на месте, уже увлекла за собою сани по кругу, знакомому и привычному. В санях, нацелив вперед ружье, сидел недвижимый Демесин. Председатель с Орыншой подались ближе.

– Демесин, а Демесин? – тихонько позвал председатель.

Демесин не откликнулся.

– А где же его тулуп?.. – испуганно шепнула Орынша.

Ормантай потянул за узду лошадь Демесина и остановил сани.

Демесин в санях застыл – недвижимый, с полураскрытым ртом, словно бы желая прокричать что-то напоследок...

Похоронить Демесина всем аулом решили через два дня на вершине самой высокой сопки за селением. Чуть в стороне от набитой им за зиму кольцевой дороги. Когда тело Стража уже готовились опускать в землю, раздался отчаянный крик-плач юноши за спинами провожающих.

– Кокема-а-ай!.. Не надо... здесь нет!..

От неожиданности все обернулись на голос. Это был Мутан, три дня назад уехавший на дальнюю колхозную ферму, – тот самый Мутан, которого так безжалостно огрел Демесин камчой в придуманной несколько лет назад игре и который после провалялся неделю в постели. В день, когда мальчишке надо было ехать на дальнюю ферму, Демесин принес, оказывается, ему свой тулуп... «Подождите... там, на Еспесее... на старом кладбище ведь... он туда – к отцу с матушкой ходил!..» – хватал за руки Мутан провожающих убогого. И хоть было всё уже готово, а земля ещё не отошла от снега, решили старики, что прав юнец. «По-человечески надо, да!»

Так и отправился Демесин в свое последнее путешествие, не пропустив в аул ни «пашистов», ни других грабителей... Может, и встретился он там с неизвестными аулу своими родителями, кто знает.

«Страж покоя» окончил свои дни за три месяца до Победы.

После его кончины люди аула ещё долго не могли свыкнуться с ночной тишиной и просыпались, тревожимые чем-то...

*(Из книги «Новоселье в старом доме»,
«Советский писатель», Москва, 1986)*

ДЕТЕЙ НАДО УВАЖАТЬ...

Казалось бы всё в предложенной пьесе правильно. И даже, как обещается автором, «сказочно».

Пасутся овцы Мукена рядом с полем Степана, пока «удары грома и молнии» не губят весь скот оседлого соседа. И соседям грозит расставание, которое, впрочем, легко отменяется крестьянином Степаном: «А... давайте жить вместе. Вместе землю пахать, вместе сеять, вместе и хлеб выращивать, а?». Это ведь так легко – отбросить столетия привычного уклада и дела, вкусов и традиций, тем более, что дети Мукана и Степана – Жанидил и Марина (почему не Лукерья – «народнее») – любят друг друга, а вот оказывается, «вместе жить веселее».

Это быстро подтверждается: Мукан на пахоте находит горшок с золотом, которое он, естественно, отдаёт Степану, а тот, так же естественно, не принимает, потому что «справедливость требует». Чего проще – «отдадим детям», которым оно, золото, тоже ни к чему, ибо «настоящая любовь – чище и дороже всякого золота». Кто бы спорил... Хорошо, что этот облагороженный спор слушает акын (певец-сказатель), который тоже считает, что «золото – это величайший грех, если оно служит неправде. И золото может стать благом, если оно направлено на добро». И это также правильно...

Выход один: «Выжжена солнцем степь наша... Иди, Жанадил, в город (?). Купи на это золото саженцев». Кажется, всё развивается по законам сказки. Приходит молодой герой на базар в городе («восточный», разумеется, где продают всё, что бывает на восточных базарах) – дыни, виноград и, конечно, саженцы, а также и птиц в «громальной, завязанной сетке»). И вот, узнав, что птицы предназначены хану, которому из их язычков готовят обед, Жанадил выкупает и отпускает пернатых пленниц, среди которых очень кстати (сказка ведь!) находится и Птица счастья. Поэтому остальные птицы сажают сад, поливают его.

Но ведь язычки этих птиц предназначены хану на обед: и хан,

узнав о Жанадиле и лишившись лакомства, приказывает колдунье известить героя. В ход идёт глубокий зиндан (колодец), в который колдунья сталкивает простецкого парня. Но Птица счастья зовёт... Марину, и они вытаскивают её жениха. Вскоре Птица счастья, зная о том, что колдунья с айдархарами (бесами) хочет всё же уничтожить Жанадила и сад (хотя и не признав прежде колдуньи во встреченной старухе), снабжает героя «живой» водой и волшебным мечом. С помощью этого меча он и расправляется «с первой волной» айдархаров, хотя они успевают-таки опрыскать сад зельем колдуньи. Сад погибает.

Хан же не успокаивается: посылает колдунью к «Белому царю» за «белыми айдархарами». Налетают новые злыдни, Жанадил успешно рубит им головы, а Марина помогает ему – «то сыпет песок в глаза чудищам, то бросает верёвку». Для подкрадывающихся же Хана с колдуньей Птица счастья приготовила подвох: подписала на бадьях с «живой водой» «мёртвая» и наоборот. Так что Хан с колдуньей быстро заканчивают свои чёрные дела и свой неприглядный век. А здесь ещё и Мукан со Степаном – отцы – «вдруг появляются, и косами, как пшеницу, косят нечисть».

Здесь и сказке конец, тем более, что прилетают птицы и «живой водой» кропят сад, который воскресает на радость народу. И герои дружно хором заверяют Птицу счастья, что всегда будут беречь чудесный сад. Остаётся Акыну пропеть последнюю ликующую песню с уверенностью, что «моей страны чудесный сад/ Ещё чудесней расцветёт». Теперь осталось, кажется, совсем немного: снимать плоды с этого сада...

Увы, не будем торопиться.

Лев Николаевич Толстой однажды сказал очень чётко и точно, со свойственной ему категоричностью: прежде чем рассуждать об искусстве, надо посмотреть – искусство ли это. Если не искусство, то и говорить не о чем.

На мой взгляд, тем более нельзя не быть категоричным, когда это касается искусства для детей. Приходится признать, что мы порою склонны стеснительно пожимать плечами и выбирать осторожные слова, стараясь не обидеть автора. И таким образом, вольно или невольно, поощряя поделки, совершенно забывая о тех, кому эти поделки предназначены. И кого они могут не просто обидеть, но и духовно переориентировать, обеднить, приучить питаться словесной серятиной, ведущей к скуке и неприятию на-

стоящего искусства, которое требует труда ума и сердца, а потому – развивается.

Обидно сознавать, что порою – и не столь уж редко! – литература для детей становится отхожим промыслом, рассчитанным на какой-то карликовый интеллект, когда авторы, при книжном голоде (и театральном также) юного читателя и зрителя, идут к нему (зрителю) с набором сладеньких дежурных назиданий о том, что дружба и труд – это хорошо и даже полезно, пусть и облечены эти назидания в псевдо-сказочный лубок.

Маленький зритель доверчив и прост, он легко поверит, что подобная «понятность» и «доступность» становятся вершиной критерия искусства, литературы. Кто-то из них эти критерии примет законом на всю жизнь, другой – отвернётся в скуке, тоже на всю жизнь. И не узнает прелести и мыслей «Приключений доисторического мальчика», «Острова сокровищ» «Чёрной курицы», «Бэмби», «Тяни-Толкая», «Русалочки», «Холстомера» и «Маленького принца... и, и, и... Не узнает чуда языка народных сказок, словесной игры и вкуса её, потому что подобные «доступные» вещи всегда пишутся языком среднеарифметическим, уравнивательным и бесцветным, в который нас сталкивает повседневная «газетчина».

Приведу несколько примеров, взятых подряд, потому что штамп, стереотип и полное отсутствие образности можно встретить при каждом абзаце.

«Хорошие дети у нас. Помощь, надежда и радость наша.../ Прожили бок о бок. Жили дружно, без ссор. Вырастили детей наших, помощников в хозяйстве. Дети наши также дружат.../ Вместе жить веселее. Вопросы сгоряча не решают. Даже дара речи лишись от волнения. Хорошее предложение... Дорога – дальняя. Зной, разумеется, – палящий. Плоды – крепкие, ароматные. А вот и «красоты» а ля «восток»: «Цвет как лунная ночь, запах – «райские кущи (?!), а вкус – «поцелуй любимой» (!) и т.д.

Приходится называть вещи своими именами – это не «сказка», а компилятивная спекуляция «под народ», в которой отсутствуют главные элементы культуры: язык, чувство меры и юмора, характеры и их динамика. Всё ясно изначально, прямолинейно, предсказуемо и банально. Вопреки надежде автора, от банальности не спасают и стихи Джамбула, далеко не лучшие стихи, «приспособленные», как и сам акын, по произволу автора, на развитие действия, как и на смысл нисколько не влияющие, ничего нового

или «красочного» не добавляющие, прямолинейно повторяющие то, что уже так же прямолинейно было проговорено или сделано персонажами.

Наверное, добавлять к сказанному больше ничего не стоит, разве что вывод: возникшая в последние годы уверенность, что примитив для детей – это путь к скорейшему «воспитанию», а радостная «розовость» -- единственный цвет для этого. Что ничего доброго для душ детей принести не может. И кукольный театр – никак не исключение.

Так что плоды с того сада горьки и несъедобны. Пьеса не состоялась.

*Для отдела театров
Министерства культуры КазССР, 1990 г.*

НА ПЬЕСУ «ДЕРЗОСТЬ»

(«Люди в белых халатах»)

Наверное, было бы вполне уместным и даже удобным (для рецензента во всяком случае) написать, что предлагаемая пьеса вряд ли подходит репертуару театров Казахстана по чисто региональному признаку, что в ней говорится об очень специальных вопросах и тщательно приводятся статистические данные, присущие иной географии и показывающие развитие другой республики (в пьесе приводятся цифры, прямо по-газетному декларируется, словно могут найтись оппоненты, оспаривающие достижения Якутии), наконец, можно посетовать, что хотелось бы увидеть «местный колорит» и национальные характеры...

Но тогда рецензенту вполне резонно можно возразить (и он сам возразил бы на месте автора и сценарного комитета) – что такое «Гамлет» с его непокоем в датском королевстве, о каком времени говорит Мольер и какое нам дело до драм разорившихся дворянчиков у Чехова?..

Человеческие характеры, «трагедия человеческого сердца», как называл это Фолкнер, проблемы добра и зла, любви, самопожертвования, корысти, предательства – вневременны для литературы, а специальность героев не суть важна (вспомним Вампилова), разве что может помочь автору выявить те или иные конфликты, подчеркнуть развитие героя в разных ситуациях, среде и пр.

И потому: хоть предложенная пьеса десять лет назад была принята для распространения, а возможно, даже и поставлена (?!), однако приходится констатировать, что пьесы, как литературного произведения, не существует. Возможно, дело здесь даже не в авторе, вполне профессионально и привычно владеющим пером. Дело во времени и, если угодно, в «социальном заказе», который диктовался до последнего времени (но не чужд, увы, и сегодняшнему дню) и который определял уже самой направленностью прямолинейность фабулы, картонную и легкоразрешаемую конфликтность

столкновений «ищущих» энтузиастов и их конфронтантов. Но раз автор настаивает, приходится говорить всерьёз.

Всё в пьесе «привычно» традиционно и стандартно предсказуемо. Уже с самого начала мы знакомимся с главными и не совсем персонажами, а представление идёт даже не столько по тому, чем они занимаются (хотя и это бы – в промельк, в диалоге-вопросе), сколько по должностям и «биографически-анкетным» данным. А своеобразный «оживляж» проходит под накатанные выражения, старые шутки и «темы диспутов» (чтобы, по замыслу автора, сразу дать краски характеров): «...Разрешите представить этих соловьёв-разбойников (Добчинский-Бобчинский? – не тянут). Доцент физико-математического факультета... инженер-конструктор завода. ...Лауреат Госпремии, пользовался большим уважением генерального конструктора космических кораблей Сергея Павловича Королёва (это полное титлование происходит в домашней обстановке за шампанским)». «Что бы выбрал каждый из нас – самую красивую девушку... или девушку, умнее которой нет на всём белом свете?». «Модель черепа больного Денисова министерство получило...» – и т.д. по всей форме усреднённой газетной статьи и соответствующего языка.

Нейрохирург Попов улетает в Польшу на симпозиум, но уже при прощании с друзьями-соратниками и любимой девушкой намечены проблема и конфликт: больному, болезнь которого развилась в результате ранения на ВОВ, необходима срочная операция. Перед самым отлётом в квартиру хирурга приходит жена больного Денисова, а когда врач говорит о сложности операции, ответственности, риске, любимая его (и, одновременно, медсестра в клинике) отчего-то, чуть не здесь же признавшись в любви к Попову, отчего-то с нескольких его слов обвиняет в чёрствости, жестокости, карьеризме (?) «выскачка, а не хирург (но она же работает – с ним!). Я не уважаю вас!». Позже Алла говорит главврачу совершенно обратное, а ведь для этого нужно какое-то движение душевное или – хоть смущение «приговором» дорогому человеку и, якобы, успешному нейрохирургу. Здесь уже и завязывается начало, я бы это назвал, назывной, плакатной мелодрамы... с «производственным», разумеется, конфликтом.

Но вот во второй картине герой в номере японского нейрохирурга, профессора Ямабэ в гостинице «Варшава», где «сервирован стол... метрдотель и официантка вкатывают (?) столик, уставлен-

ный бутылками с винами», разумеется «всех континентов и народов» (задача для режиссёра?). Автор сразу «берёт быка за рога», призывая при выборе напитков «нарушить национальные предрассудки» (?)..

Мне приходится так цитировать, потому что дальше на полном серьёзе идёт «политический» спор между американским, японским, польским и якутским (русским) коллегами-хирургами на примитивном уровне «а у вас негров линчуют» или, точнее, «маленький якут» стал нейрохирургом и сидит рядом (!) с «большим» американским учёным (здесь бы, если судить из характеристики Джейсона по профессиональной сути, кавычки неуместны, но как-то ведь надо дискредитировать «линчевателя»), «но я не вижу среди нас нейрохирурга-индейца...».

И когда м-р Джейсон говорит, что «если ваш скальпель, мистер Попов, так же остёр, как ваш язык...» – в ответ на дальнейшее развитие разговора, что он «тем более имеет основание сожалеть, что среди его коллег нет нейрохирурга-эскимоса», думаю, зрителям вряд ли выражение героя покажется острым.

В дальнейшей политдискусии на том же дурном газетном уровне, выясняется, что профессору Ямабэ также необходима срочная операция на мозг, а поскольку Джейсон отказывается (ага!), то сделать её берётся «мистер Попов», которому американец предлагает приехать «с будущей супругой в Соединённые Штаты. Америка – великая страна, вы увидите много интересного». Здесь, под сомнительную многозначительность сентенции героя «Дипломатия – плохая сестра маленькой (?) правды, но зато большой друг большой (?) правды». Все благополучно выпивают давно налитые рюмки, бодро восклицая многожды слышанное и мало что значащее (и, как понимаем, ни к чему не обязывающее): «Какой свежий ветер! – Ветер века...».

Автора абсолютно не смущает статичность будущих сцен, его несколько не беспокоит Театр, актёры в нём и – зрители. Привычность действия («привычность» – здесь даётся в смысле требовательности, обусловленной лишь «нужной» темой и громкостью шаблонной лозунговости), как и традиционных приёмов не оставляет места заботе о зрительском интересе. Иначе ничем не объяснить бездеятельность Ольги Петровны, стоящей в начале третьей картины с «наконечником пылесоса (!) в руках у репродуктора» и «с напряжённым вниманием» слушающей радио, где героиня отвеча-

ет на вопросы корреспондента: «Можно с уверенностью сказать, что медицина в целом (!) подошла к этому решающему рубежу...». Долго и скрупулёзно голосу предстоит объяснять «стереотаксический метод, представляющий собой совокупность приёмов и расчётов». И автор уверен, что зритель будет тоже бездейственно сидеть и слушать вместе с неподвижной актрисой, сжимающей «наконечник»...

Но вот и «конфликт» – с сестрой Денисова, которому должен Попов сделать операцию. Сестра эта – «из зависти», как признаётся позже, – будет противодействовать операции и писать на всех анонимки, пока её «не припрёт к стенке» сам министр здравоохранения (!) в посрамление главврача клиники Евгении Александровны, которая тоже мобилизует все свои силы на противодействие операции. Разумеется, из страха, опять же, за статистику. Нет необходимости передавать всю банальную накатанность сопротивления главному «положительному» герою, столь же одинаково с ним картонных антиподов, с обязательным инфарктом одного из сторонников «передового метода», как и угрызениями совести бывшего друга, предавшего коллегу ради карьеры... И естественно – с «Нарру энд'ом», который организует «добрый» министр, с удачно проведённой операцией в посрамление противников молодого таланта, с воспрянувшим от десятилетнего паралича больным... И возгласом японца-коллеги, которому операция ещё предстоит: «Халасо! Это есть осень совсем халасо!» – в эпилоге.

На мой взгляд, пьеса устарела ещё при рождении как отсутствием характеров персонажей, статичностью сцен и поверхностной заданностью конфликта, разрешение которого зависит лишь от прихоти автора и никак не подтверждено его, якобы (в заявке), попыткой исследовать социальные корни конфликта. Коли он существует. Или – психологию человеческих поступков и побуждений, ради чего, собственно, и живёт театр.

И потому нет никаких оснований для рекомендации её постановки на сценах театров республики.

*Для отдела театров
Министерства культуры КазССР, 1991 г.*

«ГОРИ, ГОРИ ЯСНО»

Рецензия на рукопись (4 авт. л.)

Никогда, а критическими разборами мне приходится заниматься вот уже двадцать лет, никогда не приходилось попадать в такой тупик анализа рукописи, как в этот раз. Поначалу попробовал читать, как обычно: чтобы иметь возможность помочь автору и редактору в дальнейшей работе, коли таковая потребуется, чтобы довести рукопись до книги и читателя. Начал подчёркивать стилистические огрехи, вроде «В общем, приготовилась к расставанию с родным домом»; или – «овощи, картофель, бахчевые и прочие деликатесы» и т.д. Но уже через несколько страниц понял, насколько это дело бесперспективно. Хотя бы потому, что чем дальше читаешь, тем всё с большей трудностью преодолеваешь вязкость текста. А ведь назначается повесть самому, пожалуй, сложному в читательском восприятии возрасту: героиня её Аня «перешла в четвёртый класс».

Автор предлагаемой рукописи «Гори, гори ясно» (не думаю, что и название удачно, хоть и отсылает к песне и костру), видимо уверен, что по прочтении этой повести дети (школьники) обретут и воспримут весь комплекс «воспитания» и соответствующих знаний «сельской жизни» и человеческих отношений, чтобы «войти в жизнь» нравственно отшлифованными до зеркального блеска и вооружёнными «зарядом бодрости, оптимизма и взаимопомощи». И автор (увы, как я понимаю, учитель) стремится вложить максимум информации, как ему кажется, способной «оставить след» в детской душе будущего читателя. Задача, разумеется, похвальная, но я намеренно двумя предложениями ранее охарактеризовал эту задачу бодрым языком газетного стереотипа, за которым, по сути, пустота. Чувств прежде всего.

К сожалению, на протяжении всей истории литературы самой заманчивой задачей для человека, берущегося за перо (при условии отсутствия иной корысти), было воспитание «подростающего

поколения» -- приходится писать «к сожалению» потому, что зачастую прямолинейность цели диктовала столь же лобовую прямолинейность средств исполнения. Не только в наше время (вспомним сентиментально-назидательные романы прошлых веков, а ведь из них дошли лучшие), но в наше время, видимо, особенно и по другим, чисто идеологическим, причинам, послужившим нивелировке, своеобразному «очиновниванию» языка и литературы, как ни странно и прискорбно (и, добавим, опасно) – детско-юношеской в большей степени. Видимо, это связано также с системой образования и бытовавшего в ней представления о «направленном» воспитании.

Не устаю повторять, и в журнале, и на встречах, насколько обидно сознавать, что порою – до сего времени не столь уж редко! – литература для детей становится отхожим промыслом, рассчитанным на какой-то «карликовый» интеллект. Обидно, что – при книжном голоде юного читателя – не редки у издательств авторы, идущие к этому читателю с набором сладеньких дежурных назиданий. И мы «деликатно» обсуждаем такого автора, боясь обидеть, отсылаем, чего греха таить, в другое издательство или заставляем редактора «дотягивать» рукопись, которая никакому исправлению не подлежит, потому что в ней отсутствует главное – талант. А с чем иным можно идти к детям? И заботясь как бы «не обидеть» автора, готового, кстати, звонить о «предвзятости» во все инстанции, забываем о ребёнке, раскрывающим вдруг скучную книгу. А выходит такая книга тиражом немалым – сколько это будет обиженных. А сколько получит заряд недоверия к книге, нежелания читать?..

Возможно, мы сами становимся виновниками того, что некоторым авторам сочинительство для детей кажется делом более лёгким и доступным. Отсюда лобовые сентенции, назидания «понятным», усреднённо-арифметическим языком, тем самым «суконным языком проповеди», как называл его ещё Горький. И читатель «открывает» для себя прописные истины, не подкреплённые художественной, духовной единственностью.

Вот и в данной рукописи автор даже не понимает, как кощунственно может звучать рассказ, якобы через мысли девочки о своём дедушке-герое, каким равнодушием могут наполняться слова, если они пишутся в привычном ряду, «отдающем дань»: «Сфотографировались они (*четвероклассники – В.К.*) в день последнего звонка подле памятника Егору Степановичу Берёзкину, Анютино-

го дедушки. Там всегда в их школе фотографируются на память. Дедушка был бригадиром первоцелинников. На работе, в кабине трактора, и помер (?!). Об этом все знают. И что в войну был водителем танка Т-34 – тоже знают все. И то, что геройский был водитель-боец тоже (*стоит ещё обратить внимание на эту скрупулёзность автора, очень характерную для его стиля и говорящую, скорее, о слабом знании: «водитель-боец» – Рец.*). Жаль, Анята так его и не видела. Поздно родилась (!..). Но знает о нём всё и любит дедушку, как живого. Вчера они с бабушкой ходили прощаться с ним. Бабушка с могилы горсть взяла. На память.».

А спустя несколько страниц уже сама бабушка Аняты «вспоминает» о муже Егоре Берёзкине: «Урожай в том году выдался куда как богатый. Мне ни сном ни духом и в голову не укладывалось, что столько хлеба вырастить можно. На уборке опять-таки когда день, когда ночь – думать позабыли. Вот тут беда и подкараулила. Уже под конец жатвы помер мой Егор-то Степанович. Хоть и израненный весь, а не жалел, не берёт себя. Прямо за рычагами трактора и помер. В самом центре нового посёлка совхоза памятник поставили Егору Степановичу Берёзкину (*Впечатление, что она сама напоминает себе имя, чтобы не забыть... – Рец.*). Вечная ему память. Как героя и теперь чтят.».

Вот в этом и сложность анализа подобных рукописей: всё ведь правильно, «всё как в жизни», зачастую даже все предложения написаны по грамматическим законам, на месте и сказуемое, и подлежащее... И даже о вещах-то «нужных» рассказывается, правильность которых и обсуждать неловко (увы, часто именно на это и рассчитывается!). Вот и говорит, кажется, «как простой народ». И никто не решается сказать автору – нет, даже не о вторичности, не о банальности даже сюжета, деталей, кочующих из газеты в книгу или наоборот, банальности сентенций и лобовых истин. О полной бес-та-лан-ности, неминуемо ведущей и к скуке, а порой даже и к невольному кощунству при всех самых благих намерениях. Язык наш лукав и не прощает усреднённости и лености мысли. Всё «как было», даже очень подробно, настолько подробно, что и выделить нечего. Серо.

Надо бы задуматься, откуда появляется у нормально, вроде бы, мыслящих людей, умеющих и смеяться, и соболезовать, стремление к успокоительной серой благости. Почему вдруг стало казаться, что самоуспокаивающие прописи, погребаящие под собой не

только проблемы, но и чувства, смогут помочь воспитанию, отчего стало казаться необходимым через книги (и не только – театр, теле и т.д.) давать детям жёваную кашицу назиданий, от которой они или полностью разучатся мыслить и сопереживать, или вырастут духовными нахлебниками, и вообще – ни во что не верящими нигилистами, чище того – «пофигистами». Ведь рядом, в той самой жизни, где мы все живём, происходящее никак не укладывается в сусальный мирок, выстраиваемый безликими словесами. А что потом? А потом приходит разрушительное равнодушие.

Сюжет предлагаемой повести кочующь и «всегдашен», впрочем дело вовсе не в нём: когда бы автор нашёл здесь опору для динамичного действия, для загадки и не надуманного конфликта. Когда сумел бы создать не проекцию взрослого мира на детский, но сам тот мир детства, взгляд из которого на нас совсем иной, и уж никак не зеркальное отражение производственных отношений в совхозе «Степной» ли, «Плодородный» ли...

Анюта, закончив четвёртый класс в совхозе, где родилась, переезжает с бабушкой и братом в новый совхоз, куда отец направлен агрономом. И приходится отметить: всё «выдержано в духе времени», есть «высокий начальник» с баклажанным галстуком и тонко поджатыми губами, который считает, что «рано ещё играть в демократию». И ему возражают столь же безликие и скучные директор и агроном, отец маленькой героини.

Подробнее показана проблема «зелёного пожара» (а ведь на одном этом названии можно бы построить, кстати, детскую повесть!) и нехватки «рабочих рук», где выручает школьница Анюта, организовав временный детский садик и освободив взрослых (мам) для аврала на полях. Анюту даже, как и её маму прежде в бригадиры, автор проводит через выборы (!) в заведующие садика. И выборы-то Анюта сама санкционировала перед Баян Садыковичем, директором совхоза – «чтобы всё было как положено» – демократия соблюдена сверху донизу... Право, это даже не смешно.

А может быть это могло бы выглядеть даже юмором – под пером писателя неравнодушного и талантливого, но здесь это просто скучно, монотонно и до удивления подробно, вот именно «суконным языком». Видимо, для убедительности, которой, кстати сказать, довольно бы лишь яркого штриха, точного слова. Впрочем, в этом-то и состоит мастерство художника. И тогда здесь была бы другая рецензия.

Мне ни в коей мере не хочется обидеть автора, тем более, что больше ничего из его произведений не читал. Быть может, он отличный журналист, или ему подвластна взрослая проза (хотя там ведь слово тоже много значит), а может быть (и даже не может не быть!) ему присущ иной талант. Но для детей писать он не способен по определению – это вынужден написать со всей категоричностью и ответственностью. Увы, это приходится доказывать, хотя достаточно бы одной цитаты...

Один лишь абзац из рукописи отрицает себя сам, как претензию на литературное произведение: «Он (*директор с-за – Рец.*) попросил одну из женщин (*для детей не может быть ни одного безликого персонажа, пусть он входит в рассказ лишь на мгновение одного абзаца!*): «Будьте любезны, составьте поимённый список наличия нашего славного пополнения. – И подал ей толстую тетрадь. – Отдельно малышей, отдельно – их воспитателей. Наших, так сказать, славных соратников. – Упрекнул Анюту: – Ах, напрасно от почётного звания (!) отказалась. Пионеры? – ну и что? – Тут специфика. Не ординарное явление.». (*Подчеркнуто мною. Впрочем, можно было бы подчеркнуть всю рукопись – Рец.*).

Не убедил автора? Тогда ещё: «Потом был праздник урожая. Школьников вместе со взрослыми пригласили в новый Дом культуры. Кто отличился на полевых работах, в президиум вместе со взрослыми посадили. И не только старшеклассников. И тех, кто в детсадишке работал. И Дениска в президиуме сидел. И бабуля. Директор совхоза (*имярек полностью!*) сказал в своей речи...» – а рассказывает это Алёна, она ведь целых четыре класса закончила. И ведь вполне возможно, что, прочитай такие Алёны и Дениски подобные «произведения, так вот заговорят...

Впрочем, в качестве примера того, как невозможно и противоположано писать для детей (только ли?!), примера канцелярита и безликой «всеписи», мне пришлось бы перепечатывать всю представленную рукопись.

Нет необходимости, видимо, говорить о том, что «повесть» «Гори, гори ясно» бесперспективна и к литературе никакого отношения не имеет.

Издательство «Жалын» (Алма-Ата), 1995 г.

НЕ ТОЛЬКО ПЕПСИ...

«Ты в ответе за тех, кого приручил»...

А. де Сент-Экзюпери.

Как ни удивительно, голос Кати Ткачевой был слышен в детской разноголосице литературных попыток, которые печатала областная газета школьников «Радуга». Мне вспоминаются давние, из первонапечатанных (лет десять как?!), новеллки «Шаг» или вот – «Посвящение». Интонация и видение уже здесь не только детские, есть что-то большее в этих коротких, на полстранички, сочинениях, есть то, что вызывает в тебе грусть и сочувствие, что сближает тебя с героем, пусть это даже – просто лошадь, даже без имени... «У меня есть знакомая лошадь. Может, она похожа на это честное животное из-за шахматной фигуры, стоящей на черной клетке... Или из-за упорства и прыжков через барьеры. ...Под проливным дождём люблю встречать мою лошадь. Она мокрая, беззащитная, куда-то бегущая. Меня она не замечает. Наверное, из-за плохого настроения. Я никогда не знала, где живёт лошадь. И не узнаю. ...Серый уставший город, изъезженный шинами и пропахший бензином, разлучает нас каждый день. Спасибо ему за это». Не правда ли – тот необходимый элемент недосказанности и тайны здесь уже присутствует в полной мере.

Но ещё более удивительно, что и спустя достаточно много лет (университет, работа на газеты) голос этот не сорвался, не утратил искренности и только своей, пусть негромкой, тональности. А ведь наверняка было за эти годы много соблазнов сделать свой голос более громким, была опасность ощутить и принять влияние литературной моды (тем более, что Екатерина, к чести её, не только «писателя», но и хороший читатель), наконец, не секрет, что журналистика, особенно современная – с её самонадеянной ангажированностью и жадной сенсации или скандальчика, вовсе не способствует литературе, скорее отвлекает от пристального взгляда

да на жизнь, от её осмысления и – сочувствия. Ткачева сумела свой дар уберечь и сохранить достоинство собственного слова. Читая её рассказы понимаешь, что и шёпот может звучать убедительнее самого громкого ора...

Сейчас, следуя за апологетами всяческих новомодных «измов», так легко и соблазнительно уйти в отрицание всего, что было в прошлом, в издёвку над вся и всем, в пародию над прежними ценностями, якобы заведшими в тупик. Куда как просто: эпатировать растерянного читателя бисером ненормативной лексики, совместным подглядыванием в замочную скважину или «за стекло», окунуть в виртуальный мир, где человек уже не властен над собственными страстями, где он, собственно, и вовсе устранён от участия в жизни. Есть и другая «литература»: я назвал бы её миром слезки, где зрителя пугают всяческими страхами (насилием, убийством извращением и пр.), но все эти страхи – там, где-то за экраном или за страницей, и ты вовсе не ответственен за происходящее, ты – просто созерцатель в ожидании счастливой развязки и подготовленного хэппи-энда. Ты можешь переключить канал или поменять книжку, чтобы увидеть «красивую» жизнь и «жаркие» страсти, дозированные ровно настолько, чтобы тебе было спокойно и чуть-чуть завидно – тем более, что эту «мечту» можно позже пойти и купить в соседнем супермаркете или мебельном магазине... Всё это никакого отношения ни к душе, ни к самой природе жизни не имеет, но очень даже хорошо промывает мозги и нивелирует их, не обременяя ни сочувствием, ни собственным участием, ни ответственностью – за будущее... Маргинальная жизнь в виртуальной действительности.

Тем отраднее встретить литературу, в которой не утрачен интерес к жизни повседневной, к человеческой судьбе конкретной и узнаваемой. К судьбе всегда сложной и абсолютно единственной в этой сложности. Единственной и в то же время легко экстраполируемой читателем на собственную жизнь, протекающую в том же измерении. Жизнь взаимозависимую, где на добро откликается добром, где зло вызывается равнодушием к якобы чужому и незаметному существованию. Где чужое страдание несёт боль – тебе...

Это – и проза Екатерины Ткачевой. Проза далеко не простая и не однозначная, как и само поколение, о котором пишет автор. Здесь есть и изрядная доля сарказма, не отягощённого, однако, цинизмом – скорее направленного к себе. Есть и немалая доза со-

мнения, вне которого никакой анализ невозможен, проза психологичная, ищущая (пусть порой и не находящая) ответы на такие сложные вопросы бытия, как – кто ты есть, откуда ты, куда и с чем ты идёшь?.. Екатерина пишет трудно, её и саму переполняют сомнения – и это естественно, ибо жизнь её героев сложна и противоречива, как и те вопросы, которые им (и себе прежде всего!) задаёт Ткачева. И на которые ответить, или хотя бы задуматься, зовёт она читателя. Уверен, читателя – который способен сопереживать, самостоятельно мыслить и отвечать за свои поступки. А это значит – любить и уметь дарить эту любовь, которой так нам всем нехватает.

Мне хочется процитировать лишь один абзац из рассказа «Лаврова», чтобы читатель ощутил ту щемящую боль, с которой идёт к нему автор, как и ту меру искренности и доброты, которая обязательно заставит читателя внимательнее оглянуть вокруг, а затем – посмотреть в глаза себе: кто же я, и – куда?..

«Кого сегодня хороним? Лаврову? Неужели? Бестолковую красоту, ненужную людям доброту без кулаков, не нашедшую любовь..?»

Мария – имя её отливало всеми цветами последней надежды. Так называют своих дочерей матери, у которых не осталось сил что-то доказывать. Они просто надеются, что дочь сама всё докажет. С этим именем они отправляют дочек в особенную жизнь – полноцветную и полную сострадания ко всему живому. Дали имя и успокоились...».

В море литературной разноголосицы далеко не всегда можно услышать тихий вздох или увидеть нежную улыбку. Да и пишет Екатерина Ткачева трудно, сомневаясь и многожды переписывая, но её взгляд пристален и сочувствен. Как и должно таланту, оберегающему свой дар, и ответственному за него. Ибо он обращён – к людям. И потому, уверен, голос этот будет услышан.

Е. Ткачёва. «Лекарство от сновидений», 2003 г

СОДЕРЖАНИЕ

Корни и кроны	5
ВРЕМЯ И МЕСТО	7
Город на Королевской горе	9
Как связь времён	20
Евгений Кислов (...И много смелых сердец зажгут)	26
Купина неопалимая	34
Открытое письмо	53
Слово	57
ПРЕДИСЛОВИЯ. СЛОВО РЕДАКТОРА	63
Быть слову живу...	65
Русскому читателю	71
Тогда мы были молодыми...	77
Как слово наше отзовется	82
Беспамятство сеет рабство	89
Всегда – другой...	95
Так может ли?	98
Так творчество или рабство?	101
Вторая древнейшая	103
И встречи эти неслучайны	107
О патриотизме и честолюбии	110
У нас одна планета	114
Космос и поэт	116
О камне, о листе, о тени	123
Услышьте и – обряцете (Юшко)	128
Нет начала и нет конца	130
Грань веры и сомнения...	133
Своим голосом	135
Вопросы, вопросы...	137
МОЯ ПАМЯТЬ (Ушли, чтобы вернуться)	139
Вспоминая Домбровского	141
Иван Новокшенов	150
Белла-Bella!	155

Услышать тишину (Ю. Казаков)	164
Море, история, слово... (Бадигин)	167
И моя боль (Яцинявичус)	172
Рождѣнные в свитерах	174
В Ганзейской гостинице «Якорь» (И. Бродский)	176
Александр Ткаченко	181
В поисках своего Лукоморья (Л. Мартынов)	183
Его сарказм был тихим и опасным (Л. Щеглов)	186
«Тост безмолвный»... (В. Зорин)	189
Купите фиалки (К. Лоренц)	193
ОЧЕРКИ, СТАТЬИ	201
Лес состоит из деревьев	203
От Сведенборга и Стринберга к Бергману	212
Рисунки Пушкина	223
Эрос Франса фон Байроса	229
Проигранная битва Номо Ludens?..	233
И хлеб не вырастет...	241
А судьбы – кто?..	246
Пустая душа заполняется адом	250
Нас ждѣт одичание	253
«Нужно ли было касаться того?..»	261
Сергей КАЛМЫКОВ	271
Возвращение Сергея Калмыкова	273
«Если я не современен, то тем хуже для современности»	283
«Я смотрю на всё с далѣкой точки будущего...»	291
РЕЦЕНЗИИ. ПЕРЕВОД	317
Корнями дом уходит в землю	319
Страж покоя	328
Детей надо уважать	349
На пьесу «Дерзость»	353
«Гори, гори ясно»	357
Не только пепси...	362



Вячеслав КАРПЕНКО
ЗАВТРА БЫЛО ВЧЕРА
Книга предисловий

Очерки, эссе, интервью, переводы

Вёрстка: Попов А.В.

Формат 60x84/16, бумага офсетная,
гарнитура Minion Pro,
печать офсетная, тираж 800 экз.,
усл. печ. л. – 11,5.